

Приокские зори

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2

08



Приокские зори

ВЫХОДИТ ЧЕТЫРЕ
РАЗА В ГОД

ИЗДАЕТСЯ
В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ТУЛЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН В 2005 ГОДУ
2008 — 2(10)

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ ЖУРНАЛА	3
МАСТЕР-КЛАСС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО РАССКАЗА	
Виктор Греков. Белевские горошины.....	4
ПОВЕСТЬ	
Борис Роганков. Чулковские сорванцы.....	29
Алексей Яшин. Сержант с острова Сахалин.....	41
АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА: СЛОВО ЖЕНЩИНАМ	
Тамара Белицкая. Оленька, или верность.....	62
Зинаида Носкова. Письма из детства.....	69
Роза Нарышкина. Мария. Не ко двору.....	75
Генриэтта Назина. Соблюсти душу. Молитва матери.....	79
Ирина Склярова. Сказки и рассказы.....	86
Елена Яценко. Одноклассница. Клубника со сливками.....	93
Ирина Пархоменко. Рождественская сказка.....	101
ПОЭЗИЯ	
Борис Шепелев. <i>Personalia</i>	107
Маргарита Андрианова.....	114
Наталья Резодубова.....	119
Евгений Черняев.....	126
Александр Хадарцев.....	130
Владимир Сапожников.....	135
Олег Пантюхин.....	137
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ	
Алексинское литобъединение «Алло»: Роза Нарышкина, Наталья Мельникова, Александр Кураев, Тамара Дик, Людмила Хорберг.....	143

У НАС В ГОСТЯХ

Валерий Богусhev. Жанна.....158

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Виктор Пахомов. Открытие поэта.....163

Александр Хадарцев. История болезни.....166

Алексей Третьяков. Артиллеристы, Сталин дал приказ.....167

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ: «МОСБАСС» ИЗ СОКОЛЬНИКОВ

От главного редактора.....169

Валерий Кручинин-Русич. Мосбасса блудный сын.....172

МУЗЕИ ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Светлана Полищук. Богородицкий дворцово-парковый ансамбль.....198

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Михаил Майоров. В тылу Двенадцатого года: алексинские скитания офицерской жены.....204

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

От ведущего рубрики: Поэт-государственник
(произведение, которое не изучают в школе).....210

Александр Сергеевич Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург.....213

ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ:

ВЛАСТЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС И КУЛЬТУРА

Наталья Шубникова-Гусева. «Существо мое возмущено до глубины...»

Неизвестное письмо С. А. Есенина Л. Д. Троцкому.....230

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.....237

Писателю Алексею Яшину — 60 лет.....238

Произведения публикуются преимущественно в авторской редакции; мнение «ПЗ» не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи принимаются отпечатанными с приложением файла на диске и публикуются с фотографиями авторов. Редакция присланные материалы не рецензирует, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее одного авторского листа не возвращаются. Требования к рукописям — см. на 4-й стр. обложки. Гонорары авторам и авторские экземпляры не предусмотрены.

Вниманию читателей: журнал распространяется преимущественно в библиотечной сети.

Адрес: 300026, Тула, а/я 1842, А. А. Яшину; e-mail: niinmt@mednet.com; тел.: (4872)33-22-09

Главный редактор Алексей ЯШИН

Первый зам. главного редактора Виктор Пахомов

Редколлегия:

Вячеслав БОТЬ
Виктор ГРЕКОВ (Белев)
Олег КОЧЕТКОВ (Коломна)
Валерий КРУЧИНИН-РУСИЧ
(Сокольники — Новомосковск)
Валерий МАСЛОВ — председатель
Межрегионального союза писателей
Николай МИНАКОВ — зам. главного редактора
Ирина ПАРХОМЕНКО (Плавск)
Наталья ПАРЫГИНА
Валерий САВОСТЬЯНОВ
Владимир САПОЖНИКОВ
Константин СТРУКОВ — отв. секретарь
Александр ХАДАРЦЕВ
Леонид ХАНБЕКОВ (Москва), вице-президент
Академии российской литературы
Секретарь редакции Марина БАЛАНЮК

Учредители:

Редколлегия журнала «Приокские зори»
Тульская писательская организация Союза
писателей России
Тульский государственный университет
(ректор М. В. Грязев)

*Полный текст журнала публикуется
в электронном виде на сайте интер-
нета: www.medtsu.tula.ru*

К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ»!

Идет четвертый год планово-периодического издания нашего журнала. За прошедшее время издание стало подлинно межрегиональным, получило всероссийскую известность, тираж увеличился в пять раз, непрерывно возрастает качество публикуемых произведений. Через библиотечную сеть и сайт www.medsu.tula.ru журнал стал доступен как любому читателю в России, так и всем читающим по-русски в мире.

Редколлегия постоянно работает над улучшением качества публикаций и совершенствует структуру журнала. Как отметила в своей публикации «Литературная газета», у «Приокских зорь» уже имеется «свое лицо», только ему и присущее... Спасибо на добром слове!

В части совершенствования структуры наиглавнейшими нововведениями конца 2007-го — начала 2008-го гг. полагаем практику издания тематических номеров (№ 4, 2007 и № 1, 2008) и введение, начиная с настоящего выпуска, рубрики «Журнал в журнале: «Мосбасс» из Сокольников» (обоснование этого см. в предисловии к данной рубрике). Иллюстрации на обложке стали цветными...

Литераторам из числа наших авторов пришла по душе идея издания своих книг под логотипом «Библиотека журнала «Приокские зори». Спасибо им. Надеемся на приумножение «Библиотеки» количеством и качеством.

...Сейчас время летнее: отпуска, отдых, располагающая к душевной расслабленности жара — на фоне не очень комфортного климата наших среднерусских мест. Что ж, хорошо поработав, можно и нужно отдохнуть. А что пожелать нашим читателям и авторам? Первым — прочитать (или перечитать) вышедшие номера «Приокских зорь», а вторым — поделиться своей личной «болдинской осенью», ибо основная цель писателя — самовыражение во благо всеобщей духовности.

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (от Марка; 16, 15).

Настоящий номер журнала не относится к числу тематических, но в нем непременно присутствует историческая доминанта в ведущих разделах журнала. И — традиционно для каждого второго номера года — память о Великой Отечественной войне. ...И уповаем на помощь Тульского госуниверситета — единственного кто нас поддерживает материально.

Редколлегия журнала «Приокские зори»

МАСТЕР-КЛАСС СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО РАССКАЗА

Виктор Греков
(г. Белев)

БЕЛЕВСКИЕ ГОРОШИНЫ
(Книга рассказов*)



ВПЕРЕД, К СВОИМ НАЧАЛАМ!

Ну, вот на самом-то деле, и черт его знает, какая ж это такая всепоглощающая сила таится в одном загадочном явлении: весенний паводок не знает препонов ни в сердцах обывателей, ни в административно-дисциплинарных запретах, ни в иных гражданских уставах, — народ-батюшка валом валит поглазеть на диво дивное. Да разве только поглазеть? — ведь он с ума сходит от одного его, народушка поречного, чувства, сравнимого разве что с безудержным восторгом на космодроме...

И уж, братцы ж вы мои, други верные, народец-то в таковой час словно ополумел, — с ног сшибут, окаянные, лишь бы пробиться иль протиснуться в тесноте толпища к бровке обрыва берегового, лишь бы непременно наперед, — увидеть, разом охватить, неисчерпаемого здесь воздуха надышаться, на дивованное наглядеться : до головокружения, до беспамятства. Ну что ты за человек такой, житель Приречья?

Нам, ребятне, с обрыва далеко видать, как буйствует море разливанное несметного половодья, как заливают все больше и все бескрайнее преогромное пойменное луговище, как величаво проплывают большие и малые льдины, усыпанные всякой всячиной из речушек, проток с озерами и прочей замшелой болотины, как захлестывает подтало оплавленные края льдин и грубо покусанные закраины, как плещется неумное в своей одичалой энергии что-то задиристое в водоворотах, будто пытается взлететь и взмыть в небо бездонное, и брызжет, брызжет напропалую шаловливо веселое солнце, и льется, льется журча переливчатая трель залетного жаворонка...

...В нечто похожее погрузилось мое сознание, едва открыл я на днях томик Жуковского. И дивно мне, и странно: да можно ли рядом, хотя бы близко поставить это? Можно! — оттого что и первое, и второе — это и необратимо, и всевечно.

Пройдут годы, промелькнут вехи, но все со временем вернется «на круги своя»: и возжелают мыслители, и восхотят граждане перенестись в древность, извлечь уроки мудрого опыта, и попробовать на вкус и цвет то самое золото человеческого общегития, которое не блестит и не сияет, но правит человечеством, миром.

* Окончание; начало см. в «ПЗ» № 4, 2007

В письменном отклике на стихотворение князя П. А. Вяземского по поводу Святой Руси наш Жуковский выступает как поборник идеала государственного устройства. Отметив, что «Россия шла своим особенным путем», он заявляет, что ее, России, «самобытность» сохраняют во времени две силы. Силы эти — «Суть церковь и самодержавие».

Конечно же, отдавая себе отчет в том, что «все течет, все изменяется», Жуковский, тем не менее, продвигает в мое сознание, отстоящее от его современности на двести тридцать лет, мысль о том, что две эти силы неизменно будут превалировать в матрице человекоустройства в мире обособленных государств. А присуще это,— только избирательно, и прежде всего — России. Ну не парадигма ли?

А чтобы, наверное, в письме для Вяземского прозвучало это самое убедительно, Жуковский бросает взгляд на респектабельных соседей наших. «Оглянувшись на запад теперешней Европы, что увидим?». И на риторический вопрос Василий Андреевич сам же и отвечает аудитории в лице Вяземского: «Дерзкое непризнание участия Всевышней Власти в делах человеческих выражается во всем, что теперь происходит в собраниях народных. Эгоизм и мертвая материальность царствуют».

И с горечью душевной, с болью, как за самое родное, семейное в жизни незаметного, гражданственно очень маленького человека: «Чего тут ожидать живого?»

Это, в горечи обретенное, дорогого стоит... Это не тезис даже полемический... Не довод в толковании чего-то существенного... И уж вовсе не праздное суесловие. Многое в этой капельке отлилось. Превелико многое. А главное — наше: на века! Для него, чувствуется, в сказанном с горечью есть потеря невосполнимая. Потеря без всякой надежды. Так и с такой сдержанной страстью мог произнести только поэт романтического духа. Христианин... Наперед всему в сущем — христианин. И (главное-то в чем!) — без уверенности, что его поймут. Что он докричится-таки.

Почему? Потому что сопутствующая этому настрою, этим чувствам, есть Вера. Вера во всеисцеляющую Святую Русь. Как Град Китеж. Вроде бы все это из предания, из легенд, но в данном контексте мы явно ощущаем удары сердца эпохи Ивана III. Пульс грозной силы, замахнувшейся на создание государства единого и неделимого. Сколачивая Московию, в результате чего вскоре стал не просто, как дед и отец, князь великого Московского княжества, а Князь Московский и вся Русь...

И с утверждением этого нового государства на огромном пространстве, где до сего дня излучает лучи Святая Русь, солнце которой тогда же и закатилось, началась новая история. И не только собственно России, но и всей Европы, но и всего Мира.

Возможно ли это когда-нибудь и кому-либо переиначить? Ужель кто вознамерится после Жуковского?

Как знать, как знать, но свет той неисповедимой осиянности все осязаемое сияет в русской мысли.

ДО САМОЙ СУТИ

«Россия шла своим особенным путем, и этот путь не изменился с самого начала ее исторической жизни, несмотря на беспорядки, происшедшие от раздробления на уделы, которое наконец произвело, и долгое татарское иго».

В. Жуковский.

А все-таки он счастливiec. Хотя бы уж тем, что не дожил до акта «по-русски», никудаышно подготовленного, а в целом, вовсе никак не продуманного, неосновательного и, как многое в Российской империи, порочного, с результатом прямо про-

тивоположным его, Жуковского, разумению, его думам о Родине — то есть до Акта дарования свобод 1861 года.

Проголосовав бы обеими руками за отмену крепостного права, Жуковский, наверное, согласился бы с мнением Константина Дмитриевича Кавелина, ставшего в пору подготовки реформы сторонником умеренных преобразований при неременном сохранении неограниченной монархии и помещичьего землевладения. Ибо,— всему свое время, и оно, время,— вот лучший лекарь, в том числе и для социального недуга. Тем более в стране и у народа, которые в согласии продвигались в истории своим маршрутом.

Как часто апологеты прямо противоположных суждений, дабы вколотить в сознание обывателя тезис отрицания всей истории России, буквально шлифуют изречение Тютчева, дескать, к чему дебаты, если и он бросил уничтожающую фразу: «Умом Россию не понять...».

Вычленив из органичного, цельного и неразрывного, глубоко национального по сути, именно в угоду дискредитации «особенностей», они педалируют избирательно. Но в том-то и суть сказанного поэтом и дипломатом, мыслящим трезво и логически выверено, что рационально прагматичному здесь не место. Жуковский, как бы предвывая сказанное Тютчевым, запишет в письме к П. А. Вяземскому: «Оглянувшись на запад теперешней Европы, что увидим? ...Дерзкое непризнание участия Всевышней Власти в делах человеческих выражается во всем, что теперь происходит в собраниях народных». (Речь у Жуковского о событиях повсеместно в Европе после 1848 года.)

И что же, в сущности, мы увидим, если по Жуковскому, как раз и теперь вот?

«Эгоизм и **мертвая** материальность царствуют».

А к чему обращено его внимание? На что взор поэта и мыслителя? Жуковский проводит простую мысль о сохранении всего, что связано в Российской империи с исторически обоснованным и выверенным на национальной почве. Именно,— на **национальной**. В противном случае, ни губительное, ни катастрофическое не упредить, и разрушения не избежать.

В этом плане Жуковский провидчески очертил контуры того Поля нашего, Силового, гравитационного, которое дано свыше в нашей судьбе. Речь в беседе с Вяземским, в частности, идет о предметности самого символа, образа,— «Святая Русь». Вот краеугольный камень его мировоззрения в годы, когда в Европе свирепствовал «тифус» переворотов, смуты, бунтов и прочих революционных бесчинств и дикого, какого-то средневекового, мрачного кровопролития, но под флером цивилизованности. Господи, какое изощренное лицемерие,— истинно по-европейски. «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Евнг. от Матфея. 17:17.)

В годы потрясений в Европе, пребывая там, как теперь говорят, в горячей точке, он пишет, правда, по другому поводу, но возвращается, как бы по извечному кругу, к той же мысли. Отвечая на вопрос, поставленный прямолинейно, дескать, а реален ли союз Германии и России, Жуковский выражает неколебимую мысль: «Россия сильна у себя и будет вдвое сильнее, когда все свое могущество устремит на свою внутренность, отгородив к и т а й с к о ю (разрядка моя,— В. Грек.) стеною от заразы внешней».

Наверное, здесь не нужны какие-то пояснения, и, следуя изречению публицистов, комментарии излишни. Но вот что примечательно, далее Жуковский одним элементарным штришком вносит четкие коррективы, чтобы прояснить вопрос для более примитивных доводов оппонентов. Он пишет следующее: «К нам никто не придет, помня урок, данный Наполеону; мы не будем побеждены вне границ наших, ибо не выйдем из них для завоеваний; завоевания нам не только не нужны, но и вредны...».

И далее, закрепляющее пространное изречение, едва ли не в качестве тезиса: «Наши завоевания никогда не были чисто-завоевательными, а только образовательными приобретениями...»

Каково? Назовите, кто бы столь ясно в мировоззренческом и сугубо политическом плане выразил нашу, общероссийскую, иль, если хотите, общеславянскую мысль? Кто? Где тот вития, чья ненадуманная речь смогла бы сравниться с таковой ясностью и прозрачностью?

Несомненно, в накрепчайшей связке с сими словами, равными трактату, а по краткости,— четко сформулированной концепции развития и путей созидания Российской империи, находится суждение Жуковского о сущности и природе Святой Руси.

Оно также очень понятно, и не вызывает кривотолков, тем более, если оппонент избегает коварных злонамерений.

Он говорит о поступательном развитии Отечества, когда, преодолевая раздробленность, «все соединилось в одно, не в Россию, а в Русь, то есть не в государство, а в семейство, где у всех были одна отчизна, одна вера, один язык, одинаковые воспоминания и предания: вот отчего и в самых кровавых междоусобиях, когда еще не было России, когда удельные князья беспрестанно дрались между собою за ее области, для всех была одна, живая, нераздельная С в я т а я Р у с ь».

И как раз этого подготовители и, главное, устроители Реформы 1861 года не приняли во внимание, отсюда катаклизмы, вплоть до пресловутого народничества, которого можно было избежать, будь реформирование продуманней, отсюда синдром 1905-го с его пробой на кровь, последующие события, приведшие ко вселенскому масштабу до такого кровопролития, вплоть исчадия ада, как коричневая чума.

ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС БОГОРОДИЦЫ

«О, Русь моя! Жена моя!..»

Александр Блок.

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери своей: Жено! се, сын Твой».

(Евнг. от Иоанна. Гл. 19:26)

Жуковский удивительно предметен в своих доводах в отстаивании позиции, а главное,— убедителен. Однажды затронув его исповедальное в письмах, в доверительной прозе, уж не остынешь от желания прочесть далее, познать глубже. «Под развитием с а м о д е р ж а в и я,— пишет он,— разумеется твердейшее укоренение и распространение его патриархального могущества, которого источник и правило есть верховная Божия правда, но которое, со своей стороны, должно более и более определить и утвердить з а к о н н о с т ь — с одной стороны в действиях исполнительной власти, с другой — в общих о ней понятиях народа, законность, которая хранит права, неотъемлемо всем и каждому принадлежащие и державною властью один раз навсегда утвержденные, и которые, истекая из самой власти, ее не ограничивают, а более и более упорочивают посредством указания необходимых верных путей ее действия».

Покажется, на взгляд непосвященного, мудрено. Но, господи, как все это, не раз и не два перетолковано досужими и вкривь, и вкось. Не лучше ли прочесть его вживую, хотя, как говорится, «мало не покажется» по слогу на животрепещущую до сего часа тему России.

И все же, может быть поначалу, мало помалу, как в народе повелось, обратиться к тому в повседневности, что сдвинулось-таки с мертвой точки: кто бы мог подумать еще вчера и ортодоксы марксизма, что реки потекут вспять? А точнее, река жизни, все же возьмет свое, и потечет опять и опять, в каждую очередную весну обновления хлынет половодье, чтобы и вымыть, и отмыть, и освежить, и напитать энергией жизни.

Христианские корни дали побеги на обремененных ветвях. И как нередко бывает, вдруг воскресилось в памяти, как в знаменитом цикле Александра Блока «На Поле Куликовом» внимание мое остановила странно-престранная фраза «О, Русь моя! Жена моя!». Никакие ссылки на символизм, на особенности языка символистов, на избранную метафору поэта, чрезвычайно избирательного в поэтическом языке,— не помогли мне разрешить, как казалось, неразрешимое... И только прочтение Евангелия навело на нить Ариадны.

А. Блок с благодарностью признался, какое плодотворное влияние оказало на него творчество Жуковского. В его цикле «На Поле Куликовом» это прослеживается с особой силой. Обращение к образу Матери-Богородицы с перенесением на образ Матери-Родины прозвучало и современно, и исторично. И стал ближе, а оттого и понятнее образ и Покрова Богородицы, спасшей византийцев от агрессивных викингов в лице воинов киевского князя, пустившихся на кораблях по Понту Евксинскому в далекое и завоевательное плавание, и образ Защитного Пояса Пресвятой Богородицы. Такое название получила река Угра, когда полчища Ахмата остановились на пути на Москву, и было великое и грозное противостояние, а затем, когда Образ Богородицы-заступницы московитов явился самому хану, отошли восвояси татары, затем и побежали беспорядочно — вспять!

ПАЛЛАДИУМ БЫТИЯ

Вам не приходилось наблюдать?... Вам не случалось видеть?... Не озадачивало ли вас необычайное явление: в октябре, когда месяц на исходе, и даже не под вечер,— вдруг, в небе над головой вашей, качнется как наваждение, несусветное, из ниоткуда явленная, горстка комаров. И вот снуют, снуют они с наивной и даже очень забавной запоздалостью, мельтешат неправдоподобно над обочиной. Ах, лето красное, подумается вам некстати, как скоро закатилось ты, несказанное...

Однако, сейчас, именно ныне, они ой как нелетучие и не невесомые. Напротив, отяжеленные поздним временем осени,— снулые они, будто пескари в омуте. И все же в душе вашей,— ну как тут не вострепнутся восторгу, как не прийти сердцу в трепет.

И ни с чем несравнимо, сейчас же чудеснейшим образом закружит вас в этой живой метели, достало бы только вам воображения, и все вокруг окрасится в небесные цвета преображения. Как чудно засияет привычное до сего часа обыденное.

Нечто похожее испытал я, когда заглянул в собрание сочинений Василия Жуковского, неведомо каким образом очутившееся в руках нашего, в музее, гостя, щедрого на подарки. Тотчас, едва пробежал глазами по чреде случайных страниц, распахнулось настезь то, что было до этой минуты как бы сокрыто временем. И будто само собой пред глазами начерталось то, чего жаждал увидеть с самого начала нашего смутного времени. «Восточный деспотизм совсем не то, что историческое русское самодержавие... Один только русский народ понимает самодержавие!»...

Вот уж, казалось бы, для природы — сейчас поздняя пора осени, закат романтических надежд, но у поэта глубоко национального по духу никогда ничего из созданного не ветшает, и ничего не канет в лету. И в нынешний день его замечания, рожденные едва ли не на лету, вдохновенно, сияющие, по-прежнему значат чрезвычайно много. Они — современные!

А на самом-то деле, сколько копий поломано об этот твердый камень преткновения национальной мысли,— о монархии и народоправстве. Немало, однако, Жуковский и теперь архисовременен. И все у гения — злободневно.

Упрекнуть тут же, что Жуковский якобы пренебрег матрицей диалектического, именно по спирали, развития общества. Как же, дескать, иначе, если у него же, у Жуковского, чуть ниже по тексту сказано: «И если русский самодержец понимает его — (читай,— с а м о д е р ж а в и е!) — в смысле своего народа — то оно будет на все времена п а л л а д и у м о м бытия России».

Невольно (а как иначе, если так уж устроен человек сомневающийся, рефлектирующий, а тем более маловерный!) спохватишься, дескать, а не слишком ли хватил,— и сейчас же находишь подтверждение постулату: «Иностранцы, судящие это народное чувство русского народа по своему собственному, им свойственному, по тому самому не могут его постигнуть; и даже нельзя им сделать понятным, хотя бы и призвать в свидетельство историю... Итак, ни самодержец, ни монарх, ни демократия не могут следовать одной собственной воле. И если свою волю кто из них признает главным источником власти, то из законного владыки он обращается в незаконного деспота».

Куда как прозрачно, не правда ли? Ну, чего еще проще бывает в толковании чрезвычайно сложного дела? И надо сразу же признаться самому себе в том, что, при всем при том, история твердо помнит: любую самую уникальную идею государственного устройства можно довести до абсурда. Лишь одна фраза «Государство — это я!», приписываемое Людовику XIV, красноречиво говорит о многом в этом аспекте, дорогого стоит.

В этом контексте, как видится, уж не отважится ни один смельчак посягнуть на зрелый постулат, превечный, казалось бы, от сотворения мира: «Правда, правда, Божия правда — и более ничего!» (В. Жуковский.) И все же искусники умело и изощренно в спорах досужих обходят и это стороной... А между тем он, Жуковский, романтик и вовсе не материалист в известном смысле этого слова, начиная от Гегеля и Фейербаха до Маркса с Энгельсом, уточняет это следующим образом, причем, без пресловутых претензий, вроде нынешних-то «всяцких вятских» политологов и прочих руководителей фондов, на глубокомыслие: «Вот тайна верховной власти и самое легкое средство властвовать: умей только во время, не обманывая себя никакими софизмами, верующим, полным страха Божия сердцем применять Божию правду к делам человека».

Кристально чистые слова, как слезы ребенка... Просто, как «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»... Но дальше-то, дальше,— ведь как ясно, будто солнышко на небе: «Никто не говори: моя воля; все должны говорить: воля высшая, и в ней видеть свою».

Понимаю, здесь легко впасть в соблазн легко осыпать страждущих изречениями... Более того, легковесно расточать декларации. Но нет! ...Опять нам на помощь приходит он же, Жуковский-мыслитель... «Принимать свою волю за высшую волю есть святотатство; произвол есть нарушение Божией правды и самый опасный враг власти самодержавной, которая в своей чистоте есть высочайшее достоинство, какое только может иметь на земле человек смертный. Смирение христианское есть венец самодержавия...»

Но и на этот счет у рационально мыслящего и европейски, якобы, образованного найдется в запасе, чем и как уколоть в демократическом экстазе. Что ж, как говорится, один чудака может задать столько вопросов, что затруднится и десяток мудрецов... Но Жуковский прост и здесь, как превечные хлеб и соль: «Бог, источник земной власти, не подчинен никакому закону...»

Нет-нет, не торопитесь это, так сказать, вывести «за рамки», но попытайтесь постигнуть. «Он — сам закон,— говорит Жуковский как художник-мыслитель,— и закон неизменный, закон верховной правды».

Опять и опять, досужие подбросят уголек в костерок, уличая тезисом демократии по-американски, что в том-то, мол, и, правда иная, наи-архисовременная, что пред законом все равны. О, Господи, помилосердствуйте же, наконец!.. Ага, вот оно, самое-самое... И как тут не расхохотаться и в то же самое время горько не всхлипнуть, когда народоправец глаголит: «Закон — что дышло, куда повернул — туды и вышло!»

Не сдастся ли вам, ведь это он, представитель народоправства, по простонародному злословит в свое удовольствие — именно по поводу всякого поползновения спрятаться от «страха Божьего»! За коллективную ответственность спрятаться... А на самом-то деле «страх Божий» коренится в совести.

А в то же время у Жуковского дается точное определение: «Самодержавие есть форма державной власти самая ближайшая к власти Божией, из которой всякая власть истекает; потому она может быть и самою благодетельною властью, ибо она самая сходная с божественною властью, ибо тяжелое бремя исполнения сей возложено на слабые человеческие плечи».

Но не преминет вам возразить рационалист, а как же, дескать, быть с тремя русскими революциями, потрясшими отечество? Но сам русский человек утешит злоязычного самого уж тем во всяком русском, испокон, когда всяк сам над собой и над всем русским подтрунивает, дескать, а какое мне, Ивану-Дураку, до ваших умствований, и спроста брякнет: «А чем черт не шутит, когда Бог спит!» И он — прав,— ан не лезь со свиным-то рылом в калашный ряд...

А если серьезно, то обратимся же опять к Жуковскому: «Самодержавие — в истинном смысле — можно сравнить с благоразумным капитаном корабля, который, будучи полным властителем своего судна (без чего не может быть никакого безопасного плавания), сам покоряет свои действия указаниям компаса, карты и звездам небесным; они ведут корабль через пустыню моря, спасают его от мелей и подводных камней и хранят его в буре: все корабельные люди безусловно и с доверенностью подчиняют себя путеводной власти, которая действует спасительно, без произвола, руководствуясь верным законом».

Разумеется, резонно возразить, а где гарантии, что капитан судна соответствует параметрам «путеводной власти»? — но это уже тема иного разговора...

Другое дело, недостает нам сейчас в вышеизложенном одного крошечного уточнения. Оно касается местоположения в обозначенных сентенциях народоправства. У Жуковского нашлось здесь очень скромное, но предельно точное замечание: «И беда самодержцу, когда сей идеал утратился в сердце русского народа». Речь здесь, конечно же, о том, что самодержавность ниспосылается свыше, что «покорность самодержавцу есть благоговение пред святынею». Какою же это? Святынею, «...которой поклонялись отцы и деды, отвлеченно от самого лица самодержца».

Вот в чем вопрос... Вот альфа и омега его. Вот в чем и д е л, который в сердце русского народа по самой природе его личности... Вот в чем историчность его,— и из века в век, пусть и прерываемая в иные смутные времена — путем насилия, путем произвола... взбунтовавшейся корабельной братии, но пути целого народа обетованны.

ВЫСОТА ТЫ МОЯ, ПОДНЕБЕСНАЯ...

Несуетность сердца. Неуемность жажды чего-то несказанного, чего-то неохватного, просторов и далее необозримых, высоты поднебесной — вот признаки национально-русского; и не обязательно присуще все это только лишь этакому детинушке былинному, добру-молодцу. Отнюдь!...

...И не мудрено. Русской душе тесно в однажды заданном, в отмерянном, в заключенном в рамки,— закона ли рамки, указа ли государева или обязательств не совсем ясных, то ли в замкнутом кругу устойчивого быта. Душа воли просит.

Более того, не только из-за природной оседлости не кинет русич насиженного, с прошлым на разрыв не пойдет, даже под угрозой смерти — ведь он и об утраченном не по своей воле вспоминает с печалью, а думу думает о том,— с горечью, как впро-чем, и оглядывается назад в прошлое — с тоской. В песнях же исповедуется, будто навек прощается, аж так вот и подирает мороз по коже.

У него, рожденного на белый свет в равнинной бескрайности, уж если возмечта-ется о чем, то... никакой половинчатости, а затеет разговор о свободе, то взалкается ему воля вольная, ничем не ограниченная: уж если ночь, то непременно темная... Когда же об утренней зорьке зайдет речь, у него слово к слову, как городьба: и «вспозорань», и «рано по рани», « по зорьке ясной»...

Все у него вдосталь, все ему полной мерой! А уж если махнуть стаканище горь-кой,— непременно ему «всклень», и не меньше! — «или грудь в крестах, или голова в кустах!».

Казалось бы, чего еще можно нормальному человеку ожидать от полудня? Чего вымаливать детинушке? — гуляй, Ваня, да и только,— время отдыхать, когда ты за-служил. Куда там тебе, ему, супостату, в этом, в устоявшемся у всех народов, ника-кого смака: подавай ему такое-растакое!

«Ты потмись, потмись, день полуденный!»

И ведь заворачивает... Вовлекает... Втягивает, как в погибельную воронку сума-шедшего половодья. Знать, со дна, с-под-исподнего достано,— с самих недр народ-ной запевки почерпнуто.

Все в его равнинной родине — полого, сжатисто, непрерывно — поля, холмы, пажити и опять поля с перелесками, да очень тягуче выстроенные на линии горизон-та, покуда глаза твоего хватает обозреть, все больше дремные леса, будто ошелом-ленные рати русичей древних. О, Русь...

Не привилось во вкусе его, в общем-то, непривередливом,— ни пестрое, ни при-чудливо контрастное, ни кричащее, но и ни вызывающе обнаженное. Для него в по-сменной перемене суток, и летом и зимой, обыкновенные сумерки — нечто магиче-ское... нечто заветное. А, скорее всего, задушевное. Трепетное: несказанно нерас-торжимое!

Если он в избе своей собороно сумерничает, то все погружается в умиротворе-ние, и даже кот на приступке, мышь в подпечье,— все растворяется в небытии. Будто зарок!.. Будто обет молчания. Попробуй, из домочадцев кто-либо или из пришлых, которые то же самое, чтобы посумерничать притулились,— так вот попробуй, обро-ни что-либо суетное, не богово,— тот час же в дому у него это самое молвленное обволакивается дымкой, как нечто непотребное, вздорное.

О песне его сказано немало. И не случайно говорят досужие, что он «...не поет, он душу изливает!»

...Как тут не поведать о том, что приключилось ненароком. Возвращаемся из по-хода по памятным местам отгремевшей в нашем густолесье партизанской войны. Уста-ли-умаялись... Одним словом, уходились, будто нахлебались досыта: по завязку!

Дотянуть бы до ночевки. Ног под собой не чуешь. Но вожатый хорохорится. Дес-кать, ребята, чуть-чуть осталось. Вон он, мол, двор показался, стало быть жилье... «Вишь, вот, ребята, позыбилося мне!»... Ну и шутник же, а? — вожатый-то наш? Позыбилося, видите ли, ему,— да с черта с два! — ни зги не видать, хоть глаз коли: сплошное темное небо. Какая это такая тут зыбь, а? Олух... царя небесного, а не во-жатый.

И вдруг, мелодия. Доподлинная. Будто повеяло ею. Будто из-под самого-самого

поднебесья. И — опять тишина. И — ни зги. Кромешно... Почудилось? Померещилось? Э-э, шалишь, как это почудилось, если все одновременно слышали.

Приостановились. Вожатый топчется. Ужель прав он, и мы, в самом деле, вышли на жилье?

Чу! — полилась опять, воспелась заново: «Мне малым-мало спалось, Эх, да во сне привиделось...»

И мертвого подымет, ей-ей!... Приободрились. Рванули не мелодию и как безумные: «Ура!» — «Вышли ж на жилье... на сторожку, наверное».

А ноги идут и идут, — само собой идут. И ведь понимаешь, что не маршем тебя взбодрили; напротив того, мелодия эта и околдовывает, и обессиливает.

Наконец, выбрались из чащобы, вышли на опушку, и «Ва!» — каков конфуз: никакой это не двор, и не сторожка это, не «домик при дороге», — а две новенькие палатки, раскинутые новоиспеченными туристами. Небольшая группа вокруг костерка, и транзистор... на обломленной веточке. Поодаль. Так вот что нас зазывало сюда?

Не обрадовались мы и пристанищу, и не умилились чужому очагу, и не стали спрашивать на ночлег, в соночевщики, — побрели восвояси ночной тропой.

И по сей день, едва накатит что-либо из воспоминаний, удивлюсь прежнему: а все-таки, чем подкупил нас голос, напевший нам «Малым-мало»? Каким это таким зовом сердца? Зовом предков?

Я, помнится в здоровенных бахилах, взмокший от пота, рохля-рохлей, а туда же, как и все, «понесся», и куда там противу меня сохатому? С жаром понесся, вдохновенно напевая, а точнее вторя, напевному. Откуда что взялось? — измотанный до-нельзя, до обморочности, и вдруг — такая оказия приключилась в пути с нами.

А между тем, ответ рядом находился, в сборнике народных песен, собранных для Ивана Васильевича Киреевского его другом, поэтом Николаем Михайловичем Языковым:

*Туманы то, туманушки!
Не сойди-та вам, туманушки,
Со синя моря долой.
Не сойти тоске-кручинушке
С ретива сердца долой.
Что вечер-то мне, добру молодцу,
Мне малым-мало спалось,
мне малым-мало спалось.
Много виделось во сне...*

ГОСТИНЕЦ

Осязаемо помню ту январскую, одичалую, с жестокими морозами и угонистыми поэмками стужу сорок седьмого года, когда в один из стылых вечеров принесла мне мать из города школьную тетрадь. Не самодельную, схваченную в перегибе суровой ниткой, а — фабричной работы, в косую линейку.

Невдомек мне, что дорого досталась она нам. Последнюю шаль, довоенный подарок отца, продала мать на базаре городском. Ни с чем не посчиталась... «Учись, — сказала, — без грамоты ноне нельзя!»

Спрянул с лавки, схватил проворно тетрадку, прижал к груди, — и все казалось, будто птица, застигнутая врасплох в потаенном гнездышке, вот-вот встрепенется она, вспорхнет и, стремглав, выскользнет.

Прежде, чем раскрыть ее и полистать, обнюхиваю ее, как-то по-собачьи. Пахнет незнакомо. Оказывается, это и есть терпкий запах типографской краски. Но мне чу-

дится ярый налет патронных гильз из бывших окопов за селом: головок снарядных, гильз, пуль и патронов у нас в захоронках видимо-невидимо, потому что наша деревня долгое время находилась в прифронтовой полосе, и старшие братья понатащали их огромную пропасть.

Развязав заплочный узелок, мать бережно кладет на стол мешочек соли крупного помола, выкладывает перевязь с мотком ниток, коробок спичек, насыпает прямо из судка горюшку гороху и — загадочно улыбаясь, — извлекает, наконец, эдак с потягом, поддразнивая, округлый комочек, величиной с мячик для игры в лапту, в бумажной обертке. Затем, с усмешкой, неспешно разворачивает этот загадочный сейчас бумажный катышек.

Бабушка, принявшаяся было по-хозяйски перекладывать покупки в шкафчик возле стола, с любопытством скашивает глаза на мать; рука ее, потянувшаяся было за гремучим коробком со спичками, замирает на половине пути.

— Гостинец тебе, — говорит мать и подает мне, освободив это влажное и колобообразное от бумажной обертки. — Не шибко дешево, ну дак чего уж теперь-то?!

— Либо что на яблоку разорилась? — роняет бабушка и с укором качает головой.

— Ничего, не обедняем, — отвечает ей мать тихо, оправдываясь за свое расточительство.

— Не верю глазам. Какое же это яблоко? — сморщенный гриб-строчок... Иль будто скомканный мякиш черного хлеба, застарелого.

— Мороженое! — смеется мать, довольная тем, что озадачила мальчика. — Ты его очисти-ко, — и колупает ногтем тонкую кожицу колобка.

Но бабушка отбирает у меня мерзлое мороженое яблоко, относит в кухню и кладет в печь, приговаривая: «Погреется в духмяном, пооттает, тоды уж и можно будет». После, очистив его наполовину, таким образом, что обнажился сочащийся липкой влагой бежево-золотистый бочок, я принимаю к нему губами. Ни с чем не сравнимый аромат исходит оно; может быть, оно и напоминает аромат свежеструганных досок, осиновых, но — очень и очень отдаленно.

Весь остатный вечер, пока не отправляют меня в постель, не выпускаю из рук яблока. Надкусив его, долго держу лакомый кусочек за зубами, и он тает, исходя теплым и терпким, кисло-сладким на языке. В нем нечто и от вкуса березового сока по весне, и от вербной почки пред распахом ее на теплом солнышке апреля.

Всякий раз, придя из школы, достаю с полочки заветную тетрадь, так ни разу и не тронутую пером, и, положив на стол, оглаживая лоснящиеся ее листки ладонями, гляжу, забываясь, в закружавившее на морозе оконце: заглянет ли и к нам в избу теплое солнышко?

ГОСУДАРЕВО

Все казенное он невзлюбил с малых лет. Повзрослев — возненавидел. К старости — обходил стороной даже здание госбанка.

Все чудился голос участкового милиционера, старшины Буеракова, из того, пригнопамятного, 43-го, когда наконец-то отбросили немцев от его родного села на полсотни верст.

— Мать, оружие в доме сорванцы твои не хранят?

— Что ты, Бог с тобой...

— Как так? Кругом разброд, небось твои шпанята понашарили всякой пропасти по траншеям и окопам... Сдай! Пока, слышь, по-людски приказываю. По-людски, смекаешь?

А после потянулись, будто волы в гору, крутые пятидесятые: вякнул словечко,

запаятовав, где ты обретаешься ныне, человеке, и, глядишь, уж притянули по 58-й... И потому — вот, один вид сельсоветской избы над скатом оврага, под железной крышей с дымарем и с ядрено рдеющим флагом, приводили его в дрожь.

Однажды, в январе сорок шестого, нагрянули из города какие-то начальники, в галифе и ясных, как пасхальное яичко, сапогах. Кликнули отца в сельсовет. Он незадолго до этого часа воротился домой: фильтровали после плена.

Кликнули, и он ушел, понурый, с вислыми плечами, а мать с бабушкой заматались по двору. По довольно просторному двору, но будто в тесной клетке.

Позвали его нарочным с первыми лучами солнца, а отпустили в сумерки. Уходил отец гладко выбритым, воротился на родной порог в серой щетине на обугленных щеках.

И долго, очень долго не меркли висячие звезды в ту ночь за окном, источая негасимое томленье.

В 54-ом провели, наконец-то, и в их деревню радио. Кабель уложили в траншеи. Веселые монтеры, задиравшие солеными шутками местных молодых, установили на взгорке деревянный столб, с два человеческих роста. На нем, как бы «лицом» к городу, откуда пришли по траншеям говорящие провода, укрепили трансформатор — черную пластмассовую коробку.

Бабы и ребятишки сновали из дома в дом: послушать и сравнить, у кого «г р о м - ч е». А наутро предсовета с Буераковым созвали сход граждан. Предсовета сказал собравшимся так:

— К е в о н н о м у столбу, товарищи колхозники, чтобы ни одна нога не подступала на десяток шагов. Увижу, сами знаете, как у меня... строго. Нятно?! Ась? Ну, то-то же...

И первая радость от говорящих проводов померкла. Сорванцы, и те поприуныли: столбик с запретной круговиной — будто и еще один сторожевой догляд.

В неполных пятнадцать определили его в Фе-Зе-О. Затем монтажник на строительстве цеха металлургического завода, был подручным сталевара; едва не женился по опрометчивости на разбитной бабенке. А после угодил на флот, чем немного гордился и в письмах важничал, словно оттаяла замордованная душа.

Воротился в деревню новоиспеченным героем: бескозырка — набекрень, клещи — шире ступни на вершок. Гоголем проплыл по селу — от двора к двору.

Подбуксировал как-то, уж хмель из буйной головы гуляки повыветривалась, к тому самому казенному столбику — и ахнул.

Мать честная! Подгнило дерево: к столбу приторочили кусок рельсовый и «обручили» кольцами из проволоки-нержавейки.

Ахнул оттого, что круговина, на десяток шагов от комля, зеленела первозданно. Поодаль, вдоль плетней и по кособору, там и сям, чертополох заполонил округу — не пробьешься и с секирой, а здесь, в «круге неприкосновенности», отмерянном Буераковым, трава полыхает малахитом.

И ни былинки курослепа, ни кустика Иван-чая. Не выпалывали его, одолень-корень вездесущий, ибо недосуг крестьянину, а поди же ты... однако. Го-су-да-ре-во! Неприкосновенно! Как воинский запас. Незыблемо. Ни-ни!

...И бумаги на пенсию выправлял не сам, а жена, обивая пороги больших и малых учреждений.

ДАВАЙТЕ, ДЕВОНЬКИ СПОЕМ!

Кряду долгих семь дней нестерпимо палит июльское солнце. Спекается тучная пыль на проселке, жухнет некошенная трава на пороховой обочине, задыхается от зноя придорожная ветла, а здесь, за насыпным валом погоста, и в полдень сумеречно под липами, и будто из настезь отверстого погребка тянет сыростью.

Я забрел сюда случайно. С ржаного поля. И теперь даже сквозь стену из стволов, вязких зарослей вишенника и жимолости, слышно, как, надсаживаясь на крутых загонах, урчат комбайны, как скрежещут, больно задевая за живое, коробки передач доверху нагруженных самосвалов. Страда. Заполошно-суматошная, невпроворот зерна, не огрести соленого пота.

Но нынче не связался отчего-то разговор с комбайнером, не выполнил я задания редактора. Хотя сам выбрал его,— в кепчонке-семиклинке, в рубаше горошком с закатанными по локоть рукавами,— из семи других его отметил про себя, надежду возлагал.

Виделось, что из тех он, лиха хвативших в послевоенную годину, для которых урожай, пусть и полной мерой с каждой пяди, по зернышку выстрадан, будто по капельке крови крестьянской. Полагал, скажет такое для нашего читателя, что и самого черствого проймет до доньшка тоски по жатве. А он: «Знамо, стараемся...» «За нами не станет, пущай за сверхнорму поднакинут малость...»

Не случилось этого слова, не случилось.

В душевной кабине комбайна я стоял подле штурвала пять кругов, а на шестом попросил остановиться, спустился на землю. Зашуршала под ногами стерня, пачкая сапоги пылью, и потащило меня сюда, под прохладные липы.

Почему сюда? Не знаю. Но только не затем лишь, чтобы укрыться от зноя.

И вспомнил тебя, мать...

Вспомнился каленый морозом март, то ли пятьдесят третьего, то ли пятьдесят четвертого, когда колхоз наш опять не дотянул с кормами до отрадной поры, и доярки, а после и телятницы, стали охалка за охалкой, мало-помалу раздевать крытый соломой коровник, и покатая кровля его зарябила в глазах белесыми ребрами обрешетки. Жутко.

Но вот поосели снега, которых наворотило в ту пору по крыши, зачерепневел наст, и стало возможным невозможное — выбраться на дальние луга к потерявшимся в сугробах остожьям.

И однажды, когда из подруг твоих, из вашей троицы неразлучной, доярка зане-дужила, ты, мать, сказала мне: «Поедешь с нами...»

Я так и не понял тогда, какая во мне-то вам корысть на неподъемной и для дюжего мужика работе: в тринадцать неполных лет ужель и я вам справный работник?

Не знаю, может быть, у меня и в лице высветилось это: сгожусь ли? — но только подружка твоя, тетка Анисья, самая бойкая из вас троих, вдруг подмигнула мне, как ровне, рассмеялась: «А что? Мужик все же... С тобой, Павлик, сподручней будет. Пое-ха-ли-и-и!»

А после, уже в санях, заботливо укрывая мне ноги каким-то рядом, пояснила:

— Ты, Павла, как с-под этого вот бугра станем на изволок груженный воз тянуть, напружь, значит, напружь голос-то, да как зыкни на мерина-то, зыкни... Он, окаянный, мужеского голосу слушается. Летом он смирный, хоть по частям его разбери, а теперь... отоштал. Вишь, ногами-то веревки вьет? Вот оттого и норовистый, когда груженный. Бабьего голосу не признает. Нипошто не признает, хоть ты цельным карагодом кричи-надрывайся. Стоит насмерть.

Я сдрейфил. Двенадцать минуло, а голос-то подводил, все не прорезывался баском, как у ровесников. «Должно, с голой картохи это»,— сказала ты как-то в ответ на мою досаду и отвела взгляд лукавых глаз.

И пока ты, и тетка Анисья грузились, подбирая остожья, я пыжился исторгнуть из саднящего горла хотя бы какое-то подобие «мужеского голоса».

Черта с два: то ли ветер уж очень сильно задувал, свирепея, забивая пасть, разъявленную, снежным кружевом, то ли и на самом деле не дозрело что-то в петушиной моей груди до «мужеского», но только помню, сколь ни маялся, лишь обсыпало лоб потом и из глаз выдавливалось слезы.

Пока мерин послушно и неторопко тянул воз по луговому целику, сердчишко мое обмирало в страхе: вдруг не сумею помочь, как только станем взбираться на гору и мерин запрямится. Как же просил я тогда Бога, чтобы наст-черепок не обрушился, чтобы непременно выдержал он сани.

Помню, шел следом и, глядя на задок саней, костерил почем зря дедушку Касьяна, обозного мастера, который поскупился на добрую лесину, выстрогал уж очень, по моим тогда меркам, узкие полозья для наших дровней,— ей-ей ухнут по завязку.

Так и случилось. У подножия горы, где закраина всегда с зыбким снежным покровом, с хлипким настом. Здесь лыжи, и то вязнут. Ухнули сани — и ни с места.

Вытолкала-таки меня тетка Анисья наперед воза, но у головашек саней попридержала за рукав: «Ну, выручай, парень».

Это уж после я сообразил, для чего попридержала она меня у передка саней: чтобы мерин не увидел хлопца, каков я мужик на самом деле, не распознал ненароком.

Что было духу, раздув шею, вздыбив плечи выше затылка, так что шапчонка сверзилась на глаза, я взгорланил: «Н-н-о-о, халя-ва-а-а!»

И ведь получилось. С перепугу, что ли, но получилось же, господи... А затем еще и еще, да с переборами, с многоэтажными. Сани-то и пошли... Пошли, родимые.

Опомнился, взглянул на тебя, а ты — глаза в землю. Запылали у тебя щеки,— сквозь землю бы провалиться. Но тетка Анисья обхватила меня поперек, прижала к груди мою голову: «Ничо, детка, ничо... Простится...»

Но сани пошли. Пошли, родненькие,— и плечом-то мы их подталкивали и грудью наваливались, и руками сучили, и лбами в воз тыкались, даже казалось мне, что хрустели наши шейные позвонки. И все же выбрались мы на взлобок.

Однако на самом высоком месте я так увлекся, что забежал слишком далеко вперед. Тут мерин, кося кровавым глазом, и подцелил меня. А как подцелил, так и стал, доходяга.

Ты его, помню, и кнутом, и вилами, да все по нежно-болезненным местам. Тщетно. Видимо, в тяжелой лошадиной работе ко всему можно привыкнуть, и даже к жуткой боли.

«Распознал он, окаянный, распознал мальчишку...»,— голосила теперь тетка Анисья, и так же, как и мерин, косила на меня недобрым воспаленным глазом, а затем и вовсе отвернулась, как от предателя.

А ветер крепчает, вот-вот нагонит завируху. А день и без того короток.

Сена, пахучего, лучшего, подсовываем по очереди мерину в отвисшие губы, а я, перепуганный, так и вовсе отогреваю kloка, надерганные из воза, за пазухой, чтобы льдинки оттаяли, ведь остожное оно, сено-то, из под снега.

Жует. Всхрапывает, и опять жует, однако впалые бока его, в мыле, не становятся полнее — ребра торчат, и кажется, что пустое брюхо его насквозь светится.

— Ну, Аниск,— роняешь ты решительно,— распускай веревки. Ин-до, до ближнего обмежья на горбу сено таскать станем.

И таскали. Сваливали в ворох, охапку к охапке, будто дорогие меха. Обронишь в попыхах горсть, потому как пот застилает глаза, шапка скользит по намыленному лбу, а тетка Анисья забежит наперед, сгребет красной, будто гусиная лапа, пятерней, возвращается назад и бережно, стебелек к стебельку, травинка к травинке, укладывает.

Перетаскили на ровное место треть воза, увязали веревками. Опять тетка Анисья у головашек меня поставила: «Ори!», а сама ну нахлестывать по бокам и по тощему крупу мерина.

И пошел он. Пошел, детинушка. Дотащился до сваленного вороха, остановился. Вздохнул. Как человек, вздохнул. Тяжко. Болезненно так.

— Господи, Лизаветк,— взвизгивает вдруг тетка Анисья, подступая к тебе.—

А на кой черт, спросить нас дур, мы с тобой убиваемся-то? Казенные что ли? Пусть бы сам председатель прибег, попробовал, как оно, молочко-то дается... А-а?

Ты отмалчиваешься. Когда же разбирает тетку Анисью уж очень не в меру, ты обрываешь ее:

— Молчи, молчи, неудельная... Думай, чего мелешь. Кто же, коль не мы? Ну, кто? То-то... И замолкни, Анисья. Сгинь!..

— Ладно! — и тетка Анисья прямо-таки съедает тебя глазами.— Пралик с тобой, сгину... Авось на том свете.

А после, все же одолев проклятый путь-тягун до фермы, мы разносим по кормушкам сдобное, пахучее сено, и я слышу до сего дня слышу! — мурлычешь что-то певучее себе под нос.

Но вот коровы накормлены. Худо-бедно, сдюжили вы. И на том спасибо и этому дню, что не пригнал-таки завируху, и мерину, и деду Касьяну, и ветру, что не одолел и на этот раз.

Собираются в кружок телятницы. Сквозь обрешетку кровли светятся, мигая, загадочные звезды, и оттаивает душа, а ты, распахнув шаль, роняешь:

— А что, девоньки, споем...

Эх ты ж, родимое.

ДЕНЬГИ

Первый послевоенный год. На исходе апрель. В доме — ни копейки. Но надо рассчитаться с долгами и купить мне новую рубаху.

И вот мать собралась на базар в город. По ее предположению, можно будет продать с мерку картошки и квашеной капусты толику.

В город приходим к первым лучам солнца. Одолели восемь километров пути от деревни. Мать несет на коромысле два ведра квашеной капусты, а я на перевязи картошку.

По улице Пригородной путь нам пересекает мужчина, плечистый, в клетчатом пальто с поясом, с веселыми глазами на усатом лице. Подходит ко мне, тычет тонким пальцем в перевязь, говорит, что он не скряга, возьмет все и, возможно, килограмма три-четыре капусты. Подцепив из ведра щепоть, пробует на вкус, прижмуривает ленивый, косящий на меня глаз, сдобно чмокает губами. Похрустев, зовет за собой следом.

— Я близехонько живу,— заверяет он, крупно шагая по мостовой.

Едва поспеваю за ним и матерью. Миновали домов до тридцати. Солнце, словно поджидало меня за углом, набрасывается жадными до влаги лучами, печет плечи. Начинаю спотыкаться.

— Мам, потише малость! — прошу сквозь слезы, хотя и понимаю, что скулить стыдно при чужом дяде.

Мать замедляет шаги. Перебрасывая коромысло на другое плечо, приседает под тяжестью, спрашивает мужчину с веселыми глазами:

— Не скоро еще?

— Сейчас. Чуток крошечный.

Сворачиваем в проулок. Задев босой ногой за острый камень, едва не падаю. Закусил губу, чтобы не вскрикнуть от боли. Но от матери ничего не скрыть. Она тотчас сбрасывает с плеча коромысло, с грохотом опускает на мостовую ведра и к мужчине-покупателю:

— Да что же ты, окаянный, за нос нас водишь, а? Крепостные мы тебе?

— Пяток шагов, гражданочка, — округляет тот веселые глаза.

— Пять? — и мать ставит руки в боки.— Ты что же, нанял нас? Что, в постель к тебе нести прямиком?.. Ну, нет уж... Все! Приехали! Выпрягайся, сынок. Если хо-

чет покупать честно, пусть сам волокет. Наш-то хомут любому по шее. Ничего, грыжу не наживет, лиходей...

— Дак вот же, рядом. Во, крыша завиднелась.

— Все!

— Чудачка,— суетится мужчина, и веселые глаза его тускнеют, а усы неряшливо топорщатся.

Но вот он достает из бокового кармана кошелек, вынимает из него деньги, подмигивая мне:

— Давай, дружок, десять шагов осталось.

— Еще и деньгами смущает? А ступай прочь. Не нищие... Обойдемся.

И сейчас хорошо вижу: мать, опустившуюся тяжело на ступеньку какого-то крылечка, и широкоплечего мужчину перед нею, протягивающего бумажки денег.

Деньги шевелятся, как большие и тусклые бабочки, которые разучились летать.

ДИВНОЕ ЗАГЛЯДЕНИЕ

В погоде не заладилось что-то с самого рассвета, да так вот и не выдался денек. По стылому небу несудом волокло мелкую наволочь, над хмурой закраиной горизонта время от времени замолаживало, однако шалый ветер налетал вскорости и задавал трепку. А после клоками тащились в изнеможении тучки, и опять все укладывалось до очередной взбучки капризной природы. Ведь лето явно клонилось к своему концу, и ломалась стезя золотой поры.

Уж и лист потек с деревьев. И в полях пустело, и постыло пялились облыселе пригорки, но не сдавался пред напором хлада один лишь человек в этой округе, дед Илья Степанович. «Авось, сонца свое взыщет!» — он поджидал его на завалинке, засиживаясь до сумерек.

На восточном крыле села это было насиженное местечко. Будто полустанок на тракте, словно островок посреди мирской суеты. А суета — она как прорва...

Однако, какие бури проносились над этой тихою пристанью старческого покоя. Покоя и покаяния. Стекались сюда отовсюду, и из дальних деревенек. И будто о скалу в часы прибоя разбивались несусветные байки и небылицы, особливо слухи и небылицы о якобы конце света, «о светлом будущем человечества».

Осаживал расхрабрившихся предсказателей и прочих шарлатанов, а то и остужал разгоряченные головы прохожих сам дедушка Илья Степанович. Просрамлял же нарочитых вралей, досужих краснобаев,— его дружок закадычный, одноокопник еще по «ампиристической» Никон Готов, по произвищу Аничка,— крепкий старикан; умница-самородок, книгочей, работавший счетоводом колхоза, и знаток Библии.

Одним словом, здесь, на завалинке, как раз и находился укреп всего сущего, незыблемого в крестьянском укладе.

Под вечер бывало здесь шумно и вольготно...

Нынче же никого! Тишь... И медленно текло время. Пока не выпятился из-за плетня забияка петух, обрызганный свежей кровью наподобие ожерелья. Выпятился, отбиваясь от наседавшего на него другого молодчика — азартного бойца из молодых да ранних. Оба извоженные, испачканные и изнемогающие.

Дед Илья Степанович тотчас отвернулся: не терпел неумех, в равной степени и неказистых. То ли дело, испытанные герои петушиных боев. Конечно же, и прежде всего его воспитанник по кличке Цесарь, а также сорви-голова соседки Марфы Стефановой. Она величала своего красавца никак не иначе, как только «Анчихряст»; а порою, навроде как по совместительству, — «Азият». Причем, если уж «азият», то непременно «проклятуший».

Что и спорить понапрасну? — те удалыцы были отменные. Подлинно истые, как о них дедушка судил. Кавалеры завзятые и «лыцари петушиной чести».

А у этих, таковских,— не схватка, а — потасовка. Не поединок, а выволочка. Одним словом, срамота.

Сам Илья Степанович рассказывает о петушиных боях вкусно, со страстью, аж в иных местах ему горло перехватывает...

«...Ну, значит, — zaczynaет дедушка рассказ, — допрежь как сойтиться им, войти, как говорится, в непосредственное соприкосновение, — и дед помогает себе изъясняться на армейском наречии всякими жестами. — Схватятся, но и уж тогда попотешатся. Всяк из них ого какой мастак! Оттого, знать, ерепенится всяк по-своему. О как! — и дед выкидывает запомнившиеся от солдатчины военные артикулы, о, значит, как! И так-от, и так-от!

А то глядишь, норовят допрежь того, лыцарское почтение выказать... Ага! И ни-ни. Чтобы, значит, ударить извести, то бишь исподтишка. Рядятся, чтобы, значит, карусель этакую откуролесить. Ох, и хватские, ох уж ребята вятские. Ага!»

Дед привстает и отвешивает поклоны, затем демонстрирует, вывинчивая голову из плеч, пируэты титульного этикета, что в его представлении о рыцарской чести и есть на самом деле неременное условие принятого и написанного церемониала.

— И вот тебе, значит, глядишь, уж сшиблись. Трах-бах-бабах! И все, навроде бы, у них шиворот-навыворот. Эк-коленца-то у них, что твой джигит лихой. Аж дух захватывает. Без подвоху. Ага!

Ударятся грудь об грудь, отлетят поврозь, и ну глазами острыми шпилиться. Уж от так и шпилят. Наскрозь. Ага!.. Всяк тут горазд другого изничтожить одним духом. И шибко эдак лапами сучат, затем вдруг спохватятся, и ну тебе наземь грудью припадать. Это они так-от друг дружку стращают. А сами, навроде бы исподволь, на курочек-то своих, на молодиц в карогеде курином, поглядывают, и опять понарошку задираются. Споглядывают. И задираются. Любо посмотреть. Кавалеры!..»

...Над селом в низком небе прошел с характерным клекотом ворон — (черная птица смерти) — падучей тенью над грешной землей. И знобко в груди от загробного клекота. Нехорошо на душе становится, мерзко.

Молодые наши петушки, заметив ворона, настораживаются. Вот они откачнулись друг от друга. Точно раздумывают, а не дать ли стрекоча — лишь бы подальше от опасности. Но, нет, — вижу, опять исполчились.

Илья Степанович морщится. Хочет встать и разнять петушков, но, откуда ни возмись, появляется старый Аника — воин «Анчихряст». Взлетев на гребешок плетня, неловкий от старости, словно литой из свинца, он устремляет глаз на забияк. Его глаз — это око Потрясателя куриной Вселенной. Вроде бы что-то произносит он на понятном им наречии. И даже дед изумляется: ведь послушались потасовщики приказа Потрясателя Вселенной. Разошлись в разные стороны.

Рассказывали, что дед Илья Степанович истовостью называл такое качество, как например, природная одаренность.

Говорили еще, как бы в оправдание его разборчивости в оценке людей, что его отец Степан Фаддеевич участвовал в войне с турками, привез с той войны жену, очень юную, будто бы половецких корней, из нареченных гагаузами; и до старости любил он водить в своем крестьянском хозяйстве лошадей, скакунов, — вовсе непригодных в землеробском деле.

...Нам же досталось впрягаться вместо тяглового скота в непосильное...

ЖГУЧАЯ КРОВЬ РОДСТВА

Эх, распропавшая моля доля: опять не удалось улизнуть из дому, и бабушка усаживает меня за чистый лист бумаги, подает заранее «...упокой Раба Божиего Фаддея, Рабы Наталии». Утром, по рани, ей — в церковь; родительская суббота; а мне вот — нынче испытание. Я же второклассник. Ну куда мне — в писари? С моими-то каракулями?!

Николай, старший брат, умотал спозаранку в поле, — рожь теперь вот жнет, средний брат «аспид», и глазом не моргнув: «Я, баушк, гляну, на вроде-бы письменносица промелькнула...»

Враки! — ну какая может быть почтальонша в такую рань? Ведь еще и роса не сошла, и солнышко над землей в пол-человеческого роста: сбежал, подчистую вымело его со двора, — ищи-свищи до вечера. Сиди тут, отдувайся один за всех...

Заскочившая «на чуток» в избу мать, — она с обозом продовольствия какого-то мимо дома нашего проезжала! — и, с порога, едва заглянув в лист предо мною, взъерошив мне на затылке клок волос вихрастых: «Гляжу, опять цельную тетрадку намолотили? Сказывала же, неужто батюшка зачтет все этакое? Нипочем духу у него не хватит все-то счесть...»

Бабушка норовисто шевелит бровью, отчего веко у нее нервно подергивается, — ей обидно выслушивать упреки; украдкой смахивает набежавшую слезу, поборов в себе желание возразить, как-то защититься, вступить за всех усопших в нашем роду, тычет в лист с моими каракулями: «Пиши... За упокой раба...».

За окном — лето, и сверстники в августовском раздолье, будто в раю, им разлили-малина и... на все домашнее плевать, а тут — Летопись...нескончаемая. «Раба Божиего Ивана, младенца Василия, отрока Феодора...».

Завершаем «Поминальный лист» к полудню. Перечитываю вслух, — не упустили ли кого? Бабушка остается довольной, даже щеки у нее румянятся, — умиротворилась, старая: «Ну, ступай теперича со Христом!» — в повеселевших ее глазах потанцовывающая лукавинка...

...И вот не стало бабушки, Варвары Васильевны, и оборвалась «связь времен», и некому стало в большущем роду помолиться за нас, грешных Грековых.

Печальную весть о ее смерти получил я, будучи солдатом третьего года службы. Все опустело вокруг.

И вдруг, некоторое время спустя, получаю письмо от старшего брата, с его фотографией. Но какой... фотографией?!

Николай на снимке — в крестьянской одежке, с топором на плече: то ли лесоруб, то ли плотник, то ли у барина работник, — одним словом, нашего роду-племени, как скажет, бывало, дедушка, и не зря хлеб ест!

Отдаю себе отчет: это — розыгрыш; шутка фотолюбителя; подурачились, дабы скрасить мои армейские будни, тем более, он — артист Народного театра в городе, а еще и живописец божией милостью. Однако, в лице на фотопортрете его нечто такое, нереальное, загадочно-нездешнее, и — жесткое какое-то. Суровое... А между тем вижу ясно, ни единого штриха гримера, ни одной наклейки: свой в доску!

Что это? Знак свыше? А что? — я не исключаю. Наменяли же нередко наши старики (глуп был в отрочестве, не слушал и не записал), что прадед наш, Степан Фаддеевич, воин войска «...от инфантерии Его Императорского Величества», участвовал в войне с турками, и вот ведь оказия-то какая, привез он с той войны жену-красавицу; чья и откуда — сокрыто туманом неизвестности: южанка, мастерица, прозваньем Настасья; но, не исключено, и имя то — как бы от лукавого, самим Степаном Фаддеевичем она якобы нареченная, из туретчины...

Думается, однако, о другом: что если в портрете брата на фотоснимке, проявился в лице его, тотчас же за смертью бабушки Варвары Васильевны, родоначальник прабабки, дочери иного народа? А? Мистика? Ох, как знать, как знать...

...Они, стоящие в скорбном ряду усопших, взывают к нам, заблудшим,— к нам в беспамятстве, взывают и посылают знаки, чтобы очнулись... от сна забвения, опомнились: неисповедимы пути веры, но превечен обет старших в роду!

КРАЮХА

Неурожайный, жутко голодный — до умопомрачения голодный тысяча девятьсот сорок седьмой год. В доме нашем с пропитанием не густо: нам, детям-подростышам,— старшие в семье, словно евангельскую притчу, глаголят повседневно: «Ноне мучицы — каждому с чуток, солюшки — с наперсток, а молочка — с шильца!». И чтобы не сметь с голодухи реветь — стыдоба...

И хотя взрослые валяются от недоедания с ног, и даже кошку пошатывает, мы, детвора, хорохоримся: а,— все трын-трава! Но если хорошенько задуматься и представить, то и трын-травы с самой весны не досыта: всю ощипали окрест, ни былинки.

Но вот подфартило однажды. Проходила мимо нас автомашинка; не столь часто сновали автомобили по нашему проселку, однако же, эта затесалась не ко времени иль не в пору: засела в непристойнейшей грязище, как говорится, по ступицы. Места у нас не такие уж и гибельные, а вот, поди ж ты, угораздило. Да уж кабы она, машина то есть, была какая-либо из числа захудалых и потрепанных, а то ведь воинская. И солдат при ней, значит, шофер-парень бравый, и не в пилотке, как многие на тот год, а в армейской фуражке, во всамделишной.

Ватага наших сорванцов, будто воробынью стаю с повети смахнуло: с гомоном окружила, едва солдатик поманил, а сотоварищ его, старшой, видать, кликнул. Окружили этакое диво, а почесть, евонное срамотище в огромной луже, как в потопище, то есть военно-боевую машину, и ну подталкивать да попихивать, а затем и вовсе по команде старшого, этакого строгого, в танкистском комбинезоне, навалились.

Вот говорят у нас, что, дескать, мал золотник да дорог,— полегоньку-помаленьку подвинулась автомашинка неудельная,— уж пошла и поехала, вырвалась из трясины на сухое раздолье и двинулась далее, роденькая! Боже ж ты мой милосердный, какое нам счастье: ведь это мы, голытьба, ее, скаженную, воинством забытую, стронули-таки с гибельного места.

Но счастье-то подвалило, как оказалось, позже. Это, когда дядька, солдатиков сотоварищ и старшой, приостановил машину на взгорке, громче прежнего кликнул нас, подозвал поближе, хватнул ручищей что-то там у себя за пазухой, лукаво эдак усмехнулся и,— и ну нас ломтями да краюхами хлеба одаривать: каждому по краюхе отбоярил. Пахучей, сдобной даже на вид, по большущей, так что и смерть теперико нам, бедолагам, не страшна. Вот убей меня гром, необыкновенный аромат источала краюха та у меня в ладонях.

Непостижим запах солдатского хлеба: по сей день его аромат у меня на губах; а может стать и в самом сердце моем?!

Вошел, шагнув через высокий наш порог, и,— помнится мне! — ни одна петля в певучей двери, мною растворенной, не скрипнула: как чудо света. Иль почудилось тогда? Нет, не почудилось: все доносится, доносится сквозь годы, эта умолчно затаенная, радостная тишина. Положил на стол краюху. Положил и, не выпуская из глаз (кажется, суженных в напряженном прищуре) этот кусочек семейной удачи, отступил

на шаг. Сглотнул слюну — предательскую ведь слюну, тугую! — вот сглотнул и — еще на шаг отступил от стола.

Подлетел брат, старший наш, взглянул и — замер. Вижу, зубы стиснул. Повел бровью: не поверил, и носом потянул духмяного воздуха, сыто эдак улыбнулся.

Бабушка, откуда-то из запечья, вдруг посунулась: «А? Чегой-то вы там, ай-ли, опять, как погляжу, нашкодили? И тебя демон принес, ворогуша, ну и где ж ты шастал, черти тебя носили? Чего мать приказывала, а? Водисы мне, водисы ноне поболее... А ты?» — и замерла, увидев краюху.

Не доплетясь на слабых ногах и трех-четырех шагов до стола, остановилась, носом потянула воздух, какой-то теперь не домашний.

Ни словечка не проронила старая. Подсемила, хилая, склонилась над краюхой, обнюхала, с придыханием, как мать младенца, протянула наконец руку, двумя клешнятыми пальцами уцепила крошку, поднесла ее к губам: мне показалось, что за окном в этот миг въявился совсем другой день, — так это озарилось все окрест...

То же самое повторил брат, — но, уже не подобрав крошку, а отщипнув: «Гдей-то ты?» — проронил брат.

«С неба свалилось!» — едва не брякнул я, но вовремя спохватился-опомнился, а точнее, вдруг перехватило спазмами горло, и ни слова не проронить.

А затем набегали в дом наш другие, из ближних по соседству, и — дивились.

«Кормилец!» — всплакнула бабушка. И по сей день, о Господи, не уразуметь мне, о ком это она, может быть и о дедушке Илье Степановиче, скончавшемся как раз в мае сорок пятого: не дотянул, надорвавшись и в одолении напраслины, возведенной на него в лукавом тридцать седьмом, и в предолгом ожидании родни с больших и малых фронтов Великой Отечественной.

И ни один из наших на тот час гостей в дому не притронулся хотя бы к крошке: хлебная краюха и величаво, и сиротливо гляделась на огромной нашей столешнице.

КОВЧЕГ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ

Не солгу, а, сказав однажды, не отрекусь: по-прежнему, теперь уж на гребне возраста, обширного перечня песен остаются для меня дорогими напевки фронтовых годин.

Все проходит! — обронил мудрец древности. Но вот это — драматичную мелодию сороковых-роковых — никогда не выветрить из скорбной памяти ни муссонам благоденствия, ни цунами жестоких потрясений.

...Я услышал их, поющих солдат, поздним летом сорок третьего, когда полыхали и под моим родным городом Белевом огненные сполохи Орловско-Курского сражения.

Не помню ни одного слова из тех песен солдат, но несказанная грусть-печаль запала в сердце, и вот сейчас все глубже проникает в него.

А в сорок седьмом наловчился брэнчать на балалайке, и в школьном хоре заучил несколько фронтовых песен. Тогда-то и появился у нас в деревне фронтовичок-бедолага, провалявшийся на госпитальных койках немало годков.

Говорили, что его крепко покалечило: оторвало на войне руку и ногу.

И вот — престольный праздник. Ближе к полудню после застолья народ высыпал на улицу — на точок-пятачок возле избы гармониста. Нам, пацанве, — раздолье.

Я уж запыхался, носясь между хороводов и стаяк девчоночьих, как вдруг, словно по струне ударили — взвился голос и завис над толпищем, а гармонь, всхлипнув, замерла тотчас, а затем, спохватясь, оправила мелодию басами, и голос зазвучал еще трепетнее и ярче.

«Далеко, далеко. Где кочуют туманы...»

Я оторопел. Убегавший от меня Мишка Амелин, по прозвищу Лобырь, остолбенел и, кося глазом, стал медленно, будто на вертеле, поворачивать голову на этот дивный голос, который исходил откуда-то из сердцевины круговища, где находился гармонист.

Точок-пяточок дрогнул, и сперва как бы поосел хоровод из числа понахлынувших, лишь пестрые складки широченных юбок и сарафанов метнулись у меня перед глазами: после, отпрянувши слегка, хоровод раздался шире, будто голосу стало тесно в душном кольце сгрудившихся вокруг гармониста, и люди почувствовали, ощутили зримо и осязаемо именно это.

Но вот голос порхнул в новой запевке, взлетел недосыгаемо, и праздничные сельчане в тугом кольце потянулись вослед, уж и на цыпочки привстали.

Я не устоял, кинулся было протолкаться в середку, работая локтями и кулаками, но юбки и сарафаны словно окаменели — и шилом не пронзить.

Мишка-Лобырь рванул в обход, я — за ним. Вскарabкались на завалинку, с завалинки — на кровлю крыльца. И обомлел: рядом с гармонистом стоял паренек невысокого росточка, с непокрытой головой, чуть вздернув ее как под капли дождика, а из уст его неслись чарующие звуки...

Он был одет во все флотское, только бескозырки не было. Левый рукав у него пустой. Брюки-клеш аспидно-черные, на правой ноге штанина наплывом на озорно и вызывающе блестящий носок ботинка, а на левой — штанина брюк аккуратно подобрана на деревяшке копытцем.

Он пел. Правая рука, целехонькая, загорелая, покоилась на бляшке ремня, и пальцы скользили, оглаживая якорек.

Я стрельнул глазами по толпящимся. Женщины смахивали слезы; дядька Тимофей, высокого роста, косая сажень в плечах, чудом оставшийся в живых на фронте, потупился, глаз не подымал. И мне сделалось нехорошо.

Нехорошо сделалось. Слово всех, и нас с Мишкой-Лобырем, уличили в чем-то подленьком. Вместо того, чтобы признаться в содеянном, мы все трусливо отрицаем.

Он пел еще и еще, а затем вдруг оборвал, тряхнул головой, откинув чубчик, обвел толпище удалыми глазами, улыбнулся, подмигнул молодке, стоявшей напротив него.

«А что это носы повесили? Вася! — и сняв руку с бляхи ремня, положил ее на трехрядку. — А ну-ка, нашу... флотскую!»

Вася-гармонист, переживший, видимо, то же, что и я, растянул меха тотчас, и покатилося в пыльную круговину точка-пятка «Яблочко».

Он вдохнул воздуха полной грудью, повел плечом с пустым рукавом, взметнул вверх целехонькую руку, затем и за голову ее кинул, и — пошел, пошел по бровке истоптанного круговища, выбрасывая, ловко, в такт, то здоровую ногу, то деревяшку с таким форсом куражистого морского перепляса, а когда гармонь уж и скороговоркой сыпанула, он завил знаменитую «веревочку», и все назад, все назад, энергически пятясь.

В ту пору в деревне не ведали аплодисментов — не принимались они всерьез, но не сдержался дядька Тимофей, повидавший белый свет в пороховом дыму, захлопал, дюжий, и сейчас же отозвалась толпа, неумело стуча ладонью о ладонь...

...Ну зачем, зачем они хлопали?

МАХОМ-ПРАХОМ

Живуче-неуемный, он жил, задыхаясь в обыденщине. Порой, когда уж все обрыдло напрочь, взрывался: «Простору душа просит! ...Вишь вот, мается!»

На ноги, будучи ребенком, Афанасий встал рано. И рано стал ходить, удивляя родителей, кузнеца Никиту и Акулину свет — Андреевну, норовистым темпераментом. «Глядиго, наш-то пострел,— смеялся отец,— будто паровоз, сходу попер. Он, ажно, как «Фе-Де». (Были в стране тогда такие паровозы-быстроходы.)

Мать сдержанно улыбалась, углядывая в напористости сынишки повадки деда своего, из купеческого рода происхождением, промышлявшего пушниной.

Но в семилетнем возрасте сделался малоподвижным, замедленным, за что был прозван Сиднем. А в отрочестве обернулся вдруг, словно Иванушка в русской сказке, расторопным, хватким. Юность ознаменована проявлением в нем разных способностей, одним словом — «и швец, и жнец, и на дуде игрец!»

Более того, забавы нередко переходили через край,— за что девицы-перестарки прозвали метко: «Оторва». А между тем приобщился парень к отцовскому делу, металл понимал, и тот ему подчинялся, отчего старики поговаривали: «Бог таланту припас, знать, на двоих-троих, а досталось, вишь ты, одному Афоньке-Оторве!»

Афанасий, впрочем, и в играх был чрезвычайно везуч, в карты,— не приведи, Господи, с ним в игре схлестнуться: обдерет как липку,— карманы-то до донышка выхолостит у соперника.

Иной игровишка возьмется отыгаться, сидит-мается, в утешение приговаривает: «Карта не лошадь,— к утру повезет...». Этот же, Афонька-баловень, шел всегда напрорыв, наудачу: и все в нем отродясь — как крутой кипяток; все — с лихвой; все — с пылу, с жару!

А главное все не-раз-бав-лен-ное: п е р в а к!

И ведь не пошел по батькиной стезе, махнул на море. В рыболовецкое дело. Отговаривали родители, да что это ты, да куда это ты... Куда там тебе,— и черт ему не брат.

За длинным рублем погнался? — ничуть не бывало: он и там, на «северах» где-то, деньгу, как говорит, «ни во грош не ставил». «Ш-ш-а,— скажет бывало братькам,— За всех плачу!» Ломил в нездешнем деле новоявленный рыбак таким образом, что вскоре выбился в люди почетные. Примчит ко родному ко двору в отпуск, и-и-и, батюшки-светы: дым коромыслом в отцовском дому... Гуляет вся округа, От мала до велика. Старушек угощает... Девиц конфетами обсыпает. Все — обвальню, и как-то обломенно! До последней копейки, и так, что, если мать с отцом не припрятут тайком,— от деньжищ «лишь ножки, да — рожки!»

А тут — война... Сказывали (то есть говорили после те из земляков, которых к себе в рыболовецкое дело-то сманил), что «кинул все на свете» Афонька-фанфарон (новое прозвание схлопотал) — рванул в добровольцы. На фронт. И ведь, вишь ты, бронь на ем была... Во оно как, ешь твою двадцать».

Но никто тому в селе не удивился. Знали: у земляка — все с лихвой, и все — махом-прахом. И уж навоевался в досталь. И ранен был, и наград всяких нахватал. К ордену был представлен, однако, «махом-прахом». Из-за своей геройскости напоказ, чтобы всенепременно всем на диво, в страшной по дерзости ее, в одной разведке был контужен, схвачен фрицами; и уж поизгалялись над ним, оглушенным взрывом благо, что вскоре друзья — такие же о т п е т ы е, выручили молодца, отбили его у немчуры.

Выжил. Оклемався, Возвернулся ко двору,— и пошло опять поехало. Немножечко поотдохнув у родителей в дому, затесался на золотые прииски. Туда, где «Макаровец не пас!». Склонили его на это дельце дружки фронтовые. Душно, видите ли... А-а-а, для души ничего не жалко! Ну что с такого возьмешь? — Оторва, он и есть Оторва...

Там, на приисках, угодил «по число по-первое». У него на глазах братки уколошили в драке человека, а ответ за всю братию взял на себя он, Афонька-баловень... Зато вернулся «по чистой», и — боже мой: кум королю. Ни в чем не запачкался: не

приставало к нему мелочное даже за колючей проволокой; не прилипало гаденькое, мерзостно-пакостное: по жизни он, «как жечь по ветру!»

Правда, маленько усох, но не по-стариковски, а так это, будто понарошку, из-за природной в нем форсистости: поджарый и с хищноватым прищуром сталистых глаз,— будто только теперь проявилось в нем родовое, вылезло наружу — жуткое как бездна. А в остальном, все то же самое: махом-прахом.

Привез Афанасий Никитич после той «ходки» в места не столь отдаленные много денег, ружьецо заказное впридачу, одежд меховых прорву, даром что ли, внук купеческий...

Женился? — конечно же, не замедлил; только вот на этом-то и подстерегла его судьба-копейка: шелковым сделался. Иногда взбрыкнет, будто жеребенок-стригунок, по большому празднику на селе, и «Ш-ш-а»,— чтобы и ни-ни впредь...

...К восьмому десятку жизнь склонилась, а он, бесталанная головушка, нет-нет, а встрепенется: и уж покуражится, ох уж и покуражится, возрасту вопреки.

И откуда что берется, а!?

ПЕРО

Весною дел в селе не впрок. В Верховье Оки, едва завершили сев зерновых, сажают картошку. Высыпали на огороды всей родней, а приглядеться, малые да старые,— война мужиков повыбила, страшно глаза на народ поднять? Осиротелые вокруг.

Сажаем под соху: ребяташки водят под уздцы лошадку, бывшие фронтовики, справные более-менее,— за сохой. Я в паре с Тимофеем, не с калечным, но с тугухим из-за контузии. Мне полегше: меринок бухает и бухает копытами в рыхлую землю, порядком обезнавоженную за лихую годину; без насады дышит, пока до края поля тянуть нам и тянуть. С середины он начинает сбиваться с машистого шага, вот уж и частит, трясет головой и норовит заступить, а то и вовсе сойти в сторону.

— Борозду! Мальчик, борозду! — кричит на нас дядя Тимофей. Всех подростков моего возраста он называет не по имени, а одинаково — «Мальчик». Но и мерина кличут также. Мы с меринком в паре, и прозвище одно. Не обижаюсь на дядю Тимофея, впрочем, мне и не до обид: я учу наизусть стихи; прямо на пашне; по ходу дела; как заведенный,— «...и просится рука к перу, перо к бумаге...» Мудреные. Это не то совсем, когда «пахнет сеном над лугами...» или же: — «Птички солнышка ждут, Птички песни поют, И стоит себе лес улыбается...».

— Стой, Мальчик! Тпру-у-у-! — раздается назади.

Останавливаемся. Оглядываюсь. У дяди Тимоши озабоченное лицо. Хмурится, помахивает рукой перед грудью, будто свежего воздуха к лицу навевает:

— Сдай назад, Мальчик...Та-а-к! Еще назад. Стоп! — командует он отрывисто, самозабвенно, словно он все еще далеко отсюда, где-то там — в окопах.

Вызволяет соху из борозды, опрастывает сошник, наклонившись счищает ладонью нашлапки глинозема с лемеха, ворчит:

— От! Так оно и вышло. Ну, погоди у меня, пустомеля,— это он в адрес наладчика сох Афони Горелова.

Опустившись на корточки, он поколачивает кулаком по кленовому полозу, оправляет и осаживает на деревянное развилье розсохи отполированные до блеска лемеха, прикручивает в перекрестье веревок как можно туже палицу, затем, уложив ее, в предусмотренное для нее ложе, пробует, какова оснастка.

Придирчиво оглядев, пробует, приподняв за рукояти, отполированные ладонями до нутряного блеска,— выверяет на весу: ловка ли соха в распахе. Подсунув вытяну-

тые руки под обжи и прижимая к груди колодку, напруживает щеки, трясет и ухаает; подмигнув мне заговорщицки, бережно опускает на пашню, говорит, эдак наставительно, будто ротный старшина солдатам перед атакой:

— От! Глядите, мальчики: когда перо у сошника гораздо, тогда и конь — в борозду. О как!

Поплевал на руки, взялся за рукояти, приналег, так что лемеха вошли носками в сверкающей отточке в землю под нужным углом, кивнул:

— Ну, Мальчик, поехали!

Потихонечку трогаем, вот уж идем, как бы налегке, и стихи про перо сами собой ложатся на память: «Минута, и стихи свободно потекут...»

ПРОСЕЛОК

Ну и живуч же ты, трудяга-проселок! Живуч, сколько бы ни распахивали тебя по указке ретивых землеустроителей. И никак мне не разгадать загадку твою.

То бережно огибаешь по кромке гиблого распадка крохотное, неведь когда и как отвоеванное у леса, а теперь пустопорожнее, с подзолом и супесью, поле, то, будто спохватясь, здравому рассудку вопреки, ломишься наудалую поперек добротного клина, где земля наредкость отзывчива на заботу о ней и ласку.

То крюку гнешь, опоясывая мелкую,— в пору пригоршнями вычерпать,— балку с дождевой водой, а то вдруг отчаянно, очертя голову, сваливаешься, ни с того ни с сего, в такую непролазную пропасть и потопище, к тому же на изволоке с тягуном на добрую сотню метров, так что мукой мученической оборачивается каждый шаг, тем более, если с тяжким возом.

Но и это не в счет. Где-нибудь перед затерявшейся в глуши деревенькой вместо того, чтобы без опаски да оглядки пролечь по веселой опушке, махнешь эдак напрямки и ну прочесывать строевой лес: уж коли хлябь, так по ступицы, а если чаща, так чтоб ось тележная непременно каждый ствол дерева за живое задевала.

И что за надобность в тебе, этаким-то, человеку? Что за радость? Лихо одно... Ан нет, во всякую пору ты у него езжалый — в ненастье и в ведро.

И, поди, узнай, чего в тебе больше: мудрости ль с избытком, лукавства ль не в меру или упрямства с лихвой.

А может быть, глупость всего лишь, не ведающая берегов, да упрямство без укороту?

И дивно вот еще что. Уж, кажется, наипрямее железных дорог пролегли нынче насыпные большаки — под асфальтом и бетоном, безупречно прочные, такие, что лунными ночами слышать, как в пыль и брызги звонные разбиваются об их твердь падучие звезды, но ты, неистребимый, живешь себе, катишься, будто в вечное, помаленьку да полегоньку.

Не планировали тебя в тихих кабинетах, не творили светлые головы по заказу с линейкой и карандашом, так отчего ж, заклятый, само собой просится к тебе неугомонное колесо?

Знать, быть тебе, проложенному по наитию, но в согласии с неведомым нам здравым смыслом, долго-долго, пока не померкнет в печке последней избы малиново-светящийся уголек.

САМАЯ ЗЕМНАЯ ПТИЦА

Поздним вечером, уж сумерки пали, сгустившись, возвращаюсь с работы. Ба! — Грачи прилетели. В сутолоке дня не заметил вестников весны, и вдруг — на тебе:

густо осыпали черноплодной рябиной ветви высоких тополей на городской площади. Гомонят,— переключку устроили после многодневного перелета.

Взглянул на соседний сквер, где, осененные елями, успокоились навечно братские могилы павших воинов — ни перелетной птицы, ни голубя. Лишь синица пугливо порхнула.

А ведь ни разу не задумался над этим: отчего, ни грач, ни скворец, ни тем более ласточка-касатка — не садятся на хвойное дерево?

Сороке и коршуну уготовано Богом или Дьяволом оно? Дерево шатровое?

Белобокая скакнет на цоколь елки, огласит безмолвную округу — и была такова: низами, выныривая невесть как из игольчатых шатров, пронесет восточку по всей опушке, а то и углубится в чашу.

Коршун — на часах, будто сама эпоха опочила: не шелохнется, не встрепетается даже при громовом выстреле. Снимется, качнув крылами, и, косо спланировав, отлетит на несколько саженей, усядется с достоинством, и пуще прежнего нахохлится, стервец.

Грач — птица земная. И трактору он во след по борозде, и трудяге — коню-пегашке вдогон. Завзятый агроном и отменный огородник. А уж ору-то, ох, ору-то от него по весне — будто вселенский табор...

Но вот что удивительно: селятся грачи кучно, будто избы ставят мужики на селе; гнездо к гнезду — хуторянина среди них не встретишь!

Иной, отчаявшись в поиске свободного, незанятого, местечка в ветвях, так чтобы бок о бок с родовым племенем, махнет, бедолага, на общинское, уединится, на краю опушки изгоем, однако, не успеет положить в основание дома своего и трех сучочков жалких, глядь, уж к нему в шабры еще две-три пары присосеживаются, смущенные. Новоселье!.. Крыло к крылу, а нос — к носу. Вылупятся птенцы: ни дать, ни взять — детсадовские.

Отчего это? И почему у человека на виду? У человека, жадного до пуха и мяса?

Может быть потому, что клюв грача — не для боя? Грач не знает вкуса свежеспролитой крови, ни алой, ни голубой, ни красной. И грач — не прячется. Пашня ему — кормилица.

ЧТО ТВОРИМ?

В один из дней золотой осени с новым моим другом, довольно старым человеком, краеведом, собирателем фольклора, Иваном Егоровичем, забрели мы однажды на пепелище бывшей усадьбы Киреевских — запустение и глушь, шага не ступить без того, чтобы ненароком не задеть плечом или локтем ветвей задичалой поросли.

Мой спутник замешкался по-стариковски на гребне глубокого распадка, взятый в полон чертополохом, расплодившимся не в меру, а я, резво шагая, оказался вдруг на краю полянки. Мое внимание привлек большой, горюшкой насыпанный, муравейник, угнездившийся в густой, в пояс рослому человеку, суходольной траве, словно терем, обнесенный высоким тыном.

Я подошел и, как бы через тын,— уж очень искусным показался теремок,— заглянул... Заглянул, и чудный свет осени померк для меня разом: муравейник был разрушен. Кто-то, долговязый и долорукий, не заступив высокого тына,— не затоптав травы; берегся же супостат мести хозяев теремка,— сдвинул наверх муравейника, вспорол покату его боковину от середины до подножия.

В великом смятении сновали обитатели в провалах, вниз-вверх, как по строительным лесам, шатким лестницам и канатам, спешно слясь хоть как-то поправить порушенное.

Долго, неотрывно глядел я, благополучный путешественник и охотник до чужих песен, на бедствие этого дома, и зримо, одна за другой, прошли передо мной картины вселенского горя...

И то ли это было наяву, то ли так уж тогда показалось, но только услышал я, как с трудом пробиваясь к моему сознанию, сквозь толщу иных миров, пульсируя на за-предельной волне, гудит заполошно набат непостигнутой никем из нас тревоги — их непоправимой беды.

Услыхал я — и отшатнулся. Кто содеял такое? Из праздного ль любопытства — а что там, за чуждыми стенами? Из нужды ли своекорыстной: страждущий рыбачек посягнул для наживки? Или безнаказность водила рукой слепца?

Одно я знал определенно — не зверь сотворил зло, человек тут был: в отвергнутом наверху лежала захватанная пальцами увесистая шапка жирного мухомора, густо обсыпанная пепельно-серым, будто порохом, готовым вспыхнуть всепожирающим огнем, поднеси я зажженную спичку.

Ничем, ровно ничем не мог я помочь этому большому Дому. На исходе осени, на закате солнца он был один на один со своей бедой. Понять его обитателей я мог еще, но помочь им было выше моих сил и умения.

И не было чем загладить вину перед ними Человека. Перед ними, кричащими о спасении самого-самого земного на свете... А между тем сплошной набат вселенской беды все гудел в моей разбуженной крови.

Что творим — не ведаем!

ПОВЕСТЬ

Борис Роганков

ЧУЛКОВСКИЕ СОРВАНЦЫ

(главы из повести)



Борис Константинович Роганков, прозаик, публицист, член Союза писателей России с 2005 г. Родился и постоянно живет в Туле, в Чулковской слободе, памятной всем по «Растеряевой улице» Глеба Успенского. И все прародители Б. Роганкова жили там же. Окончил Тульский горный институт, работал электриком, энергетиком, инженером-проектировщиком. Написал и издал повесть «Чулковские сорванцы», главы из которой напечатаны ниже, роман «Две встречи», книгу юмористических рассказов и сборник очерков «Звезды и звездочки (о литературе, кино, эстраде)». Автор нашего журнала (см. «ПЗ», № 1, 2005).

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Раньше я бы никогда не подумал, что мне захочется стать взрослым. Уж не смогут они, взрослые, закатав до колен штаны, пускать в дождевых ручьях бумажные кораблики и невозможно никому из них промчаться с гиком и свистом на березовой палочке верхом.

Я и теперь не против подурачиться и покуролесить, но время от времени у меня возникают отнюдь не детские желания.

Так, однажды мне очень захотелось пойти в парк на вечерние гуляния.

Вечером в парке мне не доводилось быть ни разу. Я бродил нерешительно вдоль узорчатой металлической ограды и не знал: то ли мне перелезть через забор, то ли взять входной билет?

Вот скрипнули лодочные качели и донесся отдаленный девичий писк.

В сером, еще не подсвеченном фонарями воздухе, чувствовалось приближение темноты, но еще хорошо было различимо, как над парковыми высокими березами взметнулся взлохмаченный парень на качающейся мачте «блохе» и исчез за темными верхушками деревьев.

Перелезть через забор для меня — пустячное дело, но я вовремя вспомнил, что уже взрослый и сразу заметил, что и вокруг меня серьезная взрослая публика: девушки принарядились и завились, парни нагладили брюки до стрелочек, а волосы смазали бриолином и гладко зачесали назад. Они шли вначале к кассе, а потом солидно подавали контролерше входной билетик.

Без колебаний купил я тоже билет, и пожилая тетенька у входа согласно кивнула мне головой, как всякому взрослому человеку.

Теперь я шагаю неторопливо по широкой аллее, вслушиваясь в негромкий говор вечерней публики, улавливая едва заметный шелест шелкового платья и легкий аромат духов...

Но вот я оказался на широкой парковой площади с полузасохшим дубом и растерянно приостановился около трехступенчатой лилии-фонтана.

Однако как непривычно в парке вечером: все здесь группами, парами, шутят, смеются...

Что же мне делать дальше?

Но тут из-за фонтана показалась сутуловатая фигура Сухотина.

Ой, какой он важный сегодня и нарядный: синяя клинчатая фуражка круто сдвинута набекрень, и белый платочек торчит из кармана.

Сколько его помню, не вылезал из застиранной лыжной рубахи. Теперь же, смотри: новенький камлотовый пиджачок в полоску и суконные отглаженные брюки клешем.

— И ты здесь! — обрадовался я. — Бежим, Лева, кататься на «блохе». Как взлетим на железной мачте над деревьями и потом головой вниз...

— Охота была детством заниматься? — солидно заявил Сухотин.

— А чего же здесь делать?..

— Хочешь познакомлю с девочками? — ошарашил Лева.

Если ребята узнают, что я встречаюсь с девочкой, они меня до смерти засмеют в школе.

Но Лева принял мое молчание за согласие и легонько подтолкнул вперед.

Пройдя березняк, мы вышли извилистой тропинкой на широкую аллею, накрытую, как крышей, распростертыми ветками могучих дубов и разделенную на две дорожки шеренгой керамических ваз с пышными шапками ярко-красных цветов.

Как только из-за деревьев выглянула дощатая стена летнего театра, от земли до крыши обклеенная пестрыми синими афишами, Лева подтолкнул меня за куст шиповника, снял свою модную фуражку и тщательно поводил частой расческой по короткому чубчику, блестящему от бриолина. Осмотрев придирчиво меня, выпустил воротничок моей тенниски на вельветку и подровнял мой чуб.

— Что за девочки? — робко спросил я.

— Увидишь, — ответил Лева, — да вот они, около входа.

— Ой! — я так и остолбенел. — Им уж лет по двадцать. Тетеньки!

— Не будь ребенком! — Лева небрежно обнял меня за плечи и вывел из кустов.

Из приоткрытой двери летнего театра доносились резвые голоса баянов. Там было весело: там выступала самодеятельность. А на душе у меня скребли кошки: сейчас подойдем, а эти женщины капризно скажут: «Отправляйтесь-ка, детки, спать...»

Но девушки встретили Леву как старого знакомого:

— Зоя, смотри кто идет! — темноволосая высокая девушка тронула за руку фигуристую кудрявую подругу: — Наш добрый рыцарь.

Кудрявая обернулась, и я с ужасом узнал Зою, практикантку 5А.

Она показала глазами на меня и тихо спросила у Левы:

— А это что за школьник?

— Какой он школьник? Он учится со мною в техникуме, — небрежно соврал Лева и слегка замялся, — на первом курсе...

Но девушки поверили и после этого стали вести себя свободнее. Зоя с легким кокетством подошла к Сухотину:

— Ты нас уважаешь?

— Какой разговор?!

— Значит, должен записаться в наш хор! И не возражай: у тебя шикарный тенор... Идем, Василиса Петровна тебя послушает...

Лева от неожиданности еще больше ссутулил плечи.

— Зоенька, да у меня нет голоса...

— Да или дружба врозь! — она тряхнула кудряшками и отставила ногу на каблук.

Лева смущенно отстранился:

— Не в голосе я, — он хрипловато кашлянул, — но не огорчайся, детка, я откуплюсь, — Лева покраснел и вынул из кармана помятый кулек с соевыми слипшимися конфетами: — Угощайтесь, девчата!..

— Лева, миленький, — отпрянула Зоя. — С каких доходов? — она неловко поежилась, но несколько конфеток взяла для себя и для подруги.

Все это время высокая бледная девушка в синем бостоновом костюме (которую звали Олимпиада) стояла в стороне. Она понемножечку откусывала конфетку, и глаза ее смущенно были опущены, словно она догадывалась, что деньги, которые Лева так расточительно истратил на конфеты, он кропотливо сэкономил от той мелочи, которую ему давала мать на школьные завтраки...

И пока Лева заставлял кудрявую хихикать, ее добрые карие глаза внимательно обратились на меня:

— Молодой человек, — вдруг заговорила она напевным низким голосом, — подходите ближе, не чуждайтесь нашей компании.

«Молодой человек»! Да она со мною на равных! Но этому увальню Лева вдруг захотелось показаться перед девушками наглее и развязнее:

— Олимпиада, поухаживай, поухаживай за женихом. Мужчина он холостой и не очень старый...

Кудрявая девушка прыснула в кулачок, и мне показалось, что деревья начали насмешливо покачиваться надо мной.

Я застенчиво посмотрел на Олимпиаду. Белое лицо ее в одну секунду стало пятнисто-красным. Но с легкостью, которую трудно ожидать от задумчивого человека, подскочила она к Лева и ее маленькие белые кулачки проворно забарабанили по его согнутым плечам.

Мою растерянность сняло, как рукой, а строгая Олимпиада вдруг стала предомной девочкой-школьницей...

Но тут дверь приоткрылась и появилась пожилая сухая женщина (наверное, Василиса Петровна). Она позвала девушек на сцену.

Когда девушки скрылись за дверью, мы с Левою тоже прошмыгнули в полутемный зал, прошли на цыпочках между притихшими рядами и заняли места сбоку от сцены, под самыми прожекторами на дощатой стене.

На сцене маленькая пышная женщина в длинном сборчатом сарафане пела залихватистым голосом «Валенки».

— Девочки понравились? — шепнул Лева.

— Да.

— Вот так-то!.. Смотри не проболтайся, что в школе учимся... В строительном техникуме! Понял?

По микрофону объявили:

— Выступают Шилов и Никитин, обмотчики цеха номер три.

На сцену вышли плясуны в ярких шелковых рубахах с просторными рукавами... потом мелькали бутылчатые булавы жонглера в красном и синем свете...

И когда зал, пресытившись пестрой яркостью, притих, ожидая простого, но свежего поворота в концерте, на сцену торжественно вышла та самая сухонькая женщина, которую наши девушки звали Василисой Петровной, и объявила надтреснутым голосом:

— Ария Прилепы и Миловзора! Из оперы Чайковского «Пиковая дама».

Так же неторопливо, едва шевеля складками бархатистого длинного платья, села за фортепьяно.

Из-за кулис показались наши недавние знакомые.

Первые аккорды зазвучали, словно переливчатые пастушьи свирели. Зоя вышла вперед, в яркий свет софита.

Я вытаращил глаза от изумления: будто известная певица, а не бойкая девушка-хохотушка. И эта строгость в лице, и этот артистический жест рукой от себя. А голос такой бархатистый и сильный:

*Мой ми-лень-кий дружок,
Любезный пастушок,
О ком я так стра-а-даю
И страсть открыть же-е-лаю,
Не-е, не пришел пля-а-сать...*

Олимпиада, не схваченная ярким кругом прожектора, стояла немного поодаль. Но я очень хорошо различал ее белое лицо с чуть заметным шрамчиком на щеке... Она была бледнее обычного — наверное, волновалась.

Я приподнялся, чтобы Олимпиада увидела, что я за нее болею и успокоилась.

Но она уже подняла свои длинные черные ресницы и вступила в яркий свет:

*Я здесь, но скучен, томен,
Смо-о-три, как похудал,
Не буду больше скромн...*

— пропела она низким напевным голосом, и я ощутил далекий зеленый мир средне-векового пастуха и пастушки...

Сухотин неожиданно толкнул меня в бок:

— Сейчас они выйдут,— шепнул он,— пошли в боковую дверь...

Мы вышли наружу.

Лева вдруг засуетился и стал торопливо шарить по карманам. Торжественно извлек помятый рубль: «Надо купить цветочков. У тебя есть сколько-нибудь?» Я добавил ему медяков, и он умчался.

Было очень темно, потому что задний фасад не освещался ничем, а деревья сплошной стеной закрывали звездное небо.

Но вот дверь распахнулась, и неяркий свет со сцены высветил высокое серое крыльцо. Промелькнули темные фигурки. Послышался тихий перестук каблучков.

— Зоя, осторожно; здесь ступеньки шаткие и такая темень...— услышал я красивый голос Олимпиады,— обрадовался и тут же испугался: Лева не успеет вернуться.

— А где наши мальчики? — спросила Зоя.

Но тут из-за кустов появился запыхавшийся Сухотин. Победно размахивая рас-трепанным букетиком флоксов, он громко зашептал:

— Что же ты стоишь? — он выбежал на видное место.— Пошли догонять!..

Мне очень хотелось выйти, но я неожиданно вспомнил, что страшно позорно, когда ребята дразнят «жених и невеста»... А я очень боялся опозорить Олимпиаду...

— Ах, Лева, опять ты соришь деньгами! — услышал я ее напевный голос.— Раз-ве так можно...

— Лева наш добрый рыцарь!..

Счастливые голоса направились к пролomu в ограде.

«Им хорошо»,— подумал я. И сразу почему-то почувствовал, что вечер прохлад-ный, темный, тоскливый...

Мне оставалось горестно брести домой. Но вдруг я услышал, как хрустнула ветка и чья-то рука торопливо раздвинула кусты.

Я обернулся и увидел красивое лицо с маленьким шрамчиком на щеке.

— Пойдемте скорее с нами,— ее тонкие черты окрасились спокойной улыбкой,—

или вам в другую сторону? — Олимпиада легонько взяла мою руку и нежно пожала ее. — Тогда до свидания...

Может, она принимает меня за ребенка, которому пора спать?.. Щеки мои покраснели и я хотел сказать: «Какая разница, в какую мне сторону? Я пойду с вами...»

Но стройная фигура высокой девушки уже скрылась за темными ветками...

Легкий запах духов быстро рассеялся, но мягкое прикосновение руки не проходило. И от этого звездная ночь казалась какой-то призрачно-сказочной. И большое светлое лицо луны с бледными пятнами стало улыбчивее и ближе, словно все это время луна участливо наблюдала за мной. А теперь вдруг выкатилась из-за большой старой ели и поднялась, и пошла провожать меня, плывя над самыми верхушками темных деревьев...

ПЕРЕПОЛОХ

Мне кажется, что я не спал, а лег вечером в постель, закрыл глаза, а когда их открыл, надо мною склонилось морщинистое лицо бабушки. Она трясла меня за плечо и ворчливо приговаривала:

— Разбуди, да разбуди, а чего ради в воскресенье себя мучить?

В окно глядели серые утренние сумерки. По комнате плавал сизый дымок. Потрескивали лучины в затопленной печке, и желтые зайчики весело играли в темном углу стены. В доме было холодно и пахло сырой осиной. Я сжался под одеялом в пружинистый комок, чтобы, набравшись духу, резво выпрыгнуть на холод и сразу же одеться. Но возле моей постели снова возникла сгорбленная фигура бабушки.

— Вот тебе кальсончики, вот рубаха байковая. Одевай.

— Чи-во?

— Ты наружу не вылезай, а одень под одеялом.

— Не хочу носить кальсоны! Сколько раз говорил...

— Глупенький! От своей же пользы отказывается.

Она подкрадывается ко мне, как к вылетевшей из клетки птице.

— Ты их только надень, а потом и сам спасибо скажешь.

— Сама носи!

— Тоже мне! — она наклоняется и пытается подсунуть белье под одеяло.

Я подвертываю одеяло под себя и ору на весь дом:

— Не надену! Не надену! Не надену!

И вот тут, как назло, в дверях появляется знакомая потертая шапка с отвислым ухом.

— Мудрует? — нарочито строго спрашивает вошедший Генка.

— Мудрует, — отзывается бабушка.

— А вы не спрашивайте его, Клавдия Алексеевна. Тоже моду взял!

— И какую моду взял! — подхватывает бабушка. (Она не подозревает, что Генка разыгрывает нас обоих.)

— Распустился, — «понимающе» покачивает головой Генка, — распустился.

— Ты спроси у Гены, ходит кто-нибудь в мороз в трусиках? — бабушка смотрит ожидающе на Генку, наивно полагая, что он-то и есть самый послушный ребенок.

Генка делает изумленное лицо:

— Никто не ходит! Так если некоторые дурачки... — Генка не договаривает. Он обеими руками трет свои выпуклые щеки, вроде бы с мороза, а на самом деле прикрывает свое круглое румяное лицо, которое дрожит от смеха...

И надо же было ему заявиться в этот злополучный момент. А тут, как нарочно, в дверях появляется мать Генки — тетя Зина. Поверх ее неизменного застиранного халата наспех накинута серая вязаная платок. Глаза ее почему-то красны, лицо зем-

листо. Но моя бабушка настолько поглощена спором, что не замечает этого. Она принимает ее приход как свежее подкрепление сил и идет ей навстречу с теплым бельем на вытянутых руках.

— Посмотри, Зина, специально купила к холодам. Ему же добра хочу, а он заявляет «не надену».

Тетя Зина сочувственно качает головой.

— И мой такой же, — устало говорит она.

— Разве и Гена не слушается? — наивно удивляется бабушка, — а я думала, — она растерянно оборачивается на то место, где должен стоять Генка, но там уже никого нет.

— И ведь если бы только белье, а то и вообще ничего теплого не желает носить. Прошлый год связала ему свитер шерстяной — до сих пор в комод. И шерстяные носки, и варежки — все в том же комод, — и, тяжело вздохнув, тетя Зина подводит итог: — А все оттого, что отец мягок.

— Вот, вот! Нет на них мужской строгости. А воля — коня портит.

Бабушка как будто примирилась с моей упрямостью, но в это время из-за печки высовывается круглое лицо Генки.

— А надо бы ему, надо кальсончики надеть! — ехидно поддразнивает он.

— Ты зачем здесь? — сурово спрашивает тетя Зина. — По его милости весь дом вверх дном перевернули. Двойка по русскому не исправлена...

Я привскакиваю и делаю изумленное лицо:

— Даже двойки стал приносить? Ай, ай, ай! Что же ты, Гена, уроками мало занимаешься?..

— Мало! — восклицает тетя Зина. — Если бы мало, а то он их вообще не делает. Вчера какой-то ящик мастерил целый вечер.

— Не ящик, а садок, — уныло поправляет Генка.

— Гена, разве так можно? — поддакиваю я в тон тете Зине. — Ты вначале уроки сделай, а уж потом своими садками занимайся.

— Слышишь, что товарищ говорит? — подхватывает тетя Зина. (Она, в отличие от моей бабушки, считает, что самый примерный мальчик — я.) Понизив голос до громкого шепота, она добавляет: — Они не знают пока, что ты натворил...

— Гоните его, тетя Зина, — весело вмешиваюсь я, — лентяя и двоечника. Пришел, понимаете ли, сбивать хороших учеников...

Не дожидаясь пока его и на самом деле выпроводят, Генка исчезает, успев на прощанье показать мне кулак.

Тетя Зина продолжает нерешительно стоять на пороге. Ее исхудалое, землистое лицо теперь кажется особенно бледным и тревожным, словно она хочет чего-то сказать и не может набраться смелости. И только вопросительный взгляд бабушки заставляет ее заговорить тихо, со слезами в голосе:

— Мой-то бесенок что натворил, — она делает паузу, глотая невидимые слезы, и продолжает: — Еще с вечера заметила я, как он все под кровать что-то лазил. «Ты чего там забыл?» — «Ручка укатилась». Ну укатилась, так укатилась. Легли, значит, спать. Только сон-то у меня, сами знаете какой. Слышу шастает по дому. Под кровати, под стол заглядывает. «Ты что потерял?» — «Уползла, — говорит, — а ведь закрывал на ночь садок крепко». Как сердце чувствовало: «Кто, — говорю, — уполз? Кто вылез из садка? «Что же вы думаете? Он еще вчера днем змею принес и никому не сказал. Вот так всю ночь и не сомкнули глаз. Все перевернули. Все пересмотрели.

Тетя Зина помедлила, как бы решаясь что-то добавить. И решившись, dokonчила:

— Наши дома-то рядом. Может быть...

Она не договорила. И без того испуганные глаза бабушки начали округляться, и она застыла в немом оцепенении. А я, услышав такую приятную новость, уже не в

силах был скрыть своего бурного восторга. Я вскочил во весь рост на постели и закричал:

— Ура! Змея будет наша!

Я не вошел, а влетел к Брызжевым в дом. Там уже все было, как при эвакуации. Перевернутые стулья, сваленные в беспорядке возле печки; поднятая на две ножки и прислоненная к стене кровать с голой сеткой; матрац, сложенный вдвое на столе посреди комнаты; подушки, вытащенные из наволочек и лежащие на буфете; чайник, чашки, тарелки, сваленные в углу в беспорядочной куче на газетах.

И все они: дядя Саша, Генка, даже гостившая у них тетя Липа со своим мужем, толстым мужчиной в толстых очках, все они ползали по полу на четвереньках. Заглядывали сонными глазами под каждую вещь, тыча в каждую дырку палкой или кочергой. У всех на лицах было написано бесконечное утомление и все сходились на том, что змею им не найти и что в этом доме теперь жить нельзя. Вот тогда-то и блеснула у меня в голове великолепная идея; раз в этом доме жить нельзя — его надо подорвать. Я так и сказал дяде Саше:

— Дядя Саша, давайте подсчитаем, сколько потребуется карбида, чтобы подорвать ваш дом...

Мое предложение явно всех заинтересовало, потому что все остановились в тех позах, в каких застиг их мой вопрос. А вошедшая тетя Зина тоже замерла возле двери, забыв затворить ее. Но после секундного оцепенения все почему-то заволновались, а тетя Зина с раздражением заявила, что я всегда был, не в пример ее сыну, послушным мальчиком, и что она диву дается: откуда могли взяться такие дурацкие мысли в моей умной голове.

После этого все они так на меня накинлись, зашумели, заспорили, что, де, вот какие чудеса: родители и дальние предки — уважаемые люди, а дети такие пошли, что и описать невозможно. Раньше по шесть, а то и по десять детей имела, и они были все послушными и смиренными. А теперь время такое настало, что и с одним сладу нет. В таком духе разговор продолжался бы очень долго, потому что уставшие взрослые ждали хоть какой разрядки. Но тут общий шум прервал решительный голос Генки:

— Тише! — закричал он. — Расшумелись попусту.

Все разом притихли и с надеждой обернулись в его сторону, полагая, что наконец-таки он нашел змею или хочет сказать, как ее найти. А Генка посмотрел на меня укоризненно и покачал головой.

— До чего додумался! Почти новый дом подрывать карбидом! Да у тебя есть ли голова на плечах? Уж коли взрывать, так порохом. От карбида он не содрогнется.

И тут он уверенно заявил, что хорошо знает охотников, которые могли бы дать пороху. И что он покажет сейчас книгу о подрывные работы и там все указано, как и что нужно делать...

Вначале воцарилась мертвая тишина, похоже его предложение произвело еще больший эффект. Но потом... потом ему не только не дали возможности найти книгу, но ему просто не позволили раскрыть рта. В доме поднялся такой шквал, такая буря. Нас грозили отправить в милицию, отдать под суд и определить в колонию. Так что нам волей-неволей пришлось удалиться на свежий воздух. И тут, вот же беспокойное утро, мы вспомнили, что давно уже пора ехать в Охотный ряд.

ОХОТНЫЙ РЯД

На улице серая туманная мгла. Под моими стоптанными ботинками тонко похрустывает ледяная корочка. Но Генка и здесь ухитряется идти своею бесшумно-крадущейся походкой, какой он ходит в лесу. Только в лесу он почему-то еще и пригибается, часто приостанавливаясь и прислушиваясь к самому ничтожному звуку в

ветвях. Свистнула поблизости птичка, и он уже юркнул за дерево, готовый часами наблюдать неизвестно за чем.

В летние каникулы мы с ним чуть ли не каждый день пропадали в лесу. Глядя на него, и сам шмыгнешь в кусты, и будешь стоять там, как окаменелый истукан, пока Генка не даст немой сигнал выйти из укрытия. Но не успеешь сделать и пяти шагов, как натыкаешься на его напряженную руку.

— Слышал? — настороженно шепчет он.

А вокруг такая жуткая тишина и чащоба, что становится не по себе: медведь ли хрустнул веткой или стая волков крадется по пятам?

— Догадался кто? — спрашивает он шепотом. — Горихвостка, она всегда так среди лета верещит. Придем кольцевать к концу лета.

— Генка? — хлопаю его облегченно по плечу. — Какая красота!

Но Генка, приклонив палец к губам, делает страшные глаза. И в это время из кустов с шумом вылетает какая-то большая птица. Она грузно перелетает через поляну и скрывается в ветвях. Генка взволнованно перебегает от дерева к дереву: он рассчитывает во что бы то ни стало выследить и ее...

Протяжно взвизгивают рельсы на дальнем повороте и сквозь серую мглу мутно просвечивают два расплывчатых пятнышка света. В толпе на остановке начинаются нетерпеливые передвижения. Фары становятся больше и ярче, и, наконец, из туманной пелены выплывает синее тело трамвая, плотно облепленное по всем четырем подножкам гроздьями темных фигур.

Натужно скрипнув тормозами, трамвай останавливается. И выходят всего три или четыре растрепанных человека. Теперь не упустить момента. Пока Генка бежит к задней площадке, я втискиваю ногу между чужими коленками и пытаюсь раздвинуть местечко для своей ступни на передней подножке. Мне это кое-как удается, но я вышу на одной руке и еду задом-наперед. Трамвай медленно преодолевает подъем, визжит и встряхивает на крутых поворотах. Рука моя, которая держится за ручку, немеет от напряжения и боли, но другою рукою я помочь себе не могу: я сжат сзади и спереди мощной толпою и еду затылком вперед. Мне кажется — трамвай не едет, а его медленно тянут за веревочку, как игрушечную машинку, перегруженную песком. Пальцы вот-вот разомкнутся и я полечу спиною вперед, а ногами под колеса, но я посылаю мысленно всю силу одной руке, и не давая себе ни на секунду расслабиться, шепчу: «Еще ехать далеко, очень далеко, бесконечно далеко...»

Но вот она, долгожданная минута, когда можно, наконец, выпустить круглую деревяшку, гладко отполированную миллионами рук и опасно истонченную в самой середине.

Стоит перейти трамвайную линию, и ты подхвачен людским потоком. Но прежде, чем влиться в густую толпу, спешащую на базар, невольно взглянешь на кирпичный дом, стоящий на опустошенном пространстве улицы. На нем нет крыши, и из-за уступов разлома передней стены проглядывают пустые прямоугольники окон другой полуразрушенной стены. Покалеченный снарядом, он так и стоит нетронутый, как постоянное напоминание о войне.

Но для нас, мальчишек, рожденных на границе мирного и военного времени, были малопонятны ужасы прошедшей войны. Суровых мужчин в полинялых гимнастерках нам не доводилось видеть без костылей и шрамов (нам даже казалось, что они всю жизнь были именно такими). Мы очень любили ходить на военные фильмы, но и они не раскрывали нам страха войны. Напротив, выйдя из темного кинозала, хотелось слышать выстрелы и взрывы, готовить рогатки и карбидные бомбы.

Может, еще и потому мы не ощущали всей глубины недавней трагедии, что среди покалеченных на войне мы не видели людей жалких. Те, кому посчастливилось вернуться, пришли снова на свои заводы и фабрики. И никто из фронтовиков, как бы

ни был изуродован, не мог жалобно протянуть перед собой руку. Но я задаю себе всегда один вопрос: тогда почему война плодит столько нищих?.. Может, потому, что многие убогие и калеки теряют своего кормильца?..

По всей многолюдной улице, идущей к базару, прямо на холодном асфальте расположилось множество слепых, хромых, без рук; искалеченных несчастным случаем или рожденных с изъянами, просящих жалобными и заунывными голосами.

Пройти мимо я не могу. Я всегда кидаю несколько медяков в лежащие перед ними шапки.

— Дай бог тебе здоровья и счастья,— несется мне вслед.

Среди этой многоликой и жалкой толпы были и такие, что старались заработать на хлеб своеобразным трудом. Был здесь слепой мужичишка в бараньей заношенной шапке, который каждый день торчал на углу старомодного купеческого дома рядом с навесом сапожника. Расположившись на маленьком фанерном чемоданчике и придерживая на коленях морскую свинку и деревянный ящичек с гадальными билетиками, он выкрикивал каким-то распевным носовым голосом:

— Ка-му га-дать, судьбу предсказать! Боря знает, Боря угадает! Боря привезен с Черного моря...

Молодые женщины, а нередко и девушки, останавливались возле нехитрого базарного гадалышки, но не ради «судьбы», а скорее ради воскресной улыбки. Получив за небольшую плату билетик, вытащенный из ящичка морской свинкой, разворачивали его со снисходительной усмешкой. На мизерном клочке бумаги размашистыми фиолетовыми закорючками было предначертано: «в вашем доме ожидается гость» или «вас ожидают приятные новости», или «вам надо срочно изменить свой неуступчивый характер». Было очевидно, что и гости, и новости для нас нередки и что каждый сам себе может вполне предсказать то же самое. Но в том, пожалуй, и была соль, что «предсказания» не претендовали на серьезное угадывание судьбы, а порою были настолько наивны и далеки от истины, что вызывали среди подруг дружный смех. Но ни цыганки, которые часто встречались пестрыми толпами на базаре, ни слепая гадалка, сидящая возле самых базарных ворот с замусоленными картами, не пользовались таким успехом, как этот бесхитростный гадалышник с морской свинкой на коленях.

Другой приметной фигурой базара был уличный певец. Одет он был, по нашему времени, неплохо. Синее, незаношенное пальто и почти новая цигейковая шапка-ушанка. Его спокойное благородное лицо не портили мелкие оспинки и не безобразили черные очки, прикрывающие слепые глаза. Окруженный широким кольцом многолюдной толпы, он никогда не садился, а стоял во весь свой высокий рост. Плавнo растягивая меха старого черного баяна, слепой пел глуховатым, но приятным голосом:

*Жи-вет моя от-ра-ада
В высо-окои те-е-рему,
А в те-рем тот вы-ысокий
Нет хо-ода ни-кому.*

Репертуар его был смесью старинных и военных песен. Горожанам нравился и репертуар, и само исполнение. Поэтому нищему певцу не приходилось снимать шапки: деньги ему клали прямо на закрытый баян.

Собрав мелочь и перекурив, он разворачивал баян снова:

*Когда душа поет
И просится сердце в полет,
В дорогу далекую, небо высокое,
К звездам нас зовет.*

Очень часто слышал я эту песню по радио. Но при всей красоте и отработанности голоса известного певца она поначалу меня не радовала и не огорчала. Не имея тех ярких вокальных данных, уличный певец придавал песне необычную задушевность теплотой своего мягкого голоса и еще чем-то необъяснимым.

Забыв про Генку и Охотный ряд, забыв про все на свете, я протиснулся сквозь плотное окружение к самому исполнителю. как-то по-особому нежно звучал баян и рябое лицо слепого было по-особому красиво.

*Весны своей огни
Навеки в душе сохрани,
Пусть они светятся,
Если вдруг встретятся
Облачные дни...*

Песня кончилась. Но не успел певец закрыть свой баян, как сзади меня потряс за плечо Генка.

— Нашел время рот разевать.

И вот мы пробираемся через базарную толпу к Охотному ряду.

Обычный базарный гуд. Примелькавшиеся глиняные собачки и кошки, покрытые глазурью. Самодельные зеркала, расставленные на фанерном ящике; самодельные домашние тапочки на войлочной подошве; самодельные некрашенные табуретки; самодельные картины на кусках черного рубероида задерживают взгляд лезущей в глаза безвкусицей: синяя, как пролитые чернила, вода пруда, такое же иссиненное небо, белые, как мел, лебеди в пруду, белые, как кучи мыльной пены, облака.

Генка дергает меня за рукав.

— Опять зазевался?

Мы проходим сквозь толпу пожилых серых женщин, предлагающих вязанные перчатки и носки. Мелькают ослепительно белые замысловатые узоры кружев, скатерти, занавески. И, наконец, выбравшись из одной толчеи, мы сразу же вливаемся в другую.

Людской гул не ослабевает, только разнообразит его птичий гомон, раздающийся из клеток, развешанных по всему верху чугунной узорчатой ограды. Под клетками, около своих куралесок с птицами, топчутся пожилые птицеловы. Здесь же, рядом с птицеловами, мастера выставили на продажу новенькие садки. В стороне, возле керосиновой лавки, сгорбленный старичок в старой длинной солдатской шинели черпает из мешка стаканом конопляное семя и насыпает его в оттопыренные карманы мальчишек.

В Охотный ряд я попал впервые. Я любопытно таращил глаза по сторонам и без умолку задавал Генке вопрос за вопросом: «а это что?», «а эта как называется?», «а чем их кормят?», «а хлеб они будут есть?..»

До теперешнего дня я с удивлением и усмешкой смотрел на тех ребят, которые каждое воскресенье и вторник вставали затемно, чтобы непременно успеть к самому началу сбора в Охотном ряду. Но теперь, только я попал в эту неугомонную толчею, как только передо мною начали мелькать синевато-зеленые юркие чижики, ярко-цветные щеглы, зеленовато-крапчатые овсянки; и как только услышал я весь этот пестрый птичий гомон: эти затейливые чижинные «тарарушечки» и перебывающие их неугомонные переливы щеглов, я решил, что на свете есть вещи и намного лучше, чем новые хоккейные коньки и что очень хорошо, что денежные сбережения находятся сейчас при мне. Одним словом, домой я возвращался в очень хорошем настроении, прижимая под мышкой маленькую дутую клетку с щеглом. Я несколько не задумывался над тем, что бабушка может меня не пустить с новым жильцом. Один только вид ярко-цветной птички докажет ей, что пустой уголок в кухне у окна только и ожидал, когда там появится клетка с щеглом.

ВЫСТРЕЛ

В это утро проснулся я, что называется, ни свет ни заря. Выпрыгнул, как угорелый, из-под одеяла и наскоро натянул брюки.

— И чего ему в такую рань не спится? — услышал я с кухни недовольный голос бабушки.

Но не теряя ни секунды, я прошмыгнул в холодные сени и, вскарабкавшись по деревянной кособокой лестнице, натужно уперся головой в дощатый люк чердака... Лихорадочно разгреб сухую насыпную землю и отбросил в сторону картонную крышку. Вот она, долгожданная и торжественная минута: я снимаю с себя запрет на оружие!

«Сколько же дней ты пролежал тут под чердачной землей, мой бедный наганчик, — я погладил холодную и ребристую рукоятку пугача: — Теперь я буду осторожен, и мы не расстанемся, мой оловянный пистолетик!»

После этого нужно бы положить пугач на место, потому что я никогда не брал оружия в школу (даже самой маленькой рогаточки), да и был уж раз учен! Но рука нерешительно застыла на весу: «Только и подержал секунду, подразнил себя...» — «Нет, нет, как будущий военный, я обязан подчиниться строгому уставу». И я опустил пугач в коробку, но пальцы не разжимали миниатюрного наганчика: «А если только один раз взять его в школу?.. Ведь и день-то особый, можно сказать, «День освобождения оружия!» Этот довод оказался самым веским, и, сунув пугач в карман, я кубарем скатился с лестницы.

По дороге в школу меня не покидало торжественно-приподнятое чувство ожидания. Вечером, как только стемнеет, я выйду в полутемный дворик возле дома и выну из кармана заряженный серной пробкой пугач. Шагну в освещенный уличным светом прямоугольник и торжественно подниму руку над головой. Я знаю, в эту праздничную минуту будет особенно тихо, и под фонарем плавно закружатся первые робкие снежинки. (Снег предвещает неподвижный тяжелый воздух и темное, низкое небо, нависшее над серой дорогой, изборозженной застывшими тележными колеями.)

Я нажму на курок, и в пламени огня прозвучит выстрел. Сизый дымок медленно поднимется вверх и приятно запахнет серой...

Наверное, выглядел я в это праздничное утро необычайно серьезным и повоенному строгим. Я не бежал галопом в раздевалку и не толкал в спины зазевавшихся первоклашек. Даже смешно подумать, что еще вчера я вместе с ребятами нашей галерки прыгал по партам и кривлялся, как дикая обезьянка, ташил кого-то за шиворот и визжал, как визжит кто-то теперь — пронзительно и дико. И зачем эти крики, гримасы и нелепые рожи на доске?.. Вот дети!

Теперь мне понятно, как облагораживает человека целенаправленность и увлечение! Узнай ребята, что у меня револьвер, так вмиг побросали бы свои бестолковые шалости. В одну секунду окружили бы меня кольцом, стали бы канючить, чтобы я показал свое оружие, потом попросили бы его потрогать и даже подержать в руках. Я, конечно, не жадный и когда-нибудь разрешу и выстрелить. Но теперь, в это радостное для меня утро, он должен быть только со мной.

— Что-то Рогов забурел! — прервал мои мысли подзадоривающий голос Генки. Не зная чем себя занять, он нехотя рисовал на доске чудные рожи. — Иди-ка сюда, я подбелю тряпочкой твой длинный носик! Что? Сдрейфил?

В любой другой день я и сам давно бы напудрил его щечки мелом. Но не сейчас!

— Не тревожь его, — шутливо отозвался из толпы играющих в жопку Боцман, — он сегодня пришибленный какой-то.

Нет, я на его неудачную реплику не обиделся (желая подзадорить друг друга, мы порой говорили, что в голову взбредет). Да и что значила их бестолковая возня по

сравнению с той огромной радостью, которая теперь заполняла меня. Я не знаю точно, буду ли подрывником, артиллеристом или сапером, но я буду там, где гремят взрывы.

Решено! Железно!

Минута была настолько торжественная, что я встал на парту и выхватил пугач из кармана. Так пусть же все знают, как велика и красива моя мечта! С этой благородной мыслью я и нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел, и все застыли в самых неожиданных позах.

Это был потрясающий момент, хотя кончилось все самым позорным образом. На выстрел прибежали двое дежурных ребят из 7б.

— Ну-ка дай его сюда, — подлетел ко мне нескладный верзила с красной повязкой.

— Проваливай! — отпарировал я и резко одернул руку.

— Не цапай чужое! — подбежал на помощь Боцман,

Потом подоспел и Генка, Гога, Завертяев. Они окружили меня плотной щетинистой стеной. Семиклассники как будто отступили. Но тут наши голоса перекрыл грозный женский дискант:

— Что здесь происходит?! Кто стрелял?

Все повернулись к двери и увидели внушительную фигуру Антонины Николаевны, нашей старшей пионервожатой.

— Я спрашиваю, кто стрелял?! — повторила она, подходя ближе.

Заметив ребят с красными повязками, обратилась к ним:

— Дежурные, объясните, что произошло?

Долговязый показал на меня:

— Пусть этот объяснит.

Антонина Николаевна подергала меня за рукав.

— А ну-ка, вынь руку из кармана!

Все должна решить одна секунда.

Я видел на лицах товарищей готовность пожертвовать собой, лишь бы спасти меня и мой авторитет героя. И меня не надо было толкать в бок; я знал и так, что стоило мне завести руку назад и пистолет мигом бы «испарился». И я нисколько в ту минуту не трусил. Просто вдруг «подвиг» этот показался мне очень дешевым, а случай — ничтожным и мелким. И мне очень захотелось, чтобы поскорее случилось то, чего я заслуживал. Вот почему, не колеблясь, я протянул пистолет пионервожатой.

— Вот так-то! — сказала она стальным голосом. — А теперь пойдёмте со мной.

И сразу же мне показалось, что на меня не смотрят, а проникают в душу сотни жалеющих глаз и уничтожают своим назойливым сочувствием и осуждением.

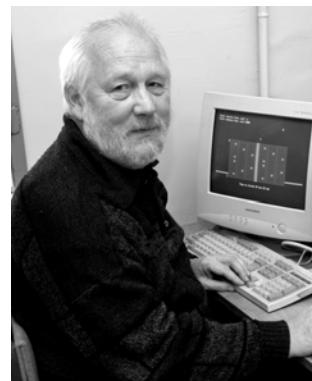
Я не пытался заслонить себя от этих взглядов бравой улыбкой или задорным подмигиванием. Стараясь не смотреть ни на кого, я грустно плелся за высокой молодой женщиной, вышагивающей по коридору энергичным, широким шагом.

Тоня распахнула дверь пионерской комнаты и пропустила меня вперед.

— Ну, что, Рогов, докатились-таки до заветной цели? — желая показать высшую степень неуважения, она обычно переходила на «вы». — В третьем классе Рогов — примерный ученик, в четвертом — отличник. А в пятом кто? Неудачливый разгильдяй! В шестом — исключен из школы. И не удивляйтесь! Больше с вами цапкаться не будут. Придет с урока директор и я выложу ему эту штуковину на стол, — помахав перед моим носом пугачом, она добавила: — Хороший сюрприз вы приготовили для своей старенькой бабушки! Нечего сказать!

Затем дверь резко захлопнулась, и ключ щелкнул с обратной стороны.

Алексей Яшин



СЕРЖАНТ С ОСТРОВА САХАЛИН*

Николай Андреянович, давешний наш знакомец, сразу после пресловутого «миллениума» оставил-таки долгую и беспорочную работу в НПО «Меткость», хотя среди сотрудников трижды орденоносного флагмана бывшего военно-промышленного комплекса страны в моде было иметь всего две записи в трудовой книжке: поступил после школы, профтехучилища или института — уволился по собственному желанию через десять лет после исполнения пенсионного возраста. И все: подпись кадровика, печать. И хотя Андреяновичу, как его после пятидесяти лет стали звать молодые сотрудники отдела, до пенсии было еще семь лет, но... уволился. Дело даже не в слишком высокой зарплате, к чему в его семье попривыкли, а просто пропал интерес к прежде столь увлекшей его конструкторской работе — явное следствие общего климата в НПО. Вяло доделывались изделия, начатые еще в советское время, а новых разработок не начинали: никто «сверху» не предлагал, финансирование отсутствовало. Даже предоставленное предприятию почетное право самому вести дела с зарубежными заказчиками из Эмиратов, Сирии и других арабских стран оптимизма не прибавляло.

Опять же среди работающих и руководящих на рубеже веков и тысячелетий произошло классовое расслоение: несколько десятков привилегированных зарплату получали в мешках, которую и отвозили домой в сопровождении ВОХРовского (а кое-кто и личного) охранника, а остальные пять-шесть тысяч инженеров и рабочих — сунув несколько крупных кредиток (после деноминации и дефолта) в нагрудный карман пиджака... Как говорится, что положено Зевсу, то не положено быку. Бывшие советские инженеры любили щеголять интеллигентскими присказками от латыни.

Собрав в «бегунке» все необходимые подписи, Николай Андреянович отправился в отдел кадров НПО, попутно отметив небольшую очередь к кадровикам, причем состоявшую из молодых специалистов. На правах старослужащего протянул свои бумажки старшему инспектору по кадрам через голову несостоявшихся инженеро́в. Те, правда, вежливо расступились, пропустив его к барьеру.

— А вы-то, Николай Андреянович, пошто увольняетесь? — изумилась почтенная Таисия Егоровна, более четверти века назад принимавшая его, выпускника местного технического института, на работу, правда, на другом предприятии: Центральном КБ агрегатостроения.

Из дальнейшего разговора выяснилось: массовый отход «за ворота» молодежи объяснялся тем, что Минобороны буквально на днях снял бронь с НПО, равно как и

* От автора: настоящий рассказ основан на действительных фактах; все приводимые данные давно рассекречены и опубликованы в открытой научной периодике 1990—2000 гг. Имена исторических персонажей сохранены; имена ныне живущих и главного героя — изменены.

почти со всех предприятий бывшего ВПК страны. То есть если раньше молодые выпускники все того же института, теперь университета, поступали в «Меткость» и рассеянно щелкали по клавишам компьютера до достижения двадцатисемилетнего возраста, а потом тотчас, в день рождения, увольнялись и шли в офисники-коммерсанты, то теперь это делают, не заходя в НПО, другие КБ-НИИ и заводы-фабрики.

Выслушав рассказ Таисии Егоровны, Николай Андреянович на один миг почувствовал себя дезертиром с трудового фронта.

* * *

Поскольку наш знакомец, словно что-то предчувствуя кардинальное в своей судьбе-работе, еще пару лет назад защитил кандидатскую диссертацию в совете при НПО «Меткость», то без труда устроился доцентом на военно-конструкторский факультет все того же родного университета. На факультете почти половина преподавателей ранее трудилась в «Меткости», поэтому Николай Андреянович как бы и не уходил с родного предприятия, а, например, перешел в другой отдел... Однако в курилке, возобновляя знакомство, все же поязвили в отношении «Меткости», теряющей свои кадры.

Язвили не злобно, даже с легкой ностальгией, но ведь все знают эту черту доброго нашего народа: отрезанный и съеденный ломоть всегда каравай бранит.

Попривыкнув за семестр к почти вольной жизни университетского «препода», как их за глаза называют нынешние студиязусы, Николай Андреянович всерьез задумался над неожиданным приглашением из самостийного Харькова: приехать на научную международную конференцию по профилю бывших совместных работ на несокрушимую и непобедимую Советскую Армию. Понятно, что теперь тема ученого собрания носила сугубо конверсионный характер с дружественной политкорректностью.

То есть за Белгородом и ближней границей Николая Андреяновича ждали старинные знакомцы, главное — конференция была посвящена юбилею профессора и академика Валентина Леонидовича Просвирнина, бессменного руководителя радио-конструкторского НИИ, большого друга и Генерального «Меткости», и ректора университета. Ведь некогда постсоветский теперь мир был очень тесным...

А ректор, тоже, конечно, получивший приглашение, по неделям бившийся в Москве с минвузовскими чиновниками, поехать не мог, потому поручил нанести визит декану военно-конструкторского факультета с парой своих сотрудников. Понятно, что Николай Андреянович, похваставший приглашением, автоматически был включен в бригаду. Хотя в душе несколько и поморщился, попривыкнув к сидячей жизни без ненужных сейчас на предприятиях командировок (в своем соку все варятся, как одноименные рыбные консервы), но тут же и взбодрился. Тем более — новоиспеченному доценту негоже ректора и декана ослушиваться. Да и любопытно: как там жизнь у незалежных? Опять же супруга, полухохлушка, никогда на Украине не жившая, очень интересовалась.

...Уже вернувшись из командировки, Николай Андреянович за поздним ужином, прямо с харьковского поезда, рассказывал жене, дескать, жизнь как и у нас в общем, как и прежде, только по-русски говорят, а что в Киеве и у западэнцев происходит — их мало волнует. Получалось из его слов, что самое интересное — это пересечение на поезде границы с украинской стороны; такие спектакли самостийные пограницы устраивают?!

Ну, да читатели все это хорошо знают: по собственному опыту или из прессы и телящика. Как, например, вывоз в Россию куска сала или сыра свыше 400 граммов — подрыв экономической самостоятельности. И так далее.

Еще Николай Андреянович сказал, что видел «живьем» изобретателя водородной бомбы и управляемого термоядерного синтеза — из бывших младших сержантов. Но супруга уже начала мыть посуду и слова пропустила мимо ушей. К тому же наукой и техникой она сугубо не интересовалась.

* * *

Прибывших с Украины иногородних конферентов и гостей из России, Белоруссии, даже кой-кого из настоящей заграницы разместили по весенне-летнему времени со скромным комфортом в загородном пансионате-турбазе госуниверситета. На заседания конференции возили на автобусе — одного на всех хватало. Опять же заседания проводились в университете, ибо НИИ Просвирнина продолжало считаться оборонным. Из культурной программы любитель классики Николай Андреянович выбрал знаменитый оперный театр (давали неуместную вроде как в самостийной «Хованщину»), автобусную прогулку по достопримечательностям довоенной столицы Украины и, конечно, заключительный банкет.

От *т*-й делегации с основным докладом выступал декан, а профессор Сергей Яковлевич Расстригин и Николай Андреянович кратко доложились на одном из секционных заседаний.

На второй день конференции, пообедав в перерыве между пленарными заседаниями в университетской столовой, в оставшиеся до начала докладов четверть часа Николай Андреянович прогуливался в компании двух давних знакомцев из НИИ Просвирнина по вестибюлю перед актовым залом, вспоминая былые дни, когда харьковские гости по неделе-другой «зависали» в кабинетах и конструкторских залах «Меткости», а вот Николаю Андреяновичу — по малости его чина — в Харькове побывать не удавалось; только из окна поезда видел, направляясь с семьей на черноморский отдых.

— Смотри? — перебил один из харьковчан рассуждения Николая Андреяновича об особенностях нынешнего российского высшего образования, в частности, об обезьянническом введении квалификаций бакалавр-магистр, — никак сам Игорь Алексеевич на сегодняшнее заседание пришел. Давно его не видел, а все таким же молодцом! И по-прежнему в Институте физики плазмы* ведущим научным сотрудником работает.

— А-а кто это? — и Николай Андреянович внимательно осмотрел бодрого старичка лет семидесяти пяти в аккуратном костюме-тройке, с пластиковой папкой подмышкой, неторопливо подходившего к дверям актового зала. — А фамилия его как?

— Ах, да у вас в России его фамилия — Прокофьев — пока еще малоизвестна, хотя статью о нем я намерен видеть в свежем номере «Успехов физических наук»**, но ты, Андреяныч, как профи-конструктор, всяких там физиков-теоретиков не читаешь... А Игорь Алексеевич — двойной крестный отец мирового масштаба: изобретатель водородной бомбы и управляемого термоядерного синтеза, то есть «токамака» достославного...

— Постой, постой, Васильич, — прервал Николай Андреянович, принимая услышанное за особый харьковский юмор, — какой изобретатель? А Курчатов, Сахаров, Харитон... Кто там еще? — Тамм и Зельдович, кажется?

— А вот так. Конечно, бомбу и «токамак» делали десятки и сотни институтов и конструкторских бюро, и названные тобою авторитеты, в науке, конечно... вот

* Входит в структуру Харьковского физико-технического института (ХФТИ).

** Наиболее авторитетный в России журнал по теоретической физике; издается Академией наук на русском и английском языках.

жизнь пошла: говоришь слово, а оно по-нынешнему уже другой смысл имеет! — Так они, команда Курчатова, всю ядерную физику, разумеется, перелопатили и руководили конкретным созданием водородной бомбы и «токамака», а вот основополагающие идеи по ним, по их устройству и принципу работы практически из ничего придумал Игорь Алексеевич — тогда с семиклассным образованием и солдат Советской Армии...

На этом его прервал вестибюльный звонок, приглашая на вечернее пленарное заседание.

— Вот что, Андреяныч, у нас же сегодня ответный визит: небольшим коллективом едем ужинать к вам на турбазу, там и заночуем. Так что будет время рассказать о нашем уникале. Пошли заседать!

* * *

Несмотря на свои двадцать три года и невеликое воинское ефрейторское звание, радиотелеграфист Игорь Прокофьев успел поучаствовать в войне, уйдя на нее восемнадцатилетним добровольцем в последний год, потому воевал в Прибалтике. После Победы только на неделю приехал в Псков к родителям, а далее еще на пять долгих лет отправился дослуживать на Сахалин, только что освобожденный от японцев.

Мать, Александра Федоровна, работавшая медсестрой в городской больнице, и отец, Алексей Николаевич, служивший в горкомхозе, и обрадовались приезду сына, и огорчились новой разлукой — правда, уже без войны. Игорь же дал себе слово: вернувшись с действительной — жить вблизи родителей. Но получилось, что дальше он виделся с ними только наездами... Человек полагает, а бог располагает.

В своей части он был далеко не единственным, а одним из многих, позвякивавших боевыми медалями на гимнастерках; кое-кто имел и ордена. Игорь прибыл на Сахалин в определенный ему гарнизон с медалью «За победу над Германией», а в сорок восьмом году, когда добровольно-принудительно стал сверхсрочником, вместе с двумя лычками на погоны* получил и «XXX лет Советской Армии». Во всяком случае курносому «унтеру» лихо первыми отдавали честь бойцы первых послевоенных призывов.

После войны — любая мирная служба хороша, а не избалованному климатом псковскому уроженцу, скромным семейным достатком, особенно в военное лихолетье, жизнь на всем готовом протеста и душевного неустройства не вызывала. Жаркое, но не знойное лето, относительно короткая, маломорозная зима, долгая «золотая» осень и бурная весна, изобилие ранее не виданной красной рыбы: кеты и горбуши — даже в солдатском рационе. Уха из кеты на обед, жареная горбуша с картофельным пюре на ужин. Главное — не приедалась краснорыбца. Как и хлеб отменной гарнизонной выпечки.

...Пожалуй, что и кривил слегка душой Игорь, сообщая в письме к родителям о почти приказном переводе в сверхсрочники. Многие кадровые, вкусившие от войны, продлевали свое пребывание в армии. Благо, это встречало живейшее понимание начальства. Имелось указание высшего командования как можно дольше удерживать боевых солдат и сержантов на службе. Послевоенные десантники так вообще по семь лет отслужили. Начиналась «холодная» война с Западом, армия должна быть боеспособной и многомиллионной. Опять же потенциальные призывники второй половины сороковых годов были нужнее на гражданке: старшие поколения повыбиты войной, а нужно в кратчайшие сроки восстановить страну, подготовить сотни тысяч, даже миллионы специалистов — от фабзайцев** до инженеров, врачей, учителей.

* То есть звание младшего сержанта.

** Учащихся и окончивших фабрично-заводские училища — тогдашние прообразы ПТУ.

И сами бойцы, уходившие на сверхсрочную, особенно хорошо знавшие жизнь бывшие крестьяне и горожане во втором поколении, к таковым и относился Прокофьев, зачастую не неволею, но охотой продлевали военную жизнь. Все они после Победы побывали в отпусках в родных местах: разруха, голод в деревнях, в городах карточки, тяжелая работа по восстановлению, всеобщая неустроенность, воровство и бандитизм... Конечно, патриотизм, долг партийца и комсомольца — все это присутствовало в молодых душах, но человек есть человек. Да и не отсиживаются они в каптерках и камбузах, а несут напряженную, без поблажки службу. А к дисциплине еще на войне попривыкли.

* * *

Поначалу службы на Сахалине Игорю становилось неловко, когда вспоминал о родителях в полуразрушенном Пскове, но уже через год поуспокоился, читая письма из дома, а в семье их не было принято что-то утаивать даже из самых добрых побуждений; Алексей Николаевич и Александра Федоровна родом из крестьян псковской губернии и уже взрослыми людьми, хотя и молодыми еще, каждый порознь, перебрались в город на втором году советской власти. Там и встретились, поженились, а летом двадцать шестого года явился на свет сын: курносый и темноволосый — в коренную псковитянку-мать. Назвали его по-городскому; имя Игорь было тогда в моде, как несколько позже по «красным святцам» популярными стали немецкие имена: Альфред, Адольф, Генриэтта, даже Рем. Германия долгое время полагалась следующей страной советов...

А из незатейливых и нелукавых писем матери Игорь чувствовал: жизнь на «Большой земле» начала налаживаться, благо родители были при твердой работе, и дом, где они издавна квартировали, в войну совсем не пострадал. Дядька отца занял хорошую должность в горисполкоме, помогал чем мог.

Сам же зажил по-армейски уютно. Строевой, как ветерана, не заматывали, а служба радиотелеграфиста и вовсе не пыльная: знай себе морзянку стучи и не ошибайся при приеме, но слух у него был хороший, почти музыкальный, на гармошке поигрывал иногда. Не на своей. Главное — телеграфная служба вахтовая: полусутки, с двумя перерывами на еду, в аппаратной, вторые — свободен. А если вахта ночная, то к телеграфному ключу и вовсе редко приходится прикасаться, просто наушники с заглушками из мягкой пористой резины нельзя снимать, а при появлении «точек-тире» записать принятый текст и передать через посыльного рядового дежурному офицеру узла связи. Но и это за ночь только пару-тройку раз случалось. Все привыкают к мирной жизни: и бойцы, и офицеры. Вот только генералы и адмиралы по ночам не спят — из числа ответственных за округа, флота и соединения; им ведь запросто может в три часа ночи позвонить Иосиф Виссарионович, а то и Булганин, Василевский, Рокоссовский...

И не только времени свободного или почти свободного — на ночной вахте — прорва, но и житейской сутолоки нет. Как сменным дежурным по узлу связи дивизии, им с младшим же сержантом Петром Полуяновым не в казарме, а в том же здании узла, положена жилая комната на двоих; рубка, как принято говорить у связистов. А поскольку с Петром они виделись только два раза в сутки на приеме-сдаче вахты, то считай, что, как у женатых офицеров: личная комната, с большим окном, двумя кроватями — и не в ярусы, как в казарме, а особняком. Вместо тумбочек — поместительный шкаф-комод, трофей от японцев; правда, замысловатые картинки и иероглифы покрашены лаковой краской светло-коричневого цвета. Главная роскошь — неведомо как сюда попавший двухтумбовый стол, а при нем прочнейший стул с полумягким сидением и высокой резной спинкой. Связисты из старослужащих погова-

ривали, что до устройства в здании узла связи здесь короткое время обитала какая-то трофейно-интендантская часть.

Вовсе не портили интерьер и домашность комнаты окрашенные синей масляной краской в рост человека стены, беленый потолок с матовым плафоном светильника, лампа с «ленинским» абажуром на столе и покрытый черным дерматином топчан. Раньше он предназначался для подсменного телеграфиста, но потом эту должность отменили и ввели посыльного рядового, который квартировал уже в своей казарме.

В гарнизонах свято место пусто не бывает, поэтому топчан избрал себе для проживания здоровенный рыже-полосатый кот Самурай, прописавший себя на житье и прокормление к узлу связи при разделе соплеменниками территории части. Из всех четырех жилых комнат здания он выбрал рубку сержантов-телеграфистов, как наиболее уютную и малолюдную. Ночью Самурай уходил по своим котовским делам, а днем спал на топчане, поближе к раскаленной (зимой) печке-голландке, выходившей четвертью черного железного цилиндра по углам четырех же смежных комнат. Топка печи располагалась в комнате радистов-ремонтников.

Прямо над топчаном к стене были принайтованы строгие военно-морские часы — круглые, размером с суповую миску и с 24-часовым делением обегаемой стрелками окружности-циферблата. В морозные ночи и позднеосенние дожди Самурай спал на топчане круглые сутки с двумя перерывами на еду.

Еще в рубке имелась радиоточка-репродуктор.

* * *

И еще два важных для молодого человека вопроса решилось. Во-первых, как сержант-сверхсрочник он был поставлен на денежное довольствие. Это его первая в жизни «зарплата». Во-вторых, решился вопрос и с продолжением образования, которое ранее ограничивалось окончанием седьмого класса в Пскове за несколько дней до начала войны.

Гарнизон их военной части располагался в километре от промышленного поселка, где имелась вечерняя школа для рабочей молодежи. Поразмыслив, в январе сорок восьмого года он написал рапорт командиру батальона, предварительно заручившись согласием начальника узла связи капитана Грищенко, благоволившего к старательному сержанту, а по войне и вовсе однополчанину: оба воевали в Прибалтике.

Комбат, майор Нестеров, в это время исполнял обязанности командира полка, убитого в Ленинград на годичные курсы при Академии связи имени Семена Михайловича Буденного, то есть фактически начальствовал над гарнизоном, где размещался полк технического обслуживания и кой-какие вспомогательные подразделения. Остальная дивизия была разбросана по военным городкам в радиусе тридцати километров. Получив через штаб рапорт младшего сержанта Прокофьева и прочитав его, вызвал замполита Егорова:

— Вот, Виктор Феодосьевич, старослужащие наши уже третий рапорт о разрешении учиться в вечерней школе подают. Как полагаешь?

— Ну-у, Матвей Григорьевич, мы и сами кто-где упущенное за войну доучиваем. Почему бы и сержантам в гражданскую жизнь с аттестатами зрелости не выйти? Главное, чтобы службе не помешало.

— Согласен, значит. Я тоже к этому склоняюсь, но прежде побеседую со всеми тремя. Кстати говоря, завтра я буду в узле связи, есть дело до Грищенко, вот и начну с Прокофьева. Кое-что о нем слышал от офицеров-связистов и нашей библиотекарши: этот младший сержант в ее хозяйстве завсегдатяй.

В десять утра следующего дня Игорь покойно спал сам-двое с Самураем, сменившись с ночной вахты. Раскаленная боковина голландки заполняла рубку пряным

теплом. Только расписанное сплошным узором окно напоминало: на улице трещит еще не отошедший от ночи нешуточный январский мороз. Зима на Сахалине выдалась почти сибирской.

Поэтому вестовому капитана Грищенко стоило трудов растолкать разоспавшегося младшего сержанта:

— Вставай, служивый, там тебя комбат требует!

Это подействовало, но не успел Игорь перепоясать гимнастерку ремнем, как в растворенную вестовым дверь вошел и сам комбат Нестеров, полуобернувшись в коридор и кому-то, вроде как Грищенко, на ходу говоря:

— ...Не заблужусь, чай, в трех соснах, то есть в четырех комнатах, не усердствуй по обыденным делам, лучше со связистами своими разберись!

Сержант все же успел застегнуть ремень и даже бросить пальцы к пуговицам ворота гимнастерки, поздно сообразив: на ногах не сапоги, а войлочные обутки-тапки для времяпрепровождения в рубке.

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Здорово, здорово, младший сержант,— комбат, делая вид, что не замечает полудомашних обуток, махнул рукой тоже вытянувшегося по струнке вестовому:

— Свободен. А ты, Прокофьев, вольно, расслабься, ты ведь с вахты, заслуженно отдыхаешь.

Комбат остановился посреди рубки, с интересом осмотрелся, а увидев потягивающегося на топчане, разбуженного и недовольного Самурая, восхитился:

— Так вот кто папаша нашего Сеньки, что дочка летом домой принесла. Ну и зверюга!

— Присаживайтесь, товарищ майор,— слегка запоздало сержант отодвинул, полуразвернув, от стола знаменитый стул с высокой спинкой.

Нестеров кивнул, сел на стул, внимательно осмотрел стол с раскрытой общей тетрадью, авторучкой, «офицерской» линейкой, двумя справочниками с заложенными бумажками страницами: по физике и по математике. Стол вплотную примыкал к широкому подоконнику, использовавшемуся в качестве книжной полки, плотно установленной школьными и вузовскими учебниками, толстыми томами монографий, журналами по механике, молекулярной физике, электромагнетизму, ядерной физике.

— Слышал, что интересуешься новейшей наукой. Где литературу-то берете?

— В библиотеке нашей части, товарищ майор,— учебники. Иногда в поселковом когизе* покупаю, но туда научную литературу редко завозят, поэтому чаще заказываю «книга-почтой» из Владивостока и Хабаровска. Журнал «Успехи физических наук» по подписке на почте получаю...

— Что-то даже не слышал о таком. А почему именно им интересуешься?

— Так, товарищ майор, это основной физический журнал в СССР, именно в нем печатают все новейшие обзоры по ядерной физике.

— А ты ядерной физикой увлекаешься?

— Так точно, еще когда перед войной в седьмом классе учился в Пскове. Учитель физики у нас замечательный был, говорил, что будущее всей промышленности — это ядерная энергетика. Меня он сразу выделил, давал книжки разные читать, назначал на уроках выступать с докладами по цепной реакции изотопов урана, разделении изотопов уран-двести тридцать пять и уран-двести тридцать восемь. И об атомной бомбе тогда уже писали. Сейчас продолжаю учиться.

— А не высоко берешь, сержант Прокофьев? Тут взвод и роты академиков, полки профессоров головы ломают, а ты... Впрочем, молодец! Нет такого солдата, который не хотел бы стать маршалом. Это Наполеон так сказал.

* Так в 40—50-е гг. в просторечии называли книжные магазины.

* * *

Разговор затянулся почти на час, даже в полуотворенную дверь дважды Грищенко с любопытством заглядывал, но комбат отсылал его взмахом руки. Выяснилось, что Нестеров сам из учительской семьи, из Калуги. Отец математику преподавал, в доме их часто бывал Константин Эдуардович Циолковский, слушал собеседников, приставив к уху черную слуховую трубочку с раструбом наружу...

В итоге комбат разрешил Прокофьеву посещать поселковую вечернюю школу, а для общей пользы обязал его пару раз в месяц в рамках текущей учебы командного состава части читать лекции для офицеров по новинкам военной техники, в частности, по атомному оружию,— из общедоступных источников, разумеется, по американским данным.

На первых занятиях офицеры с легкой усмешкой посматривали на лектора, худощавого и курносого младшего сержанта со слегка оттопыренными ушами. Состав же слушателей неявно делился на две части: молодые лейтенанты послевоенных выпусков военных училищ, но уже не ускоренного обучения, как в войну, а прошедшие полный курс, и старлеи и капитаны, заработавшие свои немногие звезды на погоны тяжелым ратным трудом, в том числе и окончившие училища-скороспелки. Поскольку же полк являлся техническим, то уже со второго-третьего занятия слушатели более не акцентировали внимание на двух лычках черных погон лектора, но с интересом слушали его.

Когда же Прокофьев рассказывал о параметрах и устройстве атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки, то офицеры шушукались: в войсках слухи быстрее, чем на городском базаре, распространяются. Хотя бы до 29-го августа сорок девятого* оставалось еще полгода. А как-то после окончания занятий Прокофьева попридержал в коридоре штабного здания капитан Новостроев из второго («чужого») батальона, дружелюбно пригласил сержанта-лектора в «свое хозяйство» по-соседству попить чайку с вареньем, которое замечательно готовила на зиму домовитая супруга. А за чаем-вареньем, действительно превосходным, рассказал Игорю, уже переставшему смущаться общению — не по чину — с офицерами, как где-то по осени сорок пятого свел знакомство во Владике**, в гостинице военной КЭЧ***, с молодым лейтенантом-летчиком, а точнее штурманом. Выяснилось, что оба командированные, поселившиеся в маленькой комнатке на двоих, земляки — из Тулы, даже общих довоенных знакомцев нашли...

А раз так, то ужинать пошли в приличный ресторан, переодевшись в непривычные пока парадные мундиры. Дело в том, что Георгий Константинович уже издал свой знаменитый приказ: офицерам посещать рестораны не ниже второго разряда в соответствующей форме одежды. В пивные и забегаловки ни ногой! Лейтенант носил легкомысленную для его почти двухметрового роста фамилию Железкин****, а в конце ужина под большим секретом — «как офицер офицеру, земляку тем более» — рассказал, что только что вернулся из побежденной Японии. В составе экипажа военнотранспортного «дугласа» по приглашению, с умыслом конечно, американских союзников возил в Хиросиму важных генералов из Москвы — смотреть на результаты атомной бомбардировки. Генералы ходили по пепелищу, еще местами дымившемуся, а экипаж за ним увязался: где еще такое увидишь воочию!

— Так сколько же они рентген нахватили? — невежливо перебил Новостроева изумленный сержант.

* Дата испытания первой советской атомной бомбы РДС-1 (Американцы называли ее ДЖО-1 — в честь И. В. Сталина).

** Принятое на Дальнем Востоке название Владивостока.

*** Квартирно-эксплуатационная часть (гарнизона).

**** Реальное лицо. Николай Андреевич работал с ним в НПО «Меткость» в 70—80-е гг.

— А кто их знает? Тогда ведь о радиации мало что знали.

— И он... Железкин этот сейчас жив?

— А куда он денется. Этим летом был с семьей в отпуске в Туле, и он туда же прикатил. Служит в Одесском военном округе, правда, уже не летает. И раз в год в госпиталь ложится на обследование и переливание крови. А так — здоров как бык, вторую дочь на свет произвел. Но генералы, кто умер, кто хворает сильно. Вот такие, брат, дела. Ты, конечно, интересно сегодня рассказывал о термоядерном синтезе в энергетике, в промышленности, но все же мы люди военные, поэтому, будь добр, одно из следующих занятий посвятить радиации как долгодействующему поражающему фактору. Другие офицеры тоже интересуются.

* * *

Расставшись с любознательным капитаном, Игорь поспешил в свой узел связи на полусменную вахту; занятий в вечерней школе сегодня не было. Учитывая, что теперь Прокофьев отвлекался на учебу и занятия для офицеров, Грищенко, по подаче сверху, утвердил новый график дежурств Прокофьева и Петра Полуянова, введя чередование сменных и полусменных вахт.

Ближе к ночи Петруха и сменил его. В мороз не хотелось из тепла здания бежать в круглосуточную дежурку столовой, поэтому в рубке достал из шкафа резервную банку тушенки, полбуханки ржаного, заварил чай, использовав самодельный кипятильник. Поел, не забыв про проснувшегося Самурая, сел за стол и раскрыл тетрадь.

В голове еще вертелись остатки разговора с капитаном Новостроевым, но он их усилием воли отложил «до лучших времен», вернувшись к всецело занимавшему его уже не первый месяц термоядерному синтезу. Тем более, что почти в каждом из получаемых им ежемесячных номеров «Успехов физических наук» содержалась обзорная статья по перспективам ядерной энергетики.

Уже приучившись читать между строк научные публикации по перспективной тематике, Игорь не сомневался, что и в СССР наряду с созданием атомной бомбы уже проектируются атомные энергоустановки и целые электростанции, и в Америке многие участники Манхэттенского проекта переведены на «мирные рельсы». Но ведь на урановых реакторах не свет же клином сошелся? Опять же уран не кайлом или врубовой машиной в шахте добывается, как донецкий или воркутинский антрацит. За ним еще надо побегать, потрудиться. Еще Маяковский писал про радий, что в граммы добыча, а в годы труды... Опять же не только технические задачи приходится решать, а нечто посложнее. Офицеры вот в курилке, в перерыве занятий, шушукуются: мол, потому и Туву* в самый разгар войны присоединили, что там залежи урана.

А для термоядерного синтеза топливо хоть из ближайшей водокачки или деревенского колодца бери! Главное препятствие здесь — это рабочие температуры, сравнимые с поверхностными на Солнце. Ни один материал на Земле такого не выдержит, расплавится тотчас. То есть все упирается в удержании 6000-градусной плазмы от соприкосновения с чем-либо кроме воздуха; впрочем, и последний здесь выгорает...

Школьную программу по физике он изучал по институтским учебникам Волькенштейна и Хвольсона — что нашлись в полковой библиотеке, поэтому хорошо усвоил основные принципы физического эксперимента: все новое надо стараться привести к аналогии с уже известным. Здесь Игорю, как работавшему с радиоаппаратурой, а в школе активному участнику радиокружка, в качестве такой аналогии на ум постоянно приходила обычная радиолампа. Тем более, что все устройство ее пре-

* Тувинская народная республика, как и Монголия, находившаяся с 20-х гг. под «протекторатом» СССР, была в 1943 году введена в его состав в статусе автономной республики.

красно просматривается через прозрачный стеклянный баллон: раскаленный катод испускает поток электронов, которые проходят через управляющие сетки, не касаясь никаких железок и стеклышек, и попадают на анод.

В школьные годы, имея дело только с обычными радиолампами из широковещательных приемников, нагревающимися во время работы, но не очень — в ладонь можно взять,— Игорь и не задумывался, что из себя представляет этот поток электронов. А вот в их узле связи стоят шкафы коротковолновых передатчиков типа «Победа» с киловаттами мощности на антенну. А от усилительных ламп ГУ-80 размером с двухлитровый термос так и пышет жаром; внутри же стеклянного баллона как горящая дуга электросварки. Вот здесь-то он понял, что такое раскаленная плазма, в данном случае электронная.

Но ведь, исключая испускающий катод и «принимающий» анод, эта плазма как бы висит и движется в вакууме баллона лампы, не касаясь, как в мощной ГУ-80, всех металлических и графитовых деталей.

Из прочитанных статей в физическом журнале и двух-трех специальных монографий, также выписанных им «книга-почтой» из Москвы, Игорь знал, что решение задачи удержания плазмы с солнечной температурой есть прямой путь к созданию термоядерного реактора и далее термоядерных электростанций. Идей предлагалось много, но все они закидывались на сверхогнеупорах, как в урановых реакторах, или, например, в доменной печи. Но поскольку 6000 градусов ни одно вещество на Земле не выдерживает, то инженеры-физики придумывали самые сложные устройства «термоядерных котлов» с системами охлаждения стенок: от циркуляции жидкого азота до многослойных конструкций с постепенным «съемом» слоев плазмой. Все это, как четко представлялось сержанту, не приближало к решению задачи.

Когда ему пришла в голову аналогия с радиолампой, Игорь заново и очень тщательно просмотрел всю свою литературу по ядерной физике, книги в полковой библиотеке, выпуски реферативного журнала по этой же тематике, что он тоже недавно стал выписывать по подписке. Увы, даже намек на удержание термоядерной плазмы в электромагнитном поле ему не встретилось.

«Ведь не может быть,— размышлял в ночной тишине и духмяной теплоте кубрика Игорь,— чтобы никому из мировых светил-физиков, нобелевских лауреатов, не пришла в голову эта мысль — идея на поверхности? Скорее всего, работы в этом направлении ведутся, но в глубокой секретности...»

Это несколько успокаивало, но тут же пришла еще более настырная мыслишка: «А почему, собственно говоря, это должно быть тайной? Во-первых, это не урановые реакторы, в которых оружейный плутоний готовят. Там сверхсекретность понятна и необходима. А вот в термоядерном реакторе никаких «отходов» для оружия не предвидится! Во-вторых, хотя и молод был сержант, не искушен вовсе в делах и тонкостях высокой научной этики-политики, но поминал: предметом заинтересованности государства, то есть тайной, может быть рабочее, техническое решение, но никак не общая научная идея. Иначе и законы Ома или Ньютона до сих пор держались бы под грифом «ОБ»*.

* * *

В служебных обязанностях, занятиях в вечерней школе, в вечерних и ночных бдениях в своем кубрике промелькнул до конца сорок восьмой год, и пробежали зимние месяцы года сорок девятого. Торопясь скорее окончить школу, Игорь даже не воспользовался летом отпуском. Впрочем, из его письма Александра Федоровна и

* «Особой важности» — высшая форма секретности в СССР.

Алексей Николаевич поняли доuku сына и не очень обидались. Немного беспокоило, что сын ничего не пишет о планах на будущее и не такой уж далекой демобилизации. И невеста на примете есть...

А у сержанта Прокофьева на носу был месяц май, на Сахалине роскошный, но не до нее было Игорю. Положенный же отпуск он оформил и провел в подготовке к экзаменам — за три учебных года, которые он прошел в един, и выпускные. Все он сдал прекрасно, не краснея и запинаясь, получив в итоге из рук директора аттестат зрелости. «Первый случай в моей практике, молодец!» — похвалил его семидесятилетний ветеран образования Лев Павлович, — после демобилизации обязательно учись, Игорь, дальше. Живешь-то ведь рядом с Ленинградом. Будущее у тебя обязательно будет. Достаточно тебе воевать и служить, долг свой перед родиной сполна выполнил!».

Однако в то время демобилизоваться досрочно даже участнику войны было сложно: многие и срочную по семь лет тянули; обстановка в мире опять накалялась, теперь уже не от Гитлера, а от Гарри Трумэна. Стране нужны были сталинские дивизии из кадровиков, познавших опыт Великой войны...

Смирившись с обстоятельствами, Игорь продолжил свои ночные бдения в кубрике. Уже осенью тетрадка в сорок восемь листов была заполнена описанием, чертежами и кой-какими расчетами по термоядерному промышленному реактору. Исходная идея — только своя. Ничего, даже намеков на подобное сержант не нашел в физических журналах, самых свежих.

За основу реактора Игорь взял радиолампу, от которой и сама его идея возникла. Итак, два электрода, две сферы, как матрешки-куклы, расположены одна в другой с зазором. Причем внутренняя, малая сфера сплетена в виде сетки с ячейками, то есть прозрачна для летящих от внешней сферы ионов дейтерия. Сетка-сфера находится под очень высоким отрицательным потенциалом, а сама раскаленная плазма создается ионами и вторичными электронами с электрода-сетки. Плазма удерживается в электрическом поле — вроде как яичный желток в белке яйца. К стенкам и сетке сфер она не прикасается, а значит и не может их расплавить. Конечно, все это «работает» при очень тщательных и точных расчетах конструкции.

Самая большая плотность плазмы — в центре сетчатой сферы, где и происходит термоядерная реакция «горения дейтерия».

Испытанная в самом конце августа советская атомная бомба, понятно, заставила Игоря подумать и о военном применении термоядерной реакции. Опять же мыслил он по отдаленной аналогии с толовым зарядом. Ведь тепловой шашкой можно и гвозди забивать, и расплавить, залив в любую форму... Но приставь к ней взрыватель, подожги бикфордов шнур — и бросай в речку, где кета с горбушей косяком на нерест идут. Главное, чтобы старшины или кого из офицеров в радиусе двух-трех километров не наблюдалось...

А детонатором для взрыва термоядерного горючего должен служить атомный взрыв в центре этого горючего, который, в свою очередь, производится «пушечным» соединением двух подкритических масс урана. В качестве термоядерного материала после долгих раздумий и чтения доступной ему литературы Игорь выбрал дейтерид лития-6*.

Если относительно работоспособности термоядерного реактора его конструкции у Игоря все же были некоторые сомнения, особенно в расчетной части — он трезво оценивал свои скороспелые познания в ядерной физике, а особенно в высшей математике, — то в части водородной бомбы он был полностью уверен: работает.

* Так называемая водородная бомба имплозивного типа с ${}^6\text{LiD}$ в центре (реальный технический проект).

* * *

Ближе к зиме пятидесятого года — последнего в его затянувшейся службе — все чаще стал задумываться: пока он тут исчикивает целые общие тетради, американцы, быть может, уже на полных парах повторяют свой Манхэттенский проект, но только с водородной бомбой. А что делать? Доложить по начальству — так майор Нестеров и капитаны Грищенко и Егоров неизвестно как отнесутся. Скорее всего, Нестеров и Грищенко, расположенные к нему, но более всего пекущиеся о ровном течении службы в своих подразделениях, посоветуют дожидаться дембеля, а там уже и стучаться в разные двери. Замполит же Егоров первым делом прочтет лекцию о бдительности и военной тайне, а потом «стукнет» особистам. Те же люди нервные, начнут ежедневно таскать к себе, выпрашивать, смотреть с прищуром подозрительно-сти. Может отправят для освидетельствования в психдиспансер в Южно-Сахалинске... Все может случиться, а главное, понимал хорошо: это уже не его личное дело, а *государственной важности!*

Поэтому его начальники и слушать-то не станут, особенно про бомбу, в прямом смысле рот ему заткнут. Больно охота им потом стреляться, если доука младшего сержанта станет известной в верхах и будет объявлена сверттайной?

Прямо написать в Кремль? — Вот это, пожалуй, вернее. Даже адресовать письмо на имя Генералиссимуса; от знакомого сержанта Достая, почтаря из полкового особого отдела, знал: никто, конечно, в Кремле письмо, адресованное Вождю, не понесет срочно на подносе Иосифу Виссарионовичу, а вскрыют его в секретариате. Но зато до ворот Кремля никто не осмелится полюбопытствовать его содержанием. Досталь намекнул: даже служебная инструкция на этот счет имеется для почтовых работников.

Однако Игорь все откладывал и откладывал дело с письмом. Как ни странно, помогли решиться сами американцы, точнее — их президент Гарри Трумэн: в самом начале января московское радио несколько раз за день сообщило, что президент США выступил перед Конгрессом, где призвал ученых-ядерщиков в ответ на испытание Советами атомной бомбы быстро создать еще более мощную бомбу, действующую на иной физической основе. Понятно, что речь могла идти только о термоядерном оружии.

...В тот же день поздним вечером и захватив часть ночи, изведя несколько тетрадных листков под черновики, Игорь написал письмо Вождю. Наиболее трудным оказалось обращение к Сталину; остановился на воинском звании Иосифа Виссарионовича, как сам человек военный. Чистовик писал на припасенном белом листе машинописного формата, хорошего качества — под «слоновью кость». Писал кратко, памятуя о занятости адресата:

«Товарищ Генералиссимус!

К Вам обращается младший сержант Прокофьев Игорь Алексеевич, проходящий воинскую службу в должности радиотелеграфиста (в/ч ..., о. Сахалин). Извините, что отнимаю Ваше время. Как и весь советский народ, все миролюбивое человечество, сердечно поздравляю Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, с Юбилеем. Желаю Вам, Вождю советского народа, хорошего здоровья и еще многих славных свершений в деле руководства СССР, страны-победительницы, уверенно ведомой Вами к построению коммунизма!*

Товарищ Генералиссимус! Из известного сообщения ТАСС от сегодняшнего числа, посвященного заявлению президента США, следует, что американская военщина ведет работы над созданием термоядерного оружия сверхразрушительной силы. Не считите меня самонадеянным, но у меня есть технический проект-разработка во-

* 21 декабря 1949 года И. В. Сталину исполнилось 70 лет.

дородной бомбы. Это результат моей самостоятельной работы, как интересующегося со школьных лет ядерной физикой. Война и служба не позволили мне получить надлежащее образование, но я его по мере сил компенсировал активным самообразованием.

По Вашему указанию готов представить полное техническое описание предлагаемого устройства практического типа.

С уважением, мл. сержант И. А. Прокофьев».

...Подписался, сложил вчетверо лист хрусткой бумаги, запечатал в «гражданский», то есть с маркой, конверт «АВИА», купленный днем в поселковой почте, прилег на койку, пододвинув Самурая в угол к ногам, и тотчас провалился в крепкий сон.

Наутро, перед вахтой, отыскал замполита, капитана Егорова и сообщил, что отправляет письмо Иосифу Виссарионовичу.

— Это как понимать? О чем письмо? — с изумлением воззрился на сержанта Егоров.

— Поздравляю с 70-летием и прошу распорядиться рассмотреть одно мое изобретение.

Теперь Виктор Феодосьевич уже сузил в щелочку слегка азиатские глаза:

— Не поздно ли спохватился? И по чину ли тебе поздравлять от себя Вождя, а? Может, какую кляузу на нашу часть, а мы-то тебе все условия создали...

— Никак нет, товарищ капитан. Службой я доволен, да и о кляузах начальству не сообщают. Мне важно, чтобы кто-то в верхах ознакомился с моим изобретением, а тут такой повод. Извините, конечно.

Егоров постепенно успокаивался, вспомнив, что настырный младший сержант вечно что-то изобретает, лекции офицерам читает. Даже ухмыльнулся под конец разговора:

— Хитрец ты, Прокофьев, может, захотел дембельнуть досрочно: дескать, в Москве академики за головы хватятся и срочно вытребуют тебя, а? Ладно, шучу. Письмо отправляй заказное, а особистам краткий рапорт не забудь написать. Береженого бог бережет.

...Непонятно, кого имел Виктор Феодосьевич в виду. Скорее всего себя. В конце-концов сержант был беспартийным, то есть не его епархии. Пускай комсорги — от ротного до полкового — репу чешут*.

* * *

Прошли неделя, другая, миновал месяц. И еще пара месяцев. Ответа не было. Загодя предупрежденный Досталь (ответ наверняка шел бы через спецчасть) при встречах разводил руками: пишут, мол.

Капитан Егоров тоже интересовался, но он же отчасти и успокоил:

— Ты представляешь, сколько писем, телеграмм пришло в секретариат товарища Сталина в декабре-январе с поздравлениями? Наверное, миллионы. Вовсе нетрудно было твоему утонуть в этом потоке. И посейчас, небось, лежит твой листок с проштемпелеванным левым верхним углом «Вх. № ...», подшитое вместе с двумя-тремя сотнями таких же листков в картонном скоросшивателе, которых тоже не одна сотня в архиве третьего разряда.

* Оглушенные антисталинским агитпропом — от времен хрущевского либерализма до нынешнего дембешенства СМИ — доверчивые наши люди и помыслить не могут, что в те «гулаговские времена» можно было запросто написать письмо Вождю и даже получить в той или иной форме ответ, не опасаясь, что тотчас прикатит «воронок» из фольклора, и дадут любителю писать «наверх» 10 лет без права переписки (Авт.).

Человек по натуре добрый, несмотря на собачью должность, Виктор Феодосьевич даже посоветовал повторить письмо, для надежности адресуя его в ЦК ВКП(б).

— ...Я как раз через пару дней еду в Южно-Сахалинск на войсковой партактив и передам твое письмо через орготдел обкома для отправки в цз-ка со спешной почтой. Это не секретка, можно и обычные отправления прилагать. А у меня как раз в орготдела техработником служит одна... ну-у, скажем, родственница,— подмигнул по-свойски Виктор Феодосьевич, известный в полку обожатель женского пола. Сержант нравился замполиту своей настойчивостью, а главное — Прокофьев, хотя и салага, но принадлежал к их фронтовому братству, где разница между унтером и офицером, по крайней мере не на людях, несколько размыта. Во втором письме Игорь упомянул и об управляемом термоядерном синтезе.

Через пару дней капитан Егоров, прихватив письмо сержанта, уехал в Южно-Сахалинск, а всего через неполные две недели, когда сержант находился на вахте, в рабочую комнату торопливо вошел начальник узла связи капитан Грищенко, одновременно встревоженный и снedaемый любопытством:

— Прокофьев! Чего ты там натворил, тебя срочно требуют в штаб полка, а?

— Никак нет, товарищ капитан, ничего не натворил. Да я почти месяц за ворота части не выходил. Не могу знать.

— Ладно. Сейчас придет Полуянов, за ним уже побежали, сменит тебя, а ты с посылным мигом в штаб. Он на машине.

Через минуту пришел заспанный сосед по кубрику. Принимая от соседа вахтенный журнал, успел шепнуть:

— Этот старлей из особистов меня при выходе из кубрика обыскал и дверь опечатал.

— А Самурай как же? — ошарашено спросил Игорь.

— Не заметил. Тот от незнакомого человека под топчан сиганул.

— Р-разговорчики! — построжал совсем сбитый с толку Грищенко,— Прокофьев, марш на выход!

* * *

В штабе молчаливый старлей-особист повел Прокофьева прямо в кабинет Нестерова, но уже не майора-комбата, а подполковника и комполка без приставки «И.О.». Кроме Матвея Григорьевича находились еще двое: особист полка майор (тоже свежеиспеченный) Деревянкин и солидный мужчина лет пятидесяти, аккуратно причесанный, в темном костюме, с галстуком.

— Товарищ подполковник! Младший сержант Прокофьев по вашему приказанию прибыл,— отрапортовал Игорь.

— Хорошо. Присаживайтесь,— показал Нестеров на стул рядом с гражданским,— с майором, надо полагать, сержант, вы знакомы, а вот — приехавший по вашему делу завсектором Сахалинского обкома партии товарищ Белкин.

С любопытством глядя на сержанта, тот улыбнулся и протянул руку:

— Познакомимся, Игорь Алексеевич. Меня зовут Сергеем Антоновичем. Дело в следующем. Вчера нам в обком позвонили из ЦК ВКП(б). Ваше предложение, сущность которого известна только первым лицам обкома, заинтересовало соответствующие инстанции в Москве. Вам предписывается написать в самое ближайшее время — не более месяца — подробный отчет для отправки в столицу. Командование части создаст все условия для работы, освободив от прямых служебных обязанностей. Есть ли какие просьбы, пожелания? Нет. Ну и прекрасно. Если возникнут вопросы любого характера — звоните прямо мне в обком, вот на бумажке мой телефон.

«Пан или пропал»,— мелькнуло в голове сержанта, и он повернул голову в сторону комполка:

— Товарищ подполковник, разрешите в присутствии товарища Белкина обратиться к вам с просьбой?

— Давай, сержант, для того мы и собрались здесь.

— Мне еще до конца этого года служить, а я хотел попробовать уже этим летом поступить на физический факультет МГУ. Нельзя ли досрочно демобилизоваться?

Нестеров с немим вопросом посмотрел на обкомовского:

— Как полагаете, Сергей Антонович? Тем более, что фронтовик, да и в мирное время вволю наслужился.

— Вы, Матвей Григорьевич, командир, как говорится, царь и бог в своей части, вам и решать. Со своей стороны всячески рекомендую. Парень, вижу, хороший, с головой, а советская наука сейчас пошла семимильными шагами.

Чувствовалось, что вихрастый сержант явно понравился обкомовскому гостю.

— Можно подумать, а когда вступительные экзамены?— поинтересовался Нестеров.

— В августе, товарищ подполковник, но заявление по почте надо уже в июне отправлять с разрешением командования.

— Хорошо. Заявление отправляй, я завизирую. А вопрос о досрочной демобилизации решим окончательно после составления тобою отчета. Ну, товарищи,— компания поднялся со стула, остальные вослед за ним,— всем все ясно. Сергея Антоновича попрошу заверить первого секретаря обкома, что не подведем, выдадим на год раньше установленного срока. Как, младший сержант?

— Так точно, досрочно,— встал по стойке «смирно» повеселевший Прокофьев,— не подведем, товарищ подполковник!

— Понятно. Я сейчас Сергею Антоновичу покажу наше хозяйство, а Василий Игнатьевич,— Нестеров обернулся к майору Деревянкину,— даст подробные инструкции герою, так сказать, сегодняшнего дня.

Распрощавшись по уставу с командиром и за руку (по инициативе гостя) с завсектором обкома, Игорь заторопился вослед стремительному в движении особисту в его кабинет.

— Ну и задал ты нам задачу, изобретатель хреновый,— по-доброму, с ухмылкой начал инструктаж майор. Прокофьев сделал понимающе-скорбное лицо: дескать, извиняйте меня со своей доукой, но теперь и я уже сам себе не принадлежу. Дело-то государственное.

Деревянкин, хотя и не кончал университетов и академий, но психолог был отменный, все прочел по лицу сержанта, еще раз ухмыльнулся и перешел к делу:

— На время работы над отчетом тебе присваивается высшая, первая форма секретности. Тут от тебя нужны разные анкеты и подписи — это сегодня все у моего помощника в шестой комнате сделаешь. Он уже предупрежден.

Это — раз. По инструкции из обкома ты должен работать в отдельной охраняемой комнате, а перепечатывать твои записи может лишь машинистка нашего отдела с соответствующим допуском. Такой у нас нет, но ты ведь, как радиотелеграфист, сам можешь печатать?

— А как же, товарищ майор, десятью пальцами вслепую. Это мои должностные обязанности.

— Угу, очень хорошо. Комната у тебя уже имеется. Соседа выселим в казарму, на окно уже ставят решетку, в коридоре у двери круглосуточно будут дежурить бойцы из комендантского взвода. Кроме тебя никто входить не имеет права; сам будешь выходить, хотя бы даже по малой нужде в галльон, дверь опечатывай. Будет у тебя своя печать. И караульный каждый раз общет. Уж не обессудь. Печатную машинку доставим тоже сегодня. Да, если при печатании, а делай все в одном экземпляре, лист испортишь, то ни в коем случае не выбрасывать. Потом по акту сдашь. Все листы

дадут уже проштемпелеванные с грифом. Чертежи рисуй тушью. Все необходимое из чертежных принадлежностей тебе дадут.

Главное — пиши все очень подробно, ничего из существенного не упуская, поскольку по приемке отпечатанного и вычитанного тобою же экземпляра все черновики твои, рукописи, все, что у тебя в комнате есть рукописного — будет по акту уничтожено. Останется только в памяти.

...И ни одна душа, включая меня и Матвея Григорьевича, не говоря уже обо всех остальных, не должна ни полслова, ни четверть намека знать, о чем ты пишешь. Все ясно?

— Так точно, товарищ майор!

— Э-эх, жили себе спокойно, от войны отдыхали...

* * *

Не месяц, но без малого три недели Игорь провел буквально отрезанным от всего большого и малого мира. Даже радиоточку-репродуктор убрали особысты по причине стражайшей бдительности. Впрочем, на том и инструкция настаивала.

Хотел ретивый старлей и кота Самурая перевести в хозчасть на жительство, но поднатворевший в секретной бюрократии Прокофьев потребовал показать соответствующий параграф в инструкции, пообещал позвонить в обком, в Южно-Сахалинск. Самурая оставили, разрешив ему без обыска покидать келью затворника; время стояло летне-весеннее, и матерый котьяра являлся домой только под утро — пожрать и отоспаться днем.

...Да и сам затворник неохотно отлучался от увлекшей его работы — на камбуз поест и вечером, когда навалившаяся на Сахалин жара спадет, часок-другой провести на воздухе. Главное — ему и поговорить-то теперь не с кем было. Бывший друг и сосед по рубке Петька Полуянов здороваться перестал и зверем смотрел. Понятно, кому охота ни за что из «собственной» комнаты в казарму переселяться?

Но самое обидное — все остальные солдаты и сержанты части стали его сторониться. Поначалу Игорь списал это на зависть человеческую: дескать, живет один, сам-барин, в столовой на довольствие младшего офицера переведет... Но потом из солдатских разговоров дошло: хитроумные особысты, дабы пресечь все разговоры секретного сержанта с сослуживцами, пустили дезу: младший сержант Прокофьев по заданию начальства пишет характеристики-доносы на всех мало-мальски знакомых ему солдат и унтеров.

...И куда бы ни шел по территории части и в самом здании узла связи Игорь, всегда в нескольких метрах маячила фигура кого-то из особистов невысокого чина, даже знакомого ему сержанта-почтаря *Досталя*. Вот уж истинно *достали*!

Но все это были хотя и досадные, но все же мелочи жизни. Главное — несказанное удовольствие доставляла сама работа над первым в жизни научным трудом. Да и чисто оформительские дела аккуратисту по характеру Игорю пришлись по вкусу: печатание текста, вычерчивание на форматках ватмана тушью чертежей, вписывание в текст формул — тоже тушью. К вечеру каждого дня он с удовольствием смотрел на растущую стопку готовых чистовиков, бережно упаковывая до утра в новую картонную папку с завязками. Кстати, вместе с пишмашинкой и прочей канцелярией особысты принесли и портфель, в который он должен был в конце рабочего дня складывать черновики и чистовики, опечатывать его и сдавать в особый отдел. Но Игорь позвонил по внутреннему телефону с узла связи майору Деревянкину и легко убедил в ненужности столь сложной процедуры: и так его местожительство под круглосуточной охраной бойца-краснопогонника с карабином.

Победив особиста, Игорь в душе хитрюще усмехнулся: про глупость с портфелем

не забыли, а вот опечатать форточку большого размера на зарешеченном снаружи окне запамятавали! А он ее прохлады ради держал открытой вовнутрь круглосуточно...

Итак, отпечатав последний лист чистовика, дважды тщательно вычитав отчет, он свободно вздохнул и по служебному позвонил Деревянкину об окончании работы. Особисты прибыли целой группой, но в кубрик вошел только майор. Отведя глаза в сторону топчана со спящим Самураем, чтобы ненароком не прочитать хоть слова в черновиках и чистовике, Василий Игнатьевич давал распоряжения:

— Та-ак, Прокофьев, делай все по команде. И вот возьми причандалы: сургуч, бечевку, зажигалку, мешки для черновиков и готового отчета.

И далее под монотонную диктовку Деревянкина, упорно отводившего взгляд от стола с бумагами, Игорь в течение часа проделывал сложные операции с пересчетом листов чистовика, испорченных на машинке, оставшихся неиспользованных, всех черновиков, включая школьные записи — все что было в кубрике рукописного. Все эти цифры он заносил в протокол. Капал разогретым зажигалкой сургучом, ставил свою печать и особого отдела, которую каждый раз Деревянкин вынимал из кармана галифе и тотчас забирал из рук сержанта.

В итоге Игорь передал майору два опечатанных мешка: малый полотняный с чистовиком и большой рогожный с остальными бумагами. Эти мешки Деревянкин лично понес к машине в сопровождении двух автоматчиков «на изготовку» и Игоря. Еще один солдатик забрал пишущую машинку, тушь и готовальню. Личную печать особист у сержанта изъял. Оставил свой пост в коридоре и охранник.

В особом отделе в присутствии Игоря большой мешок, не раскрывая, сожгли в специально растопленной летом голландке. Сам Деревянкин кочергой разворошил легкий бумажный пепел.

На прощанье майор сообщил автору, что уже сегодня отчет будет отправлен секретной почтой в спецотдел обкома в Южно-Сахалинск. Позднее, из разговора с Белкиным Игорь узнал, что отчет был отправлен в ЦК ВКП(б) заведующему отделом тяжелого машиностроения И. Д. Сербину.

* * *

На другой же день младшего сержанта Прокофьева вызвали в штаб, ознакомили с приказом о досрочной мобилизации, выдали проездные документы до Москвы и через час попуткой отправили в Южно-Сахалинск в распоряжение завсектором Белкина.

Спешно собирая нехитрый свой скарб, Игорь помирился с Петькой Полуяновым, вновь водворенным в кубрик, велел опекать Самурая. Зашел попрощаться с капитаном Грищенко и замполитом Егоровым. Оба искренне желали успеха ставшему в одночасье известным всей дивизии сержанту. Просили написать, как станет студентом МГУ.

Вроде как и по необходимости здесь эти годы находился, но даже одна-другая слеза из глаза накатилась, когда пожимал руки Полуянову и отцам-командирам, в последний раз гладил по загривку Самурая. Ко всему привыкает человек, везде торопится гнездо свить...

В Южно-Сахалинске его высадили у обкома. Из проходной позвонил Белкину. Тот выслал молодого человека в костюме и галстук, который повел сержанта в бюро пропусков. Через десять минут он уже беседовал с милейшим Сергеем Антоновичем:

— ...Значит едешь в Москву учиться?

— Да поступить еще нужно, Сергей Антонович. Хоть готовился, есть вызов на экзамены, от командира части рекомендация и хорошая характеристика, но все одно боязно: ведь физфак МГУ! А тут какой-то младший сержант с Сахалина...

— Не боги, как раньше говорили, горшки обжигают. Голова боится, а руки делают,— завсектором явно был из учителей. Так оно и оказалось при дальнейшем разговоре.

— Жаль, что Семен Андреевич со всем руководством обкома на пару-тройку дней убыли на север острова, к горнякам на выездное совещание. Он хотел с вами поговорить.

Игорь сообразил, что речь шла о первом секретаре обкома, а Белкин перешел уже к деловой части разговора:

— Самолет на Хабаровск завтра в середине дня вылетает, а там тебя на скорый посадят; место забронировано. Как раз в Москву к началу экзаменов успеешь. Переночуешь в обкомовской гостинице — это в левом крыле здания. Харчеваться будешь в нашей же столовой. Кстати, через полчаса обед — тебя Константин, наш инструктор, что оформлял пропуск, отведет и в столовую, и вселит в гостиницу. Он же после обеда проводит в читальный зал спецбиблиотеки — до вечера ознакомишься с одним любопытным документом. Это распоряжение Семена Андреевича.

...Из почти суточного пребывания в обкоме более чем столовая с официантками, подававшими незатейливые, но хорошо приготовленные, сытные блюда, гостиничный номер на двоих, куда его поселили одного, Игорю более всего запомнились часы, проведенные в спецчиталке. Оформив с помощью инструктора Константина несколько подписок-расписок, он получил из рук пожилой библиотекарки увесистый, в формат писчего листа том в коленкоровом переплете без названия. Только в верхнем правом углу был проставлен штампом инвентарный номер. Под переплетом находилась пачка отпечатанных на машинке листов, точнее их копий на множительной машине, прошитых по левому полю тонкой бечевкой, концы которой на обороте последней страницы были заклеены калькой с оттиском круглой уже печати. Это был перевод отчета видного американского физика-ядерщика по военному использованию атомной энергии. В нем Игорь нашел подтверждение некоторым своим мыслям, но еще больше узнал и нового, «на ходу» корректируя уже свои конструкции.

* * *

Восьмого августа он прибыл в Москву, а первое сентября встретил уже первокурсником физфака МГУ. А потом так его научная и учебная жизнь закрутилась... Но это надо уже вспомнить всю историю советских проектов водородной бомбы и до сих пор промышленно не реализованного термоядерного синтеза.

Эпилог

Вернувшись из «зарубежной» поездки. Николай Андреянович впал в благодушную интеллигентскую рефлексию. Понятно — о судьбах русских ученых и изобретателей. И раньше частенько задумывался, а тут и повод куда как явный. Но если раньше он размышлял о судьбах выдающихся классиков русской науки, то теперь перед ним пример современника, которого он несколько дней назад воочию наблюдал.

А история и вправду изобилует всякими кунштюками. Как радиотехник по образованию, Николай Андреянович как пять пальцев своей руки знал электродинамику — физическую науку о генерации, обработке, распространении в эфире и приеме электромагнитных волн: то же радио, где по будням с восьми до одиннадцати часов ряженные врачами актеры убеждают пенсионеров в пользе пищевых добавок («Мертвого с одра поднимут!»), а главное — *ТВ* — враг номер один современного человечества.

А в электродинамике одно из базовых понятий — вектор распространения энергии электромагнитной волны. На Западе его именуют вектором Пойнтинга, у нас — Пойнтинга-Умова (или Умова-Пойнтинга), в сталинские послевоенные годы — просто вектором Умова; это когда шло великое восстановление авторитета русской науки. Но все равно в электродинамике этот вектор принято обозначать заглавной греческой буквой « $\vec{P}$ », то есть в честь Пойнтинга все же...

Сущность же разночтений в том, что первым дал определение этого понятия Николай Алексеевич Умов, выдающийся русский физик последней трети XIX — начала XX веков, создатель московской физической школы, а заодно и физического факультета Московского университета, на котором и учился сержант Прокофьев спустя полвека с лишком. А иностранец Пойнтинг только с десятков лет спустя дал определение этому вектору, да и то лишь для частного физического случая.

Николаю Алексеевичу вообще не везло на приоритеты. Так, открытый им закон распределения электрического поля в пластине произвольной (неправильной) формы просто присвоил очень даже знаменитый немецкий физик-электротехник Кирхгоф. Видно, был он человек простой: прочитал в малоизвестном в Европе русском научном журнале статью Умова, перевел на немецкую мову и опубликовал в каком-нибудь солидном *«Zeitschrift für Elektrotechnik»**.

В правдивости последней истории Николай Андреянович не сомневался, ибо прочел ее в случайно попавшем в его руки томе словаря Брокгауза-Ефрона дореволюционного издания. А Брокгауз, тем более Ефрон, были издателями солидными и непроверенных трижды фактов в свою энциклопедию знаний не допускали.

Николай Андреянович уже и не вспоминал о паровозе братьев Черепановых, аэроплане Можайского... — всех их переплюнули запоздалые западные изобретатели. Кстати, изобретатель телевизора Зворыкин и создатель вертолета Сикорский потому и остались первооткрывателями, что вовремя уехали «за бугор».

Но во всех этих, очень многочисленных, случаях хоть есть логика: борьба за приоритеты как показатель самодостаточности государств. Другое дело, когда эти «схватки под ковром» разворачиваются в пределах самой страны. Тут уже действует не логика, но амбиции, в худшем случае — откровенный карьеризм и своекорыстие.

А можно и с другой стороны взглянуть: студент физфака МГУ (а это не провинциальный пединститут!) разговаривает на равных с кандидатом физматнаук, вчерашним аспирантом Сахаровым, обсуждают конструкцию водородной бомбы. Проходит сравнительно недолгое время: Андрей Дмитриевич признанный «отец водородной бомбы» и Трижды Герой Социалистического труда, а бывший сержант — научный сотрудник Харьковского физико-технического института.

Правда, стремительную научную карьеру Андрея Дмитриевича изрядно подпортила супруга, неистовая демократка до времени, в разное время путано именовавшая себя то грузинской, то армянской княгиней... Но это уже субъективный фактор.

И на токомаке многие академическую карьеру сделали, хотя до сих пор до промышленной реализации дело не дошло. И вряд ли дойдет, пока в мире энергетикой правят нефтегазовые, угольные, атомно-урановые транснациональные корпорации. А вот это как раз фактор объективный!

Вообще говоря, в современной науке и подчиненной ей промышленности корпоративность играет основную роль.

Это прекрасно знал Николай Андреянович, проработав тридцать лет в оборонно-промышленном комплексе. Казалось бы, что в советское время какая могла быть корпоративность, что всегда есть в чем-либо вред, если полностью превалировал государственный интерес? А вот так и был; он являлся внебрачным дитем здоровой, специально поддерживаемой промышленными министерствами конкуренции: кто лучше сделает! Но народившийся байстрюк-корпоративность тоже времени не терял.

Сколько Николай Андреянович за десятилетия работы встретил талантливых конструкторов-оружейников — у себя в НПО и на других предприятиях страны, где бывал в командировках, — создававших самые совершенные, во много раз превосходящие западные, образцы стрелкового оружия: от пистолетов до пулеметов. И что же? Каким бы авторитетом не пользовались руководители орденоносных НИИ-НПО,

* «Электротехнический журнал» (нем.).

но не могли прошибить некую стену, поставить новые разработки на вооружение Советской Армии. А военпром все также тиражировал в миллионах экземпляров стрелковое оружие 40—50-х годов разработки, слегка модернизируя его в соответствии с требованиями времени...

А с сержантом с Сахалина и вовсе так приключилось, что попал он со своими эпохальными изобретениями промеж соревнующихся (слово «конкуренция» тогда не произносилось вслух) группировок физиков-атомщиков.

Да и сам он, как понимал Николай Андреевич, человеком был скромным... Откуда уроженцу из Пскова, из рядовой семьи, повоевавшему, а потом пять лет проведенному солдатом у черта на куличках — откуда ему, молодому еще человеку, иметь нахрапистость, умение где надо подлизнуть, а то и вовсе сподличать, словом — пробивные способности?

Николай Андреевич сам провел детство и юность хотя и поближе Сахалина, но все равно в медвежьем углу, в среде военных моряков, потому мог с полным правом о характере сержанта-изобретателя судить по себе.

С другой стороны, зачем нужно было всем этим славным академикам, героям и лауреатам так общно почти полвека замалчивать имя автора идей водородной бомбы и управляемого термоядерного синтеза. Секретность? — Но ее в отношении этих «изделий» сняли еще при Хрущеве: Сахаров гордо и публично именовался «отцом водородной бомбы», а токомак с тех же пор является международным проектом.

...Николай Андреевич не поленился сходить в читальный зал университетской библиотеки и перелистать тот самый номер «Успехов физических наук»*, про который ему говорил в Харькове знакомец из НИИ Просвирнина. Нашел воспоминания самого бывшего сержанта о встречах с Л. П. Берией и другими знаменитыми людьми:

«...Через некоторое время, правда не очень малое, в кабинет председателя пригласили Сахарова, потом меня.

Из-за стола поднялся грузный мужчина в пенсне и пошел навстречу, подал руку, предложил садиться. Далее последовали вопросы о родственниках, в том числе осужденных и т.д. О делах ничего. Это были смотрины. О моих документах ему уже было известно заранее. Ему хотелось, как я понял, посмотреть на меня и, возможно, на А. Д. Сахарова, что мы за люди. По-видимому, мнение оказалось благоприятным.

Через некоторое время посыпались какие-то блага: повышенная стипендия, Постановлением Совета Министров СССР была выделена вместо общежития меблированная комната в Москве близко к центру (набережная М. Горького, дом 32/34), организована доставка любой необходимой литературы, назначены оплачиваемые Первым главным управлением (ПГУ) дополнительные преподаватели. Когда вышли из Кремля вместе с Сахаровым, он сказал, что теперь будет все хорошо, будем работать вместе.

Вскоре произошло новое событие. Вечером в общежитии меня разыскал молодой человек спортивного вида и предложил ехать с ним. Мы поехали. Приехали к зданию на Новой Рязанке, недалеко от Комсомольской площади. После оформления пропусков, а это была длительная процедура, поднялись в кабинет Н. И. Павлова на втором этаже. Оказывается, меня там уже давно ждали. Прошли в другой кабинет. Я прочел табличку — Б. Л. Ванников. В кабинете оказались два генерала — Б. Л. Ванников и Н. И. Павлов, а также штатский с черной окладистой бородой. За все время моей службы я не видел ни одного генерала, а тут сразу два, да этот бородатый штатский. Начался разговор. Вопросы задавал бородатый. Впоследствии я узнал, что это был И. В. Курчатов.

В разговоре Павлов вставил реплику: «Он хочет в это устройство вставить атомную бомбу». Это меня настолько насторожило, что я невольно подумал: «Мо-

* «УФН», 2001, Т. 171, № 8, С. 886—894 (Цитата подлинная).

гу ли я рассказывать им об устройстве водородной бомбы без санкции сверху?», и у меня невольно вылетело вслух, что я был у Берии.

Дальше моим трудоустройством занялся Павлов. Я приходил к нему, рассказывал о своих идеях, излагал их письменно и отдавал ему. Он прятал все записи в сейф. Своим добрым отношением к моим работам он вдохновлял меня на новое творчество. Он познакомил меня с Д. И. Блохинцевым, который в то время руководил в Обнинске строительством первой в мире атомной электростанции.

Затем Н. И. Павлов познакомил меня с И. Н. Головиным, одним из руководителей работ по МТР в ЛИПАНе. Меня пригласили поработать у И. Н. Головина.

Кроме того мне была предоставлена возможность заниматься дополнительно с преподавателями: физики (Телеснин Роман Владимирович, физик, закончил в 1926 г. Киевский государственный университет), математики (Самарский Александр Андреевич, в настоящее время академик РАН) и английского языка.

С А. А. Самарским у меня сложились очень хорошие отношения. Я ему обязан не только конкретными знаниями в области математической физики, но и в области методологии, в умении четко поставить задачу.

С А. А. Самарским я провел расчеты «магнитных» сеток. Были составлены и решены дифференциальные уравнения, позволившие определить величину тока через витки сетки, при котором сетка защищалась магнитным полем этого тока от бомбардировки высокоэнергетическими частицами плазмы. Эта работа, законченная в марте 1951 г., дала начало идее электромагнитных ловушек.

В мае 1951 г. я получил допуск в ЛИПАН для работы в группе И. Н. Головина. Здесь мне рассказали об идее термоизоляции высокотемпературной плазмы магнитным полем, предложенной А. Д. Сахаровым и И. Е. Таммом. Я думал, что они предложили эту идею независимо от моей работы июля 1950 г. Но, как рассказал потом Сахаров, на эту идею его натолкнула моя работа, которую он рецензировал.

Из прочитанного Николаю Андреевичу уже почти все стало понятно. Не таким уж крохотным винтиком являлся бывший младший сержант уже по первому году пребывания в Москве; дескать, вызвали посмотреть-подивиться и отпустить восвояси. Как передовую доярку по разнарядке какому-нибудь обкому вызовут в Кремль, вручат орден, сфотографируют рядом с товарищем Калининым или — позже — с Георгадзе и тут же напрочь забудут о ее существовании.

Нет, наш герой сразу включился в серьезную работу. Главное — руководство страны и глава атомных проектов маршал Л. П. Берия как раз полагали его автором и инициатором обеих идей и дали указание об эффективном использовании автора в реализации его изобретений.

Так оно поначалу и было, а потом его потихоньку оттерли, как это умеют делать в академических кругах.

...Была ли обида? Наверное, не без этого. Но явно в злость или какую-иную меланхолию она не переросла. В этом и сам Николай Андреевич убедился во время случайной встречи в Харькове.

Великие дела порой делают малые люди!



Реальный прототип главного героя повествования: младший сержант Олег Александрович Лаврентьев; Сахалин, 1950.

АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА: СЛОВО ЖЕНЩИНАМ

Тамара Белицкая

ОЛЕНЬКА, ИЛИ ВЕРНОСТЬ



Белицкая Тамара Михайловна — заслуженный работник культуры РФ. Работала в Челябинском институте музыки в качестве заведующей и доцента историко-теоретической кафедры.

С 2000 по 2005 гг. провела цикл передач «Шедевры мировой музыки» на «Радио России» (г. Тула).

Это было в начале Отечественной войны. Мы тогда жили на Урале, и война обрушилась на нас не бомбами, обстрелами, убитыми и ранеными, а потоком беженцев да еще весьма ощутимым голодом. Наша семья к этому времени состояла из мамы, меня и Ирки. Отец уже был призван в армию и где-то воевал, и мы с нетерпением ждали от него фронтовых треугольников, которые уже начали поступать к соседям.

Мне в то время было неполных 8 лет, а Ирке на 2 года больше, но никакого трепета перед ее старшинством я не испытывала. Скорей наоборот. В дворовых играх и в домашних перепалках верховодила именно я, высмеивая ее медлительный характер и неповоротливость.

Шел сентябрь — первый школьный месяц в моей жизни. Мне все нравилось в моем новом статусе ученицы — форма (коричневое кашемировое платье с черным или белым передником), разноцветные ленты в косичках, деревянные счетные палочки в маленьких мешочках, новенький, как-то по-особому пахнущий портфель, учебники и тетрадки с закладными ленточками. Учительница нам досталась очень молодая, и мы все влюбились в нее с первого взгляда. В общем жизнь казалась мне удивительной и прекрасной, и даже где-то там начавшаяся война не очень меня огорчала. Конечно, по отцу я скучала, но он ведь и раньше уезжал в какие-то командировки, так что к его отсутствию я привыкла.

И вот однажды, возвращаясь после школы, мы с подружками увидели поразившую нас картину. Весь наш огромный двор, представляющий собой пространство между составленными в букву П домами, был забит людьми. Они сидели отдельными кучками на чемоданах, узлах, коробках. В основном это были женщины и дети разного возраста. Между ними изредка мелькали мужчины, чего-то громко требующие от управдома, яростно жестикулирующие и готовые, кажется, к боевой схватке.

Пропустить такое необычное представление мы, конечно, не могли. И весело крича, и размахивая портфелями, побежали во двор. Вот там-то я впервые услышала незнакомое и так трудно произносимое слово *ЭВАКУИРОВАННЫЕ*. Но главное, что мы поняли сразу, — эти люди бежали от войны и нуждаются в нашей помощи. Им нужно где-то жить, и только мы сможем дать им крышу над головой.

Я побежала домой, бросила портфель и закричала:

— Мама, пойдем выбирать соседей!

Ирка сидела в кухне и уже что-то ела. Она спокойно сказала:

— Чего орешь? Мамы нет дома, ее вызвал управдом.

Я заметалась:

— Пока ты здесь набиваешь пузо, там разберут самых лучших. Пошли скорее!

Ирка спокойно дожевала кусок, но идти со мной не спешила:

— Давай дождемся маму.

Я махнула рукой:

— Вот кабася! Я одна пойду!

Выскачив из подъезда, я наткнулась на маму. Она схватила меня за руку:

— Куда это ты несешься?

— Мамочка, там люди без жилья. Давай отдадим кому-нибудь нашу маленькую комнату.

Она показала мне бумагу:

— Не суетись. Я уже получила предписание на троих. Нам их пришлют.

— Нет, мамочка! Пойдем, выберем сами!

— Людей нельзя выбирать как товар. Кого пришлют, с теми и будем жить.

Но я ее не слушала. Вырвав руку, побежала во двор. Он заметно поредел, видимо, многие семьи уже нашли себе пристанище. Я медленно пробиралась среди этой людской неразберихи, и вдруг мой взгляд упал на девочку. Она сидела одна на каком-то узле. В руках у нее была довольно замызганная кукла, а по щекам текли слезы. По виду ей было лет 6–7. Ее светлые кудряшки и голубые глаза сразу привлекли меня. Я подошла к ней:

— Ты чего плачешь?

Она взглянула на меня и заплакала в полный голос:

— Мама... ушла!

Я села рядом с ней:

— Ну, и что? Пошла, наверное, искать квартиру, не плачь, она вернется!

И вдруг меня осенило! Так вот же она, наша новая соседка! Я схватила ее за руку:

— Хочешь жить с нами? Пойдем!

Девочка перестала реветь и недоверчиво взглянула на меня:

— А ты здесь живешь?

— Ну, да! Вон, в третьем подъезде! Пойдем!

— А как тебя зовут?

— Таня, а тебя?

Девочка встряхнула кудряшками и тихо ответила:

— Оленька!

Это ласкательное и такое домашнее имя почему-то рассмешило меня:

— Оленька! — передразнила я — Так у нас не называются!

— А как? — испуганно спросила она.

— Просто Оля, ну, или там, Лелька, как наша Звонарева. Ну, впрочем, это не важно, пошли!

Она встала, но, взглянув на гору чемоданов и узлов, растерянно сказала:

— А как же это?

— Ну, это мы мигом! Ты только подожди!

Я побегала по квартирам, собрала мальчишек и девчонок, и мы дружно поволокли все имущество к нам в квартиру. Сзади со своей куклой шла Оля. Глаза ее давно просохли от слез, да и сама она, кажется, была очень довольна.

Втащив чемоданы в коридор, мы начали вытаскивать из комнаты наши с Ирккой кровати, но эту кипучую деятельность прервал сердитый мамин голос:

— Зачем вытаскиваете кровати? Прекратите сейчас же!

Я обернулась и увидела рядом с мамой незнакомую женщину с двумя мальчишками чуть старше нас. У них в руках тоже был какой-то багаж, который они сразу же поставили на пол.

— Вот — сказала мама — наши новые жильцы. Они будут жить в маленькой комнате.

Я взглянула на них, потом на Олю. Ее губы начали подрагивать, а в глазах опять появились слезы. И здесь меня словно прорвало:

— Нет! — закричала я — Эта комната уже занята! Здесь живет Оля с мамой! Вон и вещи их уже на месте!

— Как же так? — растерянно спросила женщина. — Нам же дали этот адрес.

— Все правильно! — ответила мама и строго посмотрела на меня — Это просто фокусы моей дочери! Проходите!

— Нет! — снова закричала я, схватила Олю, влетела вместе с нею в комнату и закрыла дверь на ключ.

Из-за двери было слышно, как женщина сказала:

— Может, и правда не стоит? Нам ведь давали другую квартиру. Пойдемте, ребята, туда.

Мама, было, запротестовала, но здесь, к своему удивлению, я услышала голос Ирки:

— А я не буду жить в одной квартире с мальчишками. Мы же драться будем!

Видимо, этот довод убедил взрослых. Мама сказала:

— Придется вернуться в комиссию и переиграть. Вы уж извините!

По топоту ног и возникшей тишине я поняла, что они ушли. Я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор:

— Ушли?

Ирка сидела на голой кровати, которую мы уже успели вытащить из комнаты, и болтала ногами:

— Да выходите уж! Я их отправила!

Я начала яростно отстаивать свои права на главную роль в этой победе, но в этот момент раздался нервный стук в дверь. На пороге стояла симпатичная женщина с растерянным лицом:

— Мне сказали, что вы увели мою дочь. Где она?

Из комнаты выскочила Оля и бросилась к женщине:

— Мама, где ты была? Я так долго тебя ждала!

— Так ведь в конторе очередь. Вот только сейчас мне дали комнату, собирайся.

Теперь, кажется, настала Олина очередь отстаивать наши общие интересы:

— Нет, мамочка! Мы будем здесь жить! Нам уже дали комнату, и даже вещи перетаскивали.

— Ничего не понимаю! — сказала Олина мама. — А кто распорядился?

И тут я выступила вперед:

— Это я распорядилась! Она мне очень понравилась! — я притянула Олю за рукав. — И вам у нас понравится, честное слово!

— Но нельзя же поселиться без документов, — возразила Олина мама, — это самоуправство. Здесь должны жить другие люди.

— А они уже приходили и передумали. — проинформировала я. — И вместе с нашей мамой пошли в контору.

— Ничего не понимаю! — повторила Олина мама и повернулась к дочери. — Никуда не уходи, я все выясню.

Вот так они и стали нашими соседями на все годы войны. Женщину звали Фаина Яковлевна. Она была медсестрой и скоро стала работать в одном из эвакогоспиталей. Раненых было так много, что под госпитали отдали многие помещения, в том числе нашу школу. А нас перевели в соседнюю, в которой занятия проходили в 3 смены. Но нас интересовали совсем не школьные дела. Мы — дворовые ребята — взяли шефство над одним из госпиталей. Мы приходили туда в отведенные нам часы и занимались разными делами.

Часто писали письма за бойцов, которые не могли это делать сами. Особенно мы полюбили Васю Хишко, молодого, симпатичного парня, у которого не было обеих кистей рук. Под его диктовку мы писали его родителям очень бодрые письма, в которых он скрывал свое увечье. А однажды он попросил нас написать письмо своей девушке, во всем признаваясь и снимая с нее всякие обязательства. Письмо писала Ирка, а мы стояли рядом и ревели, и ему же приходилось успокаивать нас.

А еще мы помогали сестрам и нянечкам обтирать, переодевать лежачих и выносить за ними судна, и мы ничуть не стеснялись и не брезговали этой работой. Но самым интересным для нас, да, думаю, и для раненых были наши концерты, которые мы устраивали прямо в палатах. Обычно это происходило так.

На середину комнаты ставился стул, на который по очереди влезали «артисты» и изображали, что могли. Ирка читала какие-то дурацкие стихи, выученные еще в детском саду, мальчишки выделявали на полу замысловатые физкультурные упражнения, а мы с Олей пели. У нее оказался очень симпатичный голосок, и когда она жалобно вытягивала: «И пока за туманами видеть мог паренек...», — эти самые пареньки незаметно смахивали слезы, а потом усердно аплодировали. Мы даже разучили какой-то сногшибательный дуэт, в припеве которого были такие слова: Эх, жарны, парны, клецки варны...

Что означала эта тарабарщина, мы, конечно, не понимали, да и никто не понимал, но это было совсем не важно. Мы с упоением горланили, приплясывая и притоптывая. Раненые смеялись, сестры и врачи, хотя и качали головами, но тоже смеялись, и мы, гордые своим успехом, старались во всю мочь.

— Приходите еще! — обычно кричали нам вслед наши слушатели, и мы не заставляли их долго ждать.

Дома мы жили одной большой семьей. Мама с Фаиной Яковлевной так подружились, что все делали вместе — готовили, стирали, убирали и даже бегали в театры и кино. Война войной, но жизнь-то продолжалась. Вот только работа у них была разной. Фаина Яковлевна, как я уже говорила, работала медсестрой, а мама — учительницей музыки.

И все было бы хорошо, но мы с Иркой очень тосковали по отцу, от которого уже стали приходить весточки. Мы узнали, что он был ранен в ногу, лежал в госпитале, но сейчас уже поправляется и ждет отправки на фронт. А вот к Оле не приходили такие письма, и как-то я спросила:

— А почему ваш папа вам не пишет?

Она как-то странно заморгала и ничего не ответила. А присутствующая при этом моя мама позже мне сказала:

— Никогда ничего не спрашивай у нее про отца!

— Но почему? — удивилась я.

— Он живет далеко на Севере и пока не может к ним вернуться.

— Разве он не на фронте? — мне казалось, что все отцы должны были или воевать, или расхаживать по городу в военной форме. А здесь какой-то Север? Может,

это военная тайна, и он заслан в тыл врага? Хотя, опять же, какие враги на Севере? Я тут же схватила географическую карту и стала ее внимательно изучать. Ага! Вот откуда они лезут — с Северного полюса! А там, наверное, наши стоят и не пропускают их! Я прониклась искренним уважением к далекому Олиному папе, и предупредила Ирку, чтобы она никогда не задавала вопросов о нем — он засекречен!

Кроме тоски по отцу, нашему счастливому детству мешало еще одно обстоятельство — голод. Он все теснее и плотнее сжимал вокруг нас свое железное кольцо. Наши матери крутились, как могли, добывая пищу. В те годы все население города делилось на металлургов, строителей и... прочих. Лучшие всех кормили металлургов, потому что они выплавляли сталь, из которой делались танки, а танки — это победа на полях сражений! Строители тоже строили что-то важное. И их кормили похуже, но вполне достаточно. А вот на долю прочих, к которым относилась и наша семья, оставалось очень мало. И даже хлеба по карточкам нам давали значительно меньше. Добывать его каждый день мама поручила мне, проигнорировав ленивую Ирку. Моей главной задачей стало караулить тот счастливый момент, когда появлялась истощенная старая кляча, таща за собой будку с хлебом. От нее исходил такой дух, что наши голодные желудки начинали радостно урчать в предвкушении попадания в них этого самого хлеба. Мы часто напрашивались помогать сгружать товар. Иногда нам разрешали, и, бросая черные кирпичики в деревянный желоб, мы еще умудрялись подбирать в нем хлебные крошки. Потом мы бежали в очередь, которую заняли еще со вчерашнего вечера. Да, да! Я не оговорила! Хлебная очередь начиналась накануне. Обычно я и Оля подходили к магазину часам к 8–9 вечера, где уже толпился народ, и нам химическим карандашом писали на ладошке номер нашей очереди. Ночью наши мамы с этими номерами шли на переключку, а с утра мы с Олей снова подхватывали вахту. Правда, тут совсем некстати вмешивалась школа, и свои обязанности мне приходилось временно перекладывать на Ирку или маму, или даже на одну Олю, но чаще всего я, все же, успевала к привозу хлеба.

Но вот однажды, в этой самой очереди произошел случай, перевернувший многие мои представления о жизни.

Когда сгрузили хлеб, оказалось, что не хватает сколько-то там килограммов. Продавщица категорически отказалась принимать товар, и велела экспедитору все погрузить назад. Толпа заволновалась, загудела, требуя, чтобы продавали то, что привезли, а на недостающие килограммы составили акт. Перебранка продолжалась довольно долго, но, видя, как угрожающе покачивается цепочка прижавшихся друг к другу покупателей, продавщица сдалась, но добавила, что отовариваться будут только рабочие карточки. Что тут началось! Шум, гам, перебранки! Нас, детей, сразу же вытолкали из очереди, но терпеть подобную несправедливость мы не собирались. Колотя кулаками в чей-то живот, я, все-таки, протиснулась в свою очередь и хотела втащить в нее Олю. Но вдруг соседка из 4-го подъезда истошно закричала:

— Не пихай ее! Здесь семьям фронтовиков не хватает, а ты тащишь дочь врага народа!

Я опешила:

— Какого врага?! Что вы такое говорите?

— Самого настоящего! — продолжала кричать соседка. — Зря людей в тюрьму не сажают!

Я взглянула на Олю и увидела, что она вся сжалась в комок. Лицо побледнело, губы задрожали, а на глазах выступили слезы. Развернувшись, она побежала прочь от разъяренной толпы...

Вечером, едва дождавшись маму с работы, я все ей рассказала. Она вздохнула:

— Да, Олин отец репрессирован. Но ты уже большая девочка и должна понимать, что везде бывают ошибки. Олин папа не враг народа и скоро вернется домой.

Я недоверчиво посмотрела на маму. Нам в школе тоже говорили про врагов народа, которые так и норовили испортить жизнь честным советским людям. И мы их люто ненавидели и выкалывали глаза тем из них, кто попадал в наши учебники. А здесь — Оленька, ее мама! Такие добрые, хорошие! Разве мог их отец быть врагом народа?

В моей голове что-то начало раздваиваться. Я не знала, как мне к ним теперь относиться?

Дружить или проявлять бдительность? Любить или высказывать враждебность? «Враг народа!» — это не шуточки, это против всех нас, это против моего отца, который где-то воюет, чтобы защитить Родину! Мой патриотизм до того раздулся, что начал быстрыми темпами вытеснять мою привязанность и любовь к этой маленькой семье. Я старалась их избегать, и уже не брала Олю с собой в хлебную очередь. Она тоже избегала меня. Почти не выходила из своей комнаты и не просилась с нами в госпиталь. Мамы же наши вели себя, как и прежде. Фаина Яковлевна при встрече гладила меня по голове или расспрашивала про школьные дела. А я, наверное, напоминала маленького ежика, свернувшегося в клубок и готового отразить любую опасность. Ирка ничего не знала и не замечала, а мама, глядя иногда на меня, сердито покачивала головой.

А мне уже и самой надоело такое положение. Меня неодолимо тянуло к Оленьке, к ее кудряшкам, куклам, рассказам о Москве, из которой они уезжали в страшной спешке. Оказывается, у них был котенок, но мама не разрешила взять его с собой, и Оленька часто с грустью вспоминала о нем. Мне так хотелось ей помочь, что однажды я притащила с улицы брошенного котенка, но он оказался лишайным, и Фаина Яковлевна не разрешила оставить его дома. Мы отнесли котенка в подвал, и каждый день приносили ему еду.

И вот теперь ничего этого в моей жизни не стало, и было так грустно, хоть плачь...

...Я тихонько постучала в их комнату и приоткрыла дверь. Оля сидела на кровати, которую мы специально оставили для них, и что-то рассматривала.

— Можно войти? — робко спросила я, просовывая голову.

— Входи, — ответила она и улыбнулась так радостно, что мне захотелось подбежать и обнять ее. Но ничего такого я не сделала, а спокойно подошла к кровати:

— Что это у тебя?

Она прикрыла что-то рукой:

— Это наш семейный альбом, тебе не интересно.

— Ну, почему же? — запротестовала я — Давай вместе смотреть!

Поколебавшись, Оленька подняла руку, и я увидела фотографию мужчины в белом халате. В глаза сразу бросилось его, едва уловимое, сходство с Олей:

— Это кто? — с любопытством спросила я.

Она наклонилась и поцеловала снимок:

— Это мой папа! — и с каким-то вызовом добавила. — Он очень хороший!

— Тот, который... — начала я, но она меня перебила:

— Если ты считаешь, что он плохой, уходи!

Мне почему-то стало стыдно, и вместо ответа я спросила:

— Он был врачом?

— Он и сейчас врач! Лечит людей там, на Севере!

Я схватила ее руку:

— Оля, давай помиримся! Честное слово, я никогда больше не буду думать, что он плохой!

Она закрыла альбом:

— Ладно! Пойдем на улицу!

И мы, как и раньше, взявшись за руки, побежали во двор.

А вскоре к нам в дом вошло огромное счастье! Оно вошло в образе нашего папы, которому после госпиталя дали месячный отпуск. Нашей радости не было конца! Мы с Ирккой буквально висели на его руках, а он забавно встряхивал ими и говорил:

— Ну, нет! Теперь вас не поднимешь! Вы так выросли!

По такому случаю, мама организовала настоящий праздник. Пришли родные, друзья, и в комнату набилось столько народу, что многим не хватило места за столом. Тогда мы распахнули двери в смежную Олину комнату и составили сразу три стола. Все расспрашивали отца о делах на фронте, о его ранении, и он так охотно и радостно отвечал, что казалось, война — это совсем не страшно! И только его негнущаяся нога свидетельствовала о том, что на войне, все же, стреляют.

А потом все разошлись, и мы стали растаскивать столы и стулья. И вот тут папа обратил внимание на Оленьку:

— Это чей же такой ангелочек? — спросил он и поднял ее на руки.

— Это наша соседка, — ответила Ирка. — Они из Москвы!

— Беженцы? — обратился он к Фаине Яковлевне. — Намучались, наверное?

— В дороге было всякое, но здесь мы попали к замечательным людям. — она повернулась к маме. — Если бы ни вы..., — и слезы потекли у нее по щекам.

— Ну, что ты, Фаина! — мама обняла ее. — Мы же, как сестры!

Мы с Ирккой облепили отца с двух сторон и закричали:

— Мы тоже с ней, как сестры!

— Замечательно! — рассмеялся папа. — Значит, теперь у меня не две, а три дочки!

Мы захлопали в ладоши, но тут произошло нечто непредвиденное. Оля вдруг уперлась кулачками в грудь отцу и тихо, но твердо сказала:

— Нет, у меня другой папа! Отпустите меня!

— Оленька! — засмеялась Фаина Яковлевна, стараясь загладить неловкость. — Это же шутка! Никто не отбирает у тебя твоего папу!

Но та решительно повторила:

— Отпустите меня!

Папа высоко подбросил Олю, потом поцеловал в щечку и опустил на пол:

— Вот это верность! — с восхищением сказал он и потрепал ее по кудряшкам.

Время близилось к полночи, и мы стали расходиться по своим комнатам. Последнее, что я заметила — грустный, но такой добрый взгляд, который Оленька задержала на моем отце.

Зинаида Носкова



ПИСЬМА ИЗ ДЕТСТВА

Была большая страна — СССР. Потом распалась на несколько отдельных государств. И это отразилось на судьбах многих людей. Не все русские смогли покинуть ближнее зарубежье. Оказались разделенными государственной границей и две подружки, которые учились вместе в начальных классах, а потом одна уехала в Россию, а вторая осталась в Казахстане. И более 30 лет они писали друг другу письма. Предлагаем вниманию читателей строки из них, потому что в них нашли отражение и СУДЬБЫ, и ВРЕМЯ.

* * *

Начало 60-х годов — какой-то особый период в жизни нашей, тогда еще большой страны. Юрий Гагарин — в космосе, Ван Клиберн — в Москве, восторженное настроение в обществе, согретом годами «оттепели», и лозунг: «Подрастающее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Подрастающим поколением были мы — ученики начальных классов средней школы имени В. Г. Белинского. Мы знали, что это сказано о нас, и гордились тем, что так заботится о нас наша большая страна.

В нашем классе были дети разных национальностей. Саша Тетерин, Алик Батыев, Петя Красовский, Валера Мирошниченко, Рая Шарипова, Люба Чемис, Галя Рева, Фатима Ибрагимова, Эмма Сабель, Садык Тынгишев — фамилии этих ребят говорят сами за себя. Но никто не думал об этом. Главным критерием была учеба — в те годы в школе царил культ хорошей учебы. Только в одном нашем классе было 15 отличников.

С тех пор прошло более 30 лет. И все эти годы пишет мне письма из Каскелена моя подруга Алла Шкитина. Хочу привести некоторые места из ее писем.

«Спасибо за бандероль! Очень интересные ты мне прислала книжки. Загадочной для меня остается «историческая родина» — Россия. Пытаюсь представить себе, какая она. У нас тут всюду горы. И из любой точки видны сверкающие на солнце вершины Тянь-Шаня. Как это — когда до самого горизонта — небо? И бесконечные поля? И «многозвучное дыхание зеленого леса»? Не понимаю...

Ясную Поляну знает весь мир. И как это, наверное, здорово, что в любой день можно поехать туда, походить по дому, где жил и творил великий писатель, поклониться его праху... Главное, что все это реально существует. Для меня же, из моего далека все это, как сказка. Вернее, часть русской литературы, которую когда-то изучала в школе и которую теперь изучают мои дочери Маринка и Галинка.

Теперь вместе с ними я, кажется, изучаю это все во второй раз. Мы часто

спорим. Девчонки считают, что толстовские героини настолько далеки от нас по времени, что у нас с ними не может быть ничего общего. А мне кажется, что типы, которые создал писатель, вечны. Каждая из нас может полюбить, как Анна Каренина, может стать такой же опорой в жизни, как Наташа Ростова. А кто застрахован от горькой участи Катюши Масловой? А Наташа Ростова, по-моему, это вообще какое-то особенное создание Толстого. Я поняла это только много лет спустя после школы. Я, кажется, догадываюсь, почему моим девочкам она кажется ужас какой несовременной: и до замужества, и после она замкнута кругом семьи. А мы так воспитаны, что одной из личностных характеристик женщины у нас служит профессия. А кто такая Наташа? Домохозяйка, многодетная мать, в прошлом, правда, неплохо поющая и играющая на фортепиано. «Почему она преподносится нам как идеал?!» — возмущенно недоумевает Маринка. Не знаю, правильно ли я делаю, но я возражаю так: в Наташе есть главное — характер, то есть тот стержень, который позволяет ей быть опорой не только своей семьи, но и других людей, которые с ней соприкасаются. В то время, когда она жила, вернее, в которое поместил ее писатель, главным назначением женщины считалось рожать и воспитывать детей. Впрочем, это было актуально во все времена... Но вместе с этим в последние годы жизнь стала предъявлять к женщине и другие требования. И с таким характером, как Наташин, женщина в любом времени не потерялась бы. Думаю, что во времена нашей молодости она была бы где-нибудь на комсомольской стройке или в отряде космонавтов... Я где-то читала про Марину Попович: и девочек хороших воспитала, и самолеты испытывает, и стихи пишет, и женственна, и обаятельна. Так что главное — это характер. Вот так мы читаем Толстого. Знаешь, а я ведь в своем школьном сочинении тоже осуждала Наташу: разве должна женщина ограничивать себя рамками семьи? Но, став взрослой, я поняла мудрость Толстого: муж и дети требуют столько внимания! И вот теперь тоже, как Наташа Ростова, только семьей и занимаюсь. Но муж мой, увы, не Пьер Безухов, чтобы обеспечить нам надлежащий материальный достаток. Недавно видела Галю Реву. У нее та же ситуация: дом полон детей и все заботы вокруг этого».

Я понимаю, трудно представить себе Наташу Ростову с комсомольским значком. Но не надо падать в обморок от таких рассуждений моей подруги. Мне кажется, в них присутствует здравый смысл. Вспомните: ведь в образе Наташи Толстой стремился воплотить лучшие черты русской женщины. Нечто подобное этим рассуждениям и мне приходило в голову несколько лет назад.

Училась в нашей школе девочка — Надя Бабышева. Занималась спортивной гимнастикой, поэтому и осанка, и походка у нее были — любая манекенщица позавидовала бы. Надя красиво танцевала и выразительно читала стихи, так что была непременной участницей большинства школьных мероприятий. Но главное — все годы учебы Надя была отличницей. У нее было стремление во всем дойти до сути. И всегда говорила правду. Неоднократно избиралась Надя секретарем комсомольской организации. Так чем уступает она толстовской героине? Своей грацией Надя украсила бы любой светский бал, своей эрудицией — любой разговор. За любимым в Сибирь, как жены декабристов? И на это характера хватило бы. Кстати, о характере. С шестого класса Надя мечтала стать астрономом. Это редкая профессия, но она своего добила — сейчас работает в обсерватории в Благовещенске.

* * *

У нас на факультете журналистики Московского университета лекции по русскому языку читал один из потомков великого писателя — Илья Владимирович Тол-

стой, а на нашем курсе учился его сын Володя. Главное, что бросалось в глаза и подкупало в этих людях — это простота и скромность. Ни в том, ни в другом не было даже тени ощущения какой-то своей исключительности и превосходства над другими. Это информация к размышлению для тех, кто считает себя центром Вселенной или хотя значительной фигурой в окружающей местности. О своих впечатлениях от встреч с ними я тоже писала Алле. И вот читаю в одном из ее писем:

«Видела по телевизору твоего университетского преподавателя — потомка Льва Николаевича Толстого. По-моему, между ними есть даже внешнее сходство. Обаятелен! Интеллигентен! Красивая правильная речь. И рассказывал интересно. Интересно также было смотреть и встречу потомков великого писателя в Ясной Поляне, и вот на какие все это навело меня на размышления.

Ведь каждый из нас откуда-то «вышел», только не каждый помнит свою родословную. А сколько еще таких семей в России, уходящих своими корнями в прошлые столетия. Вот она и связь времен! А сколько в общем-то родных друг другу людей разбросано по свету! Наверняка у тех русских, что живут в Канаде, есть родственники под Тулой или в Казахстане. Или предки похоронены на территории нашей страны. Граница, языки — все условности. Люди — они везде люди...»

«Не представляю тебя журналисткой. Помню тебя беленькой девочкой с косичками и тоненьким голоском от застенчивости. Что помогло тебе так измениться? Как удалось воспитать в себе необходимые качества?»

«После школы все как-то сильно изменились, повзрослели, возмужали, многих просто не узнать. Помнишь Сашу Грекова? Учился-то он слабенько, а избрал карьеру военного. А сестрица его Любаша стала медсестрой. А Вовка Токарев — передовик производства, его фотография много лет висела на центральной площади. И Толик Таранов тоже с ним работает, только каким-то руководителем. А Витя Калашиников — «Калач из пресной затирки» — профсоюзный лидер. Очень хорошо отзываются о его работе, особенно женщины. Недавно одна со слезами на глазах рассказывала, как он ей помогал ребенка в сад устроить. Чего не услышишь на нашей медицинской работе! А сам он все такой же улыбочивый и речь такая же — «фля-фля-фля». А какая добрая слава! Вот тебе и «Калач»!»

«Нина Ревякина, кажется, была на партийной работе — ты же помнишь: она всегда старалась быть заметной».

«Ты спрашиваешь про Юру Малышева. Ничего не могу написать — не знаю. После школы он как в воду канул. Только «канул» он, как мне кажется, куда-нибудь в науку, в самые высокие ее интеллектуальные слои. Не мог мальчик с такими ярко-выраженными способностями стать заурядной личностью. Поди, где-нибудь в закрытом КБ ракеты проектирует. Когда космонавт с таким именем и фамилией появился, подумала: не наш ли? Я бы не удивилась, если бы это был наш Юра. Как ты называла его? «Самолуб?» Достукался парень — видно, было за что...»

Юра Малышев. С годами я все чаще вспоминаю этого мальчика. С высоты возраста мне все яснее видится его светлый ум, его неординарные способности. Учась наравне со всеми, он успевал удивительно много. Например, на уроке чтения он не только принимал активное участие в работе класса, то есть бойко читал и отвечал на вопросы, но и тайком от учительницы выполнял домашнее задание на следующий день. На уроках чистописания параллельно читал художественную литературу. А в освободившееся таким образом время бежал в библиотеку или в какой-нибудь кружок. Права Алла: такое интенсивное накопление знаний в будущем должно было принести свои результаты. Он уже тогда по своему развитию обгонял нас и о некоторых предметах рассуждал как взрослый.

Откуда возникло это прозвище «Самолюб»? И тут права Алла — недаром, потому что Юра не любил делиться тем, что имеет, с одноклассниками. О списывании и подсказках речи нет. Но он никогда не снисходил до того, чтобы объяснить однокласснику то, что тот не понимает. Спросят его: «Как решить задачу?» «Я решил,— говорит,— а вы думайте». И высокомерно улыбается. Или «Как ответить на такой-то вопрос?» «Я знаю,— говорит Юра,— и вы тоже знать должны». Боялся соперничества или опасался что, воспользовавшись его объяснением, кто-то сможет хорошо ответить, а он сам при этом останется в тени?

Юра долгое время был неизменным моим соседом по парте. И хотя я хорошо училась и в его подсказках не нуждалась, меня задевало его высокомерное отношение к одноклассникам. Но больше всего бесила промокашка, которой отгораживал он от меня свою тетрадь во время контрольных работ. Мы решали разные «варианты», к тому же я никогда не списывала, поэтому эта мера предосторожности с его стороны была излишней, однако мое самолюбие отличницы было уязвлено. Вот, видно, в такую минуту и вырвалось у меня это определение. А дальше было совсем смешно — Юра обиделся и пожаловался своей маме, та — учительнице, а та вызвала мою маму. Долго пытали они меня втроем, требуя повторить им это определение. Но я выдержала натиск. А сейчас думаю: зачем промолчала? Надо было высказать все начистоту, была бы им информация к размышлению. Может быть, с годами Юра изменился, но в критической ситуации мне не хотелось бы оказаться рядом с ним: не уверена, что такой человек в любых обстоятельствах может подать руку помощи.

Здесь каждый дом найдем, хоть глаза завяжи...

«По-разному складывается личная жизнь наших одноклассников. Мальчишки переженились, девчата повыходили замуж. Хорошо знаю жену Коли Назарова — он оказался у нас отличный семьянин. И Вовка Токарев хорошо живет. А Митя Скударнов несколько раз разводился. Все какие-то скандалы, любовницы... А Колю Терехина помнишь? Тоже была история... Как узнать, кто кому нужен и кто для кого создан? Знаю: твой идеал — Андрей Болконский. И мой тоже. Но где найти тот идеал? И если всем они нужны, то, как говорит Люба Чемис, где набраться столько идеалов?»

Самым красивым мальчиком в классе был Петя Красовский. Но это сейчас я понимаю, что это так, а тогда я не видела в нем ничего особенного. Мне очень нравился Алик Батыев. Внешность у него была обыкновенная, но была в нем какая-то поразительная внутренняя сила, которую признавали все. Он не был таким блестящим отличником как Малышев, скорее твердым хорошистом с пятерками, но не это в нем было главное. Главное то, что в нашем ребячем коллективе он был авторитетным человеком, как теперь говорят, лидером. Лидер — это ведь не тот, который выше всех и не терпит над собой никакой власти, а тот, за которым в коллективе последнее слово. Так вот, я помню, что все в классе по любым вопросам советовались именно с Аликом, и за ним всегда было последнее слово. Все знают, что начинается в классе, если учитель выходит за порог или долгое время отсутствует. Вера Васильевна могла спокойнее отлучаться, оставляя за себя Алика. И хотя он сам не прочь был принять участие в какой-нибудь свалке или мог оказаться в числе организаторов самовольного похода в кино, ему удавалось без особого труда поддерживать порядок в ребячем коллективе. Разнимая дерущихся, ставил «точку» в споре, утешал, подбадривал — Алик всегда был в гуще жизни. Принимая во внимание его способности, Вера Васильевна рекомендовала именно его избрать председателем нашего первого пионерского отряда. И с этой миссией он справлялся спокойно и достойно.

Алик был моим соседом по парте еще до Малышева. Ему были свойственны постоянное присутствие духа и чувство юмора, поэтому сидеть с ним рядом было спо-

койно и весело. Наверное, нам было слишком хорошо вместе, поэтому мы много разговаривали на уроках и часто отвлекались, что все и погубило — учительница вскоре рассадила нас. Для меня это было настоящим горем, я даже плакала от досады. И хотя Алик теперь сидел позади меня и время от времени участливо поправлял мне то воротничок, то бантик, все равно это было горе. А рядом сидел Юра Малышев со своей несносной промокашкой! Алику такая глупость никогда бы и в голову не пришла...

«Видела как-то Алика Батыева. Думаю, что взрослый он тебе несколько не понравился бы: небольшого роста, черный и сильно конопатый...»

Господи, да какое это имеет значение? Даже сейчас, через годы, мне видится прекрасная, светлая душа этого мальчика.

«...Говорил, что у него неприятности на работе, какой-то затяжной конфликт с начальством. Ты же знаешь, начальники у нас не любят умных и принципиальных подчиненных. А я уверена, что Алик прав, ему ведь никогда не изменял здравый смысл. Сказал, что тебя он помнит...»

Спасибо, Алик! Я тоже часто вспоминаю тебя, особенно на крутых виражах жизни. И пусть твоим окружающим будет также светло и комфортно от твоей прекрасной души...

«Каскелен за последние годы сильно расстроился, так что ты, Зина, его не узнала бы. Жаль, что ты так и не собралась к нам в гости. А наша улица совсем не изменилась — те же маленькие частные дома, только постарели. Школа наша стоит все такая же — хорошая была школа, ведь правда? Городской парк сильно разросся, а домик ваш двухэтажный, что рядом с ним, все еще цел. И там по-прежнему живет кто-то. И танцплощадка, куда мы бегали слушать музыку и смотреть, как танцуют взрослые ребята и девушки, тоже цела и даже действует. А Дом культуры, что в парке, сильно обветшал, совсем разрушается без ремонта. Помнишь наш балетный кружок? Посмотрела бы на нас наша изящнейшая Наталья Сафроновна, какие из нас получились балерины. Все мои размеры одежды начинаются за 50...»

«Видела как-то твою соседку по дому и подружку Наталью Исаеву. Она здесь не живет, видно, приезжала в гости. Очень хорошо и модно одета, прошествовала с задранной носом по другой стороне улицы на своих высоких каблуках. Поговорить не удалось, поэтому, где она живет и кем работает, не знаю. Возможно, она и не разглядела меня — далеко было, а, возможно, и не узнала, я ведь тоже сильно изменилась, пополнела. А, может, она меня уж и не помнит, хотя у нас столько общих фотокарточек».

Я часто рассматриваю те детские фотокарточки. И вспоминаются то деревья в пушистом инее, то тротуары, покрытые плотным ковром желтой листвы, то беленькие фартучки с крылышками, то запах новых книжек и тетрадок. И вижу, как мы все вместе идем в школу. Раньше всех из дому выходят близнецы — Люба и Саша Грековы, потому что живут дальше всех. Вскоре к ним присоединяемся мы с Аллой. Затем из своего переулочка появляются Нина Ревякина и Галя Рева, Толик Таранов и Алик Батыев. На полпути к школе к нам присоединяется Саша Тетерин. Откуда-то из переулочка как всегда внезапно возникает улыбающийся во весь рот Витя Калашников. И уже почти у школы к нашей ватаге примыкает по-шпионски тихо Павлик Гацке. Все наше дружное звено в сборе. Звеньевой — Тетерин. Мы с Аллой — санитарки. Впрочем, роли менялись. Санитарками в разное время были и Нина, и Галя, и Люба, санитарями — Витя Калашников и Саша Греков. Ревякина и Батыев попеременно были председателями совета отряда.

Наташа Исаева была на год постарше, но часто шла в школу вместе с нами. Она жила с матерью и братом на втором этаже. Ее мама работала на почте бухгалтером и считалась образованным и интеллигентным человеком. Наташа и в манере говорить,

и в осанке старалась подражать матери, поэтому было ощущение, что она постоянно играла какую-то роль. Но, в общем, она была хорошим человеком. Целыми днями мы могли играть вместе. Как-то в унисон работало наше воображение: мы сочиняли сказки, в которых сами были участницами действия, придумывали и рассказывали друг другу какие-то истории. У них был телевизор «Рекорд», но не такой, с линзой, как наверху у Сосиных, а с большим экраном. Вместе мы смотрели кинокомедии, «мультки». Думаю, что именно в эти годы и закладывалась основа моей будущей профессии. Конечно, за участие в этом я очень благодарна Наташе Исаевой.

«Как трудно стало жить! Все меньше остается русских в Каскелене. Нас вроде бы не притесняют, но отношение уже не то. А куда ехать? В России никого родных нет. И потом — почему я должна уезжать? Здесь — моя родина, мой дом, здесь родились и выросли мои дети. И я люблю этот город, другого такого ни в какой России нет!..»

Когда мы уехали из Казахстана, я долго скучала по Каскелену. Много лет по ночам снились знакомые места. Казахстан — ведь и моя родина. Очень трудно привыкать к мысли, что теперь это зарубежье, хоть и ближнее...

«Наших никого не вижу, возможно, некоторые и уехали. Слышала, что Коля Назаров был кандидатом в депутаты. Кажется, не прошел. А Баранов, помнишь, был большой такой, второгодник, то ли в священнослужители подался, то ли партию какую-то создает. Какую тут можно создать партию? Если только рэкетиров. Придет завтра такой Баранов с молодчиками и скажет: «Выкатывайся, мать, из дома, иди, куда хочешь». А Тынгишев, бывший одноклассник, и в упор не узнает. Ну, и времена пришли... Конечно, надо надеяться, что до этого не дойдет, но жить стало очень неудобно. Ты права, Зина, иногда так хочется вернуться в детство или в какой-то другой период жизни, и чтобы не видеть всего этого, остаться там навсегда»...

Или побыть там какое-то время, чтобы отрешиться от суеты, очиститься от хлама, нанесенного повседневностью и набраться сил для будущего. Таким прекрасным источником является наше детство и наши воспоминания. Пусть же они не блекнут с годами.

Роза Нарышкина
(г. Алексин)



Активный член литературного объединения г. Алексина. Лауреат I-го фестиваля поэзии и бардовской песни. Участница сборников, выходивших в Алексине и в Туле. Автор поэтических сборников «Люблю тебя, мой край», «Цветы запоздалые осени», «Любовь не может умереть». Готовит к изданию четвертый сборник стихов, пишет прозу.

МАРИЯ

Шла война, 1944 год. Мария, мать троих, еще довольно маленьких, детей, наконец, получила вызов от мужа. Григорий, тяжело раненый в бою, отлежался в госпитале и был направлен командованием на тыловую работу в должности военного комиссара. Позади бои за Сталинград, Курск, Орел, родная Украина и боевые товарищи. Он волновался. Прошло четыре года войны, как на перроне дальневосточного вокзала он простился с любимой женой и тремя детьми. За семьей отправил своего завхоза, снабдив чемоданом с сухарями и еще кое-какими продуктами — дорога предстояла дальняя.

* * *

В годы войны Мария с детьми оказалась в эвакуации далеко от военного городка, расположенного в городе Свободном Амурской области. Вместе с другими семьями она попала в село Серебренниково Алейского района. Это Алтайский край, богатый своей природой и людьми. В дождливую погоду добирались на подводах, не зная, где приклонить голову. На сердце смутно; дети, измученные долгим переездом, спали. Мария, продрогшая от моросящего дождя, сидела в повозке задумчивая и растерянная. «Господи, что будет с нами? Как жить?» — в тоске думала она.

На первых порах их приютила старая женщина:

— Проходите, дорогие, устали, поди, с такой дальней дороги...

— Спасибо вам, вы добрая женщина...

— Садитесь, сейчас я вам разогрею щей и пельменей принесу, сварим быстро.

В избе было тепло и уютно. С печки глядели глазки девочки-подростка. Она приветливо улыбалась. Потом ели пироги с калиной, выпеченные по сибирски, но это уже за ужином, когда согрелись, пообвыклись в избе бабушки Катерины. Постепенно боль души стала утихать (можно жить и здесь).

Первое время Мария меняла вещи на продукты, сохраняя только сапоги и военную форму мужа, твердо верила, что пригодятся, когда вернется. От бабушки Катерины она с детьми перебралась в маленькую комнатку с крылечком, выходящим на улицу. Ей как многодетной солдатке председатель колхоза выделил жилье (бывший магазин на селе), устроил на работу, так что стало жить полегче. В конце рабочего дня Мария приносила рыбу, картошку. У нее появились в селе подруги из местных жителей, у которых мужья воевали, как и ее Григорий.

* * *

Село, куда съезжались из разных концов страны люди, довольно большое, и протянулось оно вдоль озера, где водилось много рыбы. Мужчин в селе не было, не считая стариков, всю тяжесть работы несли женщины: валили лес, пилили бревна, косили в поле. Бывало, идут рано на работу, детей прихватят, чтобы после колхозной каши да молока попили. Малышей приглядывали старшие. Идут бабы на работу, подолками трясут да ведут в своей одинокой жизни разговор:

— Вот жизнь пошла! Одна маета! Хоть бы какого завалящего мужичонку!

— Ишь, чего захотела. Терпи, товарка, война идет...

— Война-то идет. Да когда она, проклятая, кончится? Пока дождешься ее конца, всех мужиков перебьют!

— Да ты что, Евдокия, белены объелась с утра? — разозлилась идущая рядом Анна.

— Время-то какое трудное, бабоньки! Им там ох как тяжело! Молитесь, чтобы вернулись.

— Молись не молись, все равно не все вернутся, родимые, такая наша доля... — с горечью проговорила Катерина, солдатка, у которой погиб сын в первый год войны.

— Господи, что это вы сегодня раскудахтались? Забот что-ли мало? Оглянитесь — вот о ком подумайте!

Позади женщин шла старшенькая дочь Марии Леночка, рядом плелись еще две девчушки; подружки, слушая разговор взрослых, пересмеивались между собой, потом запели частушки. Вечерами они бегали на сходки и вместе со взрослыми орали песни, слушали их шутки, прибаутки.

По ночам, лежа в одной кровати вместе с детьми и прижав их к себе, Мария молилась, обращаясь к Богу: «Господи, помилуй и сохрани моего Григория, не дай погибнуть отцу моих детей!» Иногда она вела тайный разговор с мужем, как будто он был рядом: «Постарайся выжить, ради наших детей вернись, родной!»

Однажды в село приехал с фронта муж подруги Марии — Сергей Кобылянский. Худой, голова седая, как лунь. Глядя на молодое лицо солдата, женщины плакали, расспрашивали, как им там с немцами и какие они, эти изверги, напавшие на родную землю. Ясное дело — жестокие! Сердце Марии трепетало, писем не было давно от Григория. Неужто и ей суждено овдоветь, сколько уже похоронок пришло на село! И вдруг — треугольничек из госпиталя: жив, скоро будет здоров, а пока... после ранения на лечении. Мария верила, что Григория спасли ее молитвы и большая любовь, согревающая его на расстоянии. Жив! Жив мой муж! И работалось споро, она чувствовала, что скоро увидит его. А на сердце легла тревога: что с ним, может быть, и ноги или рук нет после ранения?

* * *

Поезд остановился на несколько минут и надо успеть с детьми и вещами погрузиться... Хотя какие вещи! Николай Иванович, приехавший за ними, помогал ей, потому что на перроне началось столпотворение: люди лезли напролом к поезду, задев друг друга мешками, чемоданами. Мария несла на плече небольшой чемодан с вещами детей, другой рукой крепко держала самого маленького своего ребенка — девочку Валентину, которой было около пяти лет. Сына держал Николай Иванович, покрикивая на самых нахальных. Леночка помогала матери, которая боялась потерять детей и громко охала. Вагон забит до отказа, но надо как-то устроиться, ехать не одни сутки. Пока Мария осматривалась, где и как можно расположиться, раздался голос с верхней полки вагона:

— Мамаша, давай сюда сероглазую! Не волнуйся, мы ее не обидим.

— Да у вас самих теснота, вам ее еще не хватало.

— В тесноте да не в обиде, правда, красавица?

Леночка, потупив глазки, покраснела, посмотрела на мать.

— Давай, мать, тебе же трудно с тремя-то!

— Иди, доченька, я рядом. Это молодые летчики, они едут на фронт бить немцев.

Так Лена оказалась среди ребят, недавно окончивших летное училище и ехавших из Сибири на фронт. Они беспечно смеялись, шутили, будто ехали на прогулку или на экскурсию. Мария смотрела на них, и сердце ее сжималось: что они видели в этой жизни, такие юные..., могут и не вернуться с поля брани.

Леночка быстро подружилась с летчиками, радостно рассказывала им о своем папе-фронтовике и что едут они с мамой к нему, потому что он был тяжело ранен, его вылечили в госпитале и теперь он не может ехать на фронт. «Папа у нас военный и очень храбрый!» — с гордостью сказала Лена. Ребята угощали ее шоколадом (девочка и вкус его забыла), кормили тушенкой из баночек, еще чем-то из летных пайков. Ехали около пяти суток, на вокзалах приходилось долго простаивать — пути забиты. Ребята пели хорошие песни, Лена не отставала. Особенно она запомнила потом, когда расстались, песню о Москве:

*Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге...*

И звонко, на весь вагон, выпевали слова песни:

*Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!*

Навсегда запомнит девочка Лена эту встречу, этот молодой смех. Красивые, добрые, улыбчивые, летчики ехали защищать родную землю, Родину и ее, девочку Лену.

Поезд подошел к станции Волово, не перроне стоял военный при орденах, ласково улыбался.

— Дети, это ваш папа. Идите к нему, он ждет вас, — радостно, со слезами в глазах, сказала Мария.

НЕ КО ДВОРУ

Два года переписки изменили ее решение. Ехать или подчиниться Судьбе, так немилосердно устроившей ее жизнь?!

«Ехать!» — решила Анастасия, и сразу стало легко на сердце. Поезд уносил ее в Россию, где прошли годы детства и юности. Незабвенный край! Забытое прошлое, где она была счастлива молодостью и первой любовью.

Начало октября. Земля укрылась золотисто-багровой листвой, замолкли голоса птиц, и лишь где-то высоко в небе слышится отдаленное курлыканье журавлиной стаи. Ах, как славно! На сердце теплеет, хотя наступила осенняя прохлада, а там и... зима с ее морозами и метелями, но до нее еще надо дожить.

— Девочка моя! Как я рад, что ты решилась! Все будет хорошо, поверь! — воскликнул Василий Иванович, впервые обнявший и поцеловавший ее после долгих лет разлуки.

Настя смотрела в васьиковы глаза старого друга и не могла осознать до конца счастье встречи. На протяжении многих лет он оставался близким и родным человеком, она верила ему. Время, неумолимое время, разлучило их надолго — и состарило обоих. Она еще молодцом, а он... уже побежало за семьдесят. Годы, годы... Но сердце любит, оно не угасло, оно надеется на взаимность.

— Дорогой Василий Иванович! Я тоже верю, у нас будет все хорошо, хотя дети...

— Да, дети... — задумчиво проговорил он, потом, тряхнув головой, как бы отмахнувшись от плохих мыслей, проговорил:

— Не волнуйся. Со временем они привыкнут, мать все равно не вернешь.

Незаметно пришла зима. На дворе похолодало, а в доме поселилось позднее счастье, согревающее душу. Оно разрасталось с каждым днем и стало таким большим, что отозвалось в других домах печалью. Они налетели, вихрем сметая все на пути, когда птицы запели в парке, зазеленели клены и березки, зацвели сады. Природа обновлялась, наполняя сердце радостью и надеждой на счастье.

— Зачем она появилась в нашем доме? — закричала одна дочь.

— Где ее носило до сих пор? Откуда она взялась? — подхватила другая.

Отец молчал, опустив голову на стареющую грудь, чувствуя себя виноватым в том, что позволил себе быть счастливым. Настя, не ожидая такого бурного натиска, растерялась, не решив пока, что делать.

— Вы хотите, чтобы я ушла? — спокойно спросила она у молодой дочери, приехавшей из Москвы.

— Да-да, — с надеждой в голосе ответила дочь, насмешливо блеснув глазами.

— Я уйду, если отец скажет мне: «Уходи!» — Нет, он не скажет это, я знаю.

И все же, хорошо подумав, Настя ушла из чужого дома, но только чтобы эту беспокойную ночь прокоротать у друзей Василия Ивановича. А утром... будет так, как решит ее старый друг. После работы она не вернулась в этот дом, и Василий Иванович забеспокоился всерьез: «Как же она, голубка, теперь без меня? Я должен ее вернуть», — сказал себе и начал звонить друзьям, разыскивая потерю.

— Не вздумай ее искать! — закричала старшая дочь.

— Пусть только вернется! — проговорила младшая, усевшись на диване и закулив сигарету.

Василий Иванович, схватившись за сердце, тихо повалился навзничь. «Скорая» определила: инфаркт, и увезла в больницу.

Счастье, когда оно вызывает зависть, бывает таким хрупким и ненадежным — Настя поняла, что дети ее не любят, им нужна лишь материальная поддержка. Покричав и погрозив: «И не приедем, и хоронить не станем!» — уехали.

Василий Иванович лежал, уставившись взглядом в одну точку. Он был бледен и молчалив. «Как же случилось, что я вырастил их эгоистками? Все, кажется, было у них, ни в чем не нуждались...», — рассуждал он про себя. Говорить ни с кем не хотелось, да и сил не было после стресса.

— Добрый день! — раздался над ним знакомый голос. Перед ним стояла его любимая Настенька и нежно улыбалась.

— Здравствуй! — тихо, одними губами прошептал Василий Иванович.

— Тебе легче? — Он кивнул в ответ.

— Не волнуйся. Я не оставлю тебя, слышишь, никогда! Мы будем вместе до конца, верно?

Он снова кивнул, и в синих глазах появились непрошенные слезы. Он слегка сжал ее руку, благодаря за любовь и верность. А в окошко пробился весенний луч солнца, предвещающий надежду на долгое счастье.

Генриэтта Назина

(п. Таловая Воронежской обл.)



Назина Генриэтта Михайловна родилась 5 июня 1937 года в р. п. Таловая. После окончания средней школы поступила в Орловский государственный педагогический институт на факультет иностранных языков и получила специальность учителя французского и немецкого языков. В течение шестнадцати лет работала преподавателем французского и немецкого языков, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Двадцать два года отдала профессиональной журналисткой работе в качестве корреспондента. Печаталась в «Российской газете», «Литературной газете», «Учительской газете», областных газетах «Молот», «Белгородская правда», «Ленинская смена», «Коммуна», «Берег» и ряде других. Пишет прозу и стихи. Вышли в свет ее книги: «Теплая капелька», «Приключение Зайки и его друзей», «Колобок-Скок-Скок», сборник рассказов «Соблюсти душу». Рассказы печатались в литературно-художественном альманахе «Верхний Дон», областных газетах «Коммуна», «Берег», «Здравствуй».

Мужу Назину Николаю Ивановичу посвящаю.

СОБЛЮСТИ ДУШУ

Волки мчались вдоль дороги с обеих сторон, сжимая клин, чтобы перехватить лошадь спереди. Дорога пошла лесом. Санки замотало по колее. Справа от дороги сквозь деревья мигнул фонарь. Жеребец Яшка без понукания свернул на огонек и с размаху остановился под светящимися окнами избы лесника. Три волкодава выскочили со двора и залились в темноту хриплым лаем. Ефим Алексеевич оглянулся. Волки, глухо рыча, расположились полукругом, медленно подступали. Крупный волк и волкодав уже взметнулись в воздухе, чтобы сцепиться в смертной схватке. Ефима Алексеевича охватил ужас от приближавшихся глаз зверя. Он закричал и очнулся....

Душная тьма одиночной камеры поглотила его крик. Он вспомнил, что находится в тюрьме. Сел на топчане. Хотелось курить. Сглотнул слюну, чтобы заглушить подступающую тошноту. Ныло раненое в гражданскую войну плечо. Вчера его пытались избить в общей камере три уголовника. А может, и убили бы, не будь при нем припрятанного железного прута. Передал его на свидании старый товарищ — следователь местной прокуратуры, с которым работал когда-то в Хлевном.

— А-а-а, стерва прокурорская! — свистел щербатым ртом рыжий вор, пытаясь зайти сзади. У него была в рукаве финка. Через минуту рыжего уголовника с разбитой головой утащили в медпункт. Двоих сокамерников отправили в карцер. Ефима Алексеевича перевели в одиночную камеру.

Начальник тюрьмы, хорошо знавший Ефима Алексеевича (вместе были на военных сборах в Коротояке), вечером вызвал его к себе в кабинет. На столе стояла бутылка водки, лежала приготовленная закуска.

— Ты пойми мое положение, Ефим. Везде уши! — Лаптев опрокинул полстакана водки в рот, хрустнул соленым огурцом. — Твоего бывшего начальника вчера — тютю. Вот уж гад из гадов был! Скольких хороших ребят погубил. Солодова помнишь?

— Конечно, — кивнул Ефим Алексеевич. — Вместе на Дону шашлыки на сборах жарили. Он в Лисках начальником транспортной милиции был.

— В Боброве в прошлом месяце расстреляли. А Шлыкова на Колыму загнали.

— Саньку-то Шлыкова за что? — удивился Ефим Алексеевич.

— Не поверишь: своему заму анекдот, услышанный от политических, рассказал. А тот и настучал. Теперь на месте Шлыкова сам прокурорит. Кури, брат, — Лаптев протянул коробку с папиросами. — Хорошо, Ефим, что на тебя уголовное дело успели завести, а то бы не миновать тебе северного направления.

— Жалею, что не убил этого подлеца! — вспыхнул Ефим Алексеевич.

— Скажи спасибо, что только морду ему разукрасил, да и свидетелей с вами не было. А то бы... — Лаптев махнул рукой.

Ефим Алексеевич нащупал кружку с водой, выпил ее до дна. Сон не шел. Воспоминания вонзились тупой иглой в мозг, заставляли все пережить заново.

...Утром, когда он открыл кабинет, зазвонил телефон. Судья Макал Егорович Белоухов почти прошептал в трубке:

— Ефим, конвой привезли в тюрьму. В списках твой друг Константин из Павловска.

— Да ну?! — подскочил в кресле Ефим Алексеевич.

— Не горячись, — умолял Макал Егорович, — его не спасешь и себя погубишь. У тебя же трое детей.

Ефим Алексеевич тупо уставился взглядом в стол. А мысли металась в голове: «Что, что делать?»

— Ах, Костя, Костя, как же это! — застонал он.

Ему вспомнился давний разговор с другом. Они рыбачили на Дону. В ту пору Ефим Алексеевич работал прокурором в Павловске, а Константин Сергеевич Залевский был директором педучилища. Человек недюжинного ума, эрудит, он утверждал Ефима Алексеевича в его взглядах. Оба свято верили в правильность линии Партии. Никогда ни тени сомнения не было во взгляде этого лучезарного человека. И вдруг... враг народа!

Тогда Константин стоял на берегу, улыбаясь, раскинув руки, и декламировал отрывок из поэмы Маяковского. В ушах Ефима Алексеевича до сих пор звучал баритон Константина.

Дома встретила его зареванная Анна: Белоухов и ей сообщил о Константине. Она потащила мужа в дальнюю комнату и быстро зашептала:

— Ефимушка, позвоним Нелли. Устрой ей свидание с Константином. Пусть простятся. На последних словах запнулась и зарыдала, уткнувшись ему в грудь...

Тяжелая дрема смежила веки. Ефим Алексеевич снова падал в темную пропасть сна. И снова злые, полные ненависти глаза взметнувшегося волка. Только говорил он голосом старшего следователя Аноприенко, возглавлявшего «тройку».

— Как ты мог к врагу народа пустить кого-то!

— Это его жена.

— Она тоже враг народа! Или ты... — Аноприенко выругался.

— Ах ты, паскуда! Да они такие же враги народа, как и мы с тобой!

Удар пришелся Аноприенко в нос. Сдерживая хлынувшую кровь носовым платком, следователь прохрипел:

— Ну, ты меня попомнишь, правдолюбец!

На другой день Ефим Алексеевич зашел к начальнику милиции Свиридову. Не успел он сесть в кресло, как тот спросил:

— Что там у тебя вчера с Аноприенко получилось?
— Ничего особенного.
— Ох, смотри, Ефим, будь осторожен с ним,— вздохнул Свиридов и перешел на шепот: — У Аноприенко брат там, «наверху».

— Ну и что?

— Да то, что дергался тут с утра, сволочь, как клоун, а потом в Воронеж укатил.

К вечеру Ефим Алексеевич позвонил в областную прокуратуру старшему следователю, своему другу Кретову. От него узнал, что Аноприенко получил повышение: назначен первым заместителем областного прокурора.

Спустя полгода Аноприенко стал областным прокурором и не замедлил напомнить о себе. Ефим Алексеевич работал над очередным делом, когда позвонил Макар Егорович и выпалил взволнованно:

— Ефим, тебя сейчас придут арестовывать! Сидят, обсуждают, как это сделать. Боятся, что будешь стрелять.

В первое мгновение Ефим Алексеевич опешил:

— Как это я буду стрелять? В кого?

Но Белоухов уже повесил трубку. Ефиму Алексеевичу все стало безразлично. Он спокойно собрал документы и положил их в сейф. В горле пересохло. Поискал в шкафу стакан, чтобы налить воды из графина, и увидел бутылку спирта. Вспомнил, что забыл ее вчера отнести теще. Она давно просила достать спирта на растирку. Ефим Алексеевич взял бутылку и выпил, машинально, даже не почувствовав вкуса. Снял портупею с кобурой и шагнул за порог кабинета....

Когда он открыл дверь в комнату, где заседала «тройка», яркий солнечный луч из окна преградил ему дорогу. За этим лучом кончалась светлая полоса его жизни. Из-за большого длинного стола выглядывали перепуганные «судьи».

— Возьмите, стрелять не буду,— Ефим Алексеевич бросил кобуру с наганом на пол и вышел. Было жарко. Он шел по улице Богучара в направлении тюрьмы, никого не замечая. У ворот тюрьмы остановился и взглянул в небо. В голубой шири не было ни облачка. И только степной орел парил, высматривая добычу.

Ефим Алексеевич вошел в кабинет начальника тюрьмы.

— Открывай камеру, Иван Степанович!

— Зачем?

— Меня сажай!

— Но, Ефим Алексеевич....

— Никаких «но»! — зло отрезал Ефим Алексеевич.— Ордер на арест сейчас будет...

Дальше все поплыло и перемешалось, как в детском калейдоскопе. Опомнился Ефим Алексеевич уже здесь, в перелешинской тюрьме. В первую ночь приснилась младшая дочь Женька. Она бежала ему навстречу по цветущему лугу и смеялась....

Проснулся, по щекам бежали слезы. Стало душно от безысходности. «Как там Анна, дети? Что-то надо делать, чтобы их не тронули». Он вспомнил, как смотрел на окружающих сын Якира, когда его привезли в Павловский детдом. «Неужели и мои дети станут сиротами?» За себя он не боялся. Но дети...

И снова одолел сон. Он спешил в школу в новом полушубке. Не терпелось похвастать обновой перед одноклассниками. Перелез через высокую изгородь в соседский двор. Полный злобы взгляд остановил его. Прыгнул соседский пес, который превратился почему-то в волка. И неожиданно сильно ударил пикой в плечо, чуть не вышиб его из седла. Ефим Алексеевич с размаху опустил шашку на этот взгляд, полный ненависти, голова покатилась по схваченной изморозью степи. Вихрь унес ее во мглу...

А из тумана всплыл деревенский храм. Ефим торопился на колокольню. С благо-

говением взялся за веревку большого колокола. «Ба-ам! Ба-ам!» — понесся величественный звон. Ему начали подпевать колокола и колокольцы. Теплая и сухая ладонь батюшки Николая погладила его по голове. Священник говорил тихо, но строго:

— Главное, Ефим, не только молитвы знать, чтобы сказать: «Верую». Главное, как сказал святой старец Василий Великий, соблюсти душу чистою. Помни это до конца дней своих.

Последняя встреча с отцом Николаем оставила у него неприятный, тягостный осадок. Большой колокол упал к основанию колокольни и раскололся на три части. За ним посыпались, разбиваясь с глухим звяканьем, и остальные. Отец Николай стоял на коленях в снегу и, воздев руки к небу, молился. Спокойствие священника и сострадание, с каким он просил Бога простить их, комсомольцев, за разор церкви, устыдили Ефима на какой-то миг. Он запнулся, прежде чем ступить в алтарь. Егорка Ступин опередил его и с размаху рубанул топором по иконе Божьей Матери. Икона рухнула на пол, но не раскололась.

— Ироды! Что же вы в храме-то делаете?! — пронзительно закричала бабушка Ульяша, схватила поверженную икону и проворно кинулась к выходу. Ее примеру последовали другие старухи. Вскоре храм опустел. А на другой день арестовали отца Николая и увезли в Курск. Позже Ефим узнал, что священника расстреляли «за организацию контрреволюционной смуты среди верующих...»

Ефиму Алексеевичу стало душно. Он рванул рубаху на груди. Ему показалось, что его душит суровая нитка, на которой висел крестильный крест. Почти два десятка лет минуло, как снял его. А вот надо же, ощутил крепкую нить, впившуюся в горло.

— Нет, не-е-т тебя, Бог! — закричал Ефим Алексеевич и рухнул на нары.

Его трясло: то морозило, то бросало в жар. Вскоре он затих, впал в беспамятство...

И снова волчьи глаза горели злобой. Волки рычали, вставали на дыбы, но костер перепрыгнуть боялись. Вожак насмелился и прыгнул. Ефим Алексеевич прижался к спинке саней, прикрыл лицо воротником тулупа. Волчье дыхание слышалось совсем близко. Выстрел лесника оборвал его...

В наступившей тишине Ефим Алексеевич слышал стоны умиравшего отца:

— Ефимка, Ефимка, что ты наделал. Землицу-то, зачем в коммуну голоштаным отдал? Пропадет земля-матушка, бурьяном порастет, а твои дети и внуки, Ефимка, по миру пойдут кусок хлеба просить.

«Неужто отец прав?». «Нет, он не сдастся! Он найдет пути, чтобы вырваться из этих стен. И снова будет бороться за правду. Не все же такие, как Аноприенко. А как же иначе дальше жить?!»

Стукнула «кормушка» на двери камеры, на пол упала записка. Ефим Алексеевич поднял и прочитал: «Пиши письмо Варейкису. Я отвезу. Степан». Брат все-таки приехал в Перелешино. Письмо к Варейкису у Ефима Алексеевича было уже готово. Он вытащил его из потайного места в топчане и отдал протянутой в «кормушку» руке.

За решетчатым окном забрезжил хмурый зимний рассвет. Ефим Алексеевич лег на топчан и крепко уснул. И снова волчья стая летела вдоль дороги. Только у волков были головы надзирателей, следователей, членов «тройки».

В камере, где находился Ефим Алексеевич, окошко было без деревянного щита, поэтому ему хорошо были видны базарная площадь и двор элеватора. Был март. Каждый день к воротам элеватора подъезжали сани. Хмурые мужики курили самокрутки, грузили мешки на сани — получали семена. Приближался сев. И Ефим Алексеевич представил себе, как суетятся вокруг мужиков в колхозных амбарах уполномоченные, следят за работой. «Какой толк от этого», — вздохнул он. «Сидели бы в кабинетах. Иль мужики сами не знают, что делать?». Он все больше убеждался, что проку в коллективизации немного. Русский мужик век привык работать миром. За-

чем же его было насильно, как скотину, загонять в гурт?! Как гнали — на собственном опыте убедился.

Вспомнился случай, когда он работал по коллективизации в соседнем с Щиграми районе. Таким же вот капельным мартовским днем его вызвал первый секретарь райкома партии Иван Большаков и заявил:

— Поедешь коллективизировать Липовчик. Двое уже положили партийные билеты за невыполнение задания, учти.

Пока ехал, ломал голову, как убедить крестьян, чтобы вступали в колхоз. Село было богатое, с добротными домами под железными крышами. Хозяйственные мужики не спешили расставаться с кровно нажитым добром. Когда Ефим Алексеевич вошел в дом, где было правление, его встретили испытывающие, настороженные взгляды липовских крестьян. Он поздоровался, прошел к столу и положил на него два листа бумаги, на которых было написано: «Кто за Советскую власть, тот за колхоз». «Кто против колхоза, тот против Советской власти».

— Ну что, мужики, подходите и пишитесь в любой лист! — объявил председатель сельсовета...

В райком Ефим Алексеевич привез почти стопроцентное согласие на вступление в колхоз. Кто же против Советской власти мог пойти? Вспоминая хмурые небритые лица крестьян, писавших фамилии в листы, Ефим Алексеевич подумал: «Стоило ли вот так, огулом, всех? Нет, наверное...»

Утром в камеру пришел Лаптев и с улыбкой сказал:

— В рубашке ты родился, Ефим. Того, кто тебя посадил сюда, вчера расстреляли. Так что собирайся на волю. О тебе Кретов побеспокоился.

Ефим Алексеевич вышел за ворота тюрьмы. Из-за туч выглянуло солнце. Высоко в поднебесье звенели жаворонки. «Хорошо-то как!» — подумал Ефим Алексеевич, закинул на плечо рюкзак и зашагал, не оглядываясь, к автостанции.

МОЛИТВА МАТЕРИ

В начале мая мать получила письмо. Но не от сына, капитана-десантника, а его товарища по службе. Он писал: «...Ваш сын Артем пропал без вести в бою под Аргуном...» Она уронила письмо на пол, но не заплакала. Просидев всю ночь у фотокарточки сына, утром собралась в дорогу.

Пока добиралась несколько суток до Чечни, делая пересадки с поезда на поезд, с автобуса на автобус, все время вспоминала сон, который видела за день до получения известия о пропаже сына. Ей приснилось, что они вместе, как в прежнее время, шли с группой альпинистов по ущелью. По дороге к перевалу на краю отвесной скалы их застала буря. Ветер сносил сына в пропасть. Мать отчаянно боролась, чтобы удержать его. Но страховочная веревка оборвалась. Сын, цепляясь за камни, сползал в пропасть. Мать только и успела крикнуть ему: «Запомни, я жду тебя на перевале!» Проснувшись в слезах.

На блокпосту седой подполковник долго уговаривал ее вернуться домой:

— Не женское это дело идти туда, где стреляют.

Она не возражала ему. Только, выслушав, спросила, глядя в его уставшие глаза:

— А Вы бы повернули назад, если бы Ваш сын... — она не договорила. Подполковник отвернулся, махнул рукой:

— Ладно, идите. Сержант, быстро принесите матери «сухой» паек. Возьмите, в дороге пригодится.

Неделю кружила она по Чечне в поисках сына. Ее положение облегчало то, что она знала чеченский язык, обычаи. Многолетние поездки в альпинистский лагерь на

юг Чечни научили многому. Поэтому ее принимали за русскую, жившую в Чечне. Да и местные русские помогали, чем могли. Если ей доводилось видеть пленников, успевала переброситься с ними несколькими словами. И всех просила об одном:

— Если встретите Артема Князева, передайте, чтобы шел к перевалу.

Однажды ей пришлось облегчить смерть молоденькому солдату, закованному в колодки. Он пытался убежать из неволи. Но боевики поймали и избили его до потери сознания. Они бросили его умирать у горной дороги. Мать обмыла ему лицо, смазала йодом раны. В беспамятстве он звал маму. Она гладила его слипшиеся от крови волосы, ласково повторяла:

— Я здесь, сынок! Я с тобой!

Так он и затих с улыбкой на молодом веснушчатом лице, прижавшись щекой к ее руке. Мать сняла с себя платок, накрыла ему лицо и стала носить от горы камни, обкладывая тело умершего солдата. Из двух палок связала крест, поставила в ногах погребенного воина. Стала на колени, перекрестилась и прошептала:

— Господи, прими душу новопреставленного раба твоего.

Имени парня она не знала.

Солнце закатилось за вершины гор. Яркие звезды зажглись на небе. Стало холодно от опустившегося тумана. Но мать ничего не замечала. Она молилась, поцеловав образок Божьей Матери, висевший на шее вместе с крестиком:

— Заступнице усердная, Мати Господа Всевышняго! за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим: всех нас заступи, о, Госпоже, Царице и Владычице...».

Она поклонилась могилке и побрела по горной дороге. Взошла Луна. А Мать все шла и шла... На рассвете в изнеможении она опустилась у большого камня, прислонилась к нему и задремала. И снова повторился тот же сон. Она проснулась от собственного крика:

— Сынок, ищи меня на перевале!

А перевал был уже близко. Вершины гор над ним сверкали холодным блеском многолетнего льда. Мать прошла еще немного и остановилась: порванные кроссовки мешали идти. Она разорвала кофточку и обмотала лоскутами израненные ступни: идти стало легче. Свернула с дороги на горную тропу, петлявшую по карнизу крутой горы. На самом опасном месте, где неверный в пять сантиметров шаг мог стоить жизни, снова достала из-за пазухи образок Божьей Матери. Поцеловала, перекрестилась и произнесла:

— Пресвятая Богородица, спаси моего сына! У него сегодня день рождения. Ему исполняется тридцать три, как и Твоему сыну, который принял муки за грехи наши.

И тут она услышала голос сына:

— Мама, будь осторожна! Я здесь!

Артем стоял на крошечном уступе, за которым сверкал ледник. Он опирался на старый ледоруб. Босые ноги были в крови. Мать преодолела последние сантиметры пути и обняла сына.

— Как ты нашел меня Темушка?! — сквозь слезы спросила она.

— А ты же передала с пленным, где тебя искать. Мне просто повезло, что в горном селении, недалеко от перевала, никто не караулил меня. Почему? Ты же знаешь. Его с трех сторон окружает ледник. Боевики не ведали, что я альпинист и хорошо знаю эти места. Помнишь, как мы десять лет назад переходили этот ледник? Я тогда вот этот ледоруб в расщелину упустил, а достать времени не было. Вот и пригодился! Как только наступила глубокая ночь, я и ушел из селения.

— Сынок, так босым и шел по льду?!

— У меня были чувяки, но быстро порвались. Ничего, мама, главное — на свободе и с тобой.

Невдалеке прокатилось эхо автоматной очереди.

— Видно, меня спохватились,— усмехнулся Артем.

— Давай-ка, сынок, спускаться. Спуск, правда, сложной категории. Но другого выхода нет. Но прежде помолимся. Ты не забыл молитву Пресвятой Богородице, сынок?

— Нет, мама! Я ее утром и вечером повторял: «...молящихся Тебе умиленной душой и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами» — голос Артема дрогнул и прервался. Мать тут же продолжила:

«...и не возвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол: всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.»

Она открыла рюкзак и достала из него страховочную веревку и два кинжала.

— Кинжалы?! Как ты все это пронесла мимо боевиков, мама?

— Один из них отдал мне кинжал за золотое кольцо и сережки. А на веревку внимания не обратили. Ну, сынок, начнем спуск? — она перекрестилась. Так же поступил Артем, направляясь за матерью.

Два дагестанских пастуха, пасших овец у подножия скал, застыли в изумлении, увидев двух спускавшихся по отвесной скале. Старший чабан покачал головой:

— Живу на свете восьмой десяток, но не слышал никогда, чтобы кто-то спускался с этого ледника! Пойдем-ка, внук, встретим храбрецов.

Когда они подошли к подножью скалы, Мать и сын уже спустились обессиленные на землю.

Спустя два часа, отдохнув и покушав у пастухов, они попрощались с ними.

— Так кто же, все-таки, помог вам спуститься с ледника? — спросил старик.

— Пресвятая Богородица,— ответила Мать.

— Да, она! — подтвердил Артем.

Дагестанец с почтением поклонился им. Он и внук долго смотрели вслед уходившим неожиданным гостям...

Ирина Складорова



ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРАМЕЛЬКИ

В одном Зефирном королевстве жила конфетная семья: папа — Карамельдин, мама — Карамельдина, бабушка — Тянушка, дед — Леденец, дочка — Карамелька и собачка — Фантик. Жили они в сладком доме из пастилы, который находился на берегу Желейного озера. Рано утром Карамелька выходила гулять со своим песиком Фантиком. Мама не разрешала ей прыгать по Желейному озеру, но девочка маму не слушала. Она брала Фантика на руки и начинала прыгать по поверхности озера. Она прыгала все выше и выше, пока не запрыгивала на проплывающее по небу облако из сладкой ваты. Оседлав облако, Карамелька пролетала над Зефирным королевством, и все его жители, задржав головы, кричали:

— Карамелька, что ты там вкусенькое жуешь?

— Вату, вату сладкую я ем! — отвечала та.

— Так брось и нам кусочек попробовать.

Карамелька отрывала кусочек облака и, скатав шарик, бросала вниз. Полетав и наевшись сладкой ваты, она возвращалась с Фантиком домой. Дед Леденец и бабушка Тянушка были на пенсии. Они сидели дома и делали конфеты «Петушок на палочке».

— Ты опять летала? — спрашивала бабушка.

— И опять рвала облака на кусочки? — строго спрашивал дед. — Вон они какие рваные летают.

Карамелька в ответ только хихикала и, схватив «Петушка на палочке», убежала к себе в комнату. Каждый день они с Фантиком путешествовали на облаках. Но однажды подул сильный ветер и унес их далеко — далеко от дома. Долго они летели. Осталось позади и Желейное озеро, и Зефирное королевство. Внизу проплывали леса и реки, а Карамелька с Фантиком все летели и летели. Наконец облако зацепилось за высокую сосну, и они опустились на землю. На земле они тут же попали в руки солдат муравьиной армии, так как под сосной была громадная куча из веточек и палочек. Ее натаскали муравьи и жили в ней. Солдаты связали Карамельку и повели в свое Муравьиное царство. Они тащили ее по узеньким лазейкам, и Карамелька видела, как они живут и тяжело работают. Ее привели к муравьиному царю.

— Ты кто такая? — строго спросил он.

— Я — Карамелька, а ты кто?

— А я — царь Мураш, это мое царство, и все работают на меня.

— То, что все работают, я видела, а вот ты чем занимаешься?

Мураш задумался:

— Ну, я, это, того, ем, сплю и в ус не дую.

— А ну-ка прикажи своим солдатам меня развязать.

— Еще чего захотела! — возмутился Мураш. — Сейчас мы тебя распилим на мелкие кусочки, и я буду сыт целый год.

— Не нужно меня пилить,— попросила Карамелька.

Но тут прибежали рабочие муравьишки и начали сверлить в Карамельке маленькие дырочки. Ей было очень щекотно, она засмеялась сначала тоненьким голоском, а потом начала громко хохотать. Но муравьи не обращали на это внимания и продолжали делать свою работу. Вдруг Муравьиное царство зашаталось, в нем образовалась большая дыра, в которой показалась голова Фантика. Он услышал, как смеялась его хозяйка и быстро разорвал муравьиную кучу лапами.

— Фантик, Фантик, дружок, вытащи меня отсюда! — закричала Карамелька.

Песик зарычал и сердито залаял. Муравьишки и их царь сильно испугались и в страхе разбежались, кто куда. А Фантик развязал Карамельке руки и помог ей выбраться из муравьиной кучи. Она схватила собачку на руки и побежала по лесной тропинке. Карамелька бежала и очень сильно свистела. И чем быстрее она бежала, тем громче становился свист.

— Не свисти, денег не будет,— сказал Фантик.

— Я ничего не могу поделать. Во мне муравьи дырочки просверлили. Когда я бегу, туда попадает воздух, и раздается свист.

Фантик начал зализывать на Карамельке дырочки. Он так старался своим шершавым язычком, что вскоре она перестала свистеть и засияла. Правда, Карамелька стала чуточку тоньше и прозрачнее.

Наступила ночь. Карамелька обняла своего песика, и они крепко заснули под деревом. А в это время белая сова вылетела на ночную охоту. Она очень хорошо видела в темноте и зорко высматривала свою добычу. Сова низко-низко летела над землей. Увидев спящих путешественников, кинулась на Фантика, вырвала его и взвилась с добычей в воздух. Песик жалобно закричал. Карамелька проснулась. Она видела, как уносят ее друга. Долго бежала Карамелька за любимым дружком, а потом села на землю и заплакала. Сова отнесла Фантика на дерево. Песик был толстый, и она еле-еле затолкала его в дупло, а сама села на ветку рядом и стала думать, как ей теперь попасть в свой дом. Фантик высунул мордочку из дупла, испугался и завыл:

— У-у-у! Как высоко! Я отсюда не смогу у-у-убежать!

А сова сидела рядом, таращила свои огромные глаза и говорила:

— Угу! Угу! Угу!

Пока Карамелька плакала, к ней подбежал колючий ежик.

— Ты чего плачешь? — спросил он.

— Пока я спала, кто-то прилетел, схватил мою собачку и унес.

— А этот кто-то не белый с крыльями? — спросил ежик.

— Да, да! — подтвердила та.

— Ну тогда побежали скорей. Я знаю, кто украл твою собачку.

Вскоре они услышали жалобный вой Фантика. Тот выл на весь лес. Карамелька подбежала к дереву и закричала:

— Фантик, милый мой, я тебя нашла!

— А что толку! — завыл тот. — Меня затолкали в дупло! Крыльев у меня нет, как же я спущусь на землю? Я высоты боюсь.

Карамелька села под деревом и задумалась. Как же спасти песика? Что придумать? В это время она услышала, что кто-то все время говорит:

— Угу! Угу! Угу!

Она подняла голову и увидела на дереве белую сову.

— Это она утащила твоего дружка,— прошептал ежик.

— У нее что, есть крылья?

— Да, очень большие,— подтвердил тот.

— Тетушка Сова, тетущка Сова! — закричала Карамелька.

— Угу! — ответила сова и опустила голову вниз.

— Вы чем-то озабочены?

— Угу! — угукнула тетушка.— Вот поймала очень жирную мышь, а теперь думаю, как залезть в дупло и съесть ее.

У Фантика от таких слов хвостик задрожал от негодования, и он зарычал:

— Р-р-р, я не мышь, а храбрый пес шоколадной породы. Я на конфетной выставке получил самую большую мармеладку. Понятно тебе?

— Угу,— кивнула сова.

— Я просто так не сдамся! Я буду защищаться! У меня острые зубки, проглочу, как конфету «Ну-ка, отними!», вместе с перьями!

Сова испугалась и захлопала крыльями. Карамелька подумала, что она сейчас улетит, и Фантик останется на дереве.

— Милая тетушка Сова. Это — мой дружок Фантик. Мы прилетели с ним из Зефирного королевства.

— Ух! Ха-ха-ха! Ух! Ха-ха-ха! — засмеялась сова.— Как ты могла прилететь? У тебя нет крыльев!

— А я на облачке.

— Как это? Как это? — не поняла сова.

— А вот Вы нас закиньте на облачко, тогда и увидите, как,— схитрила Карамелька.

— Бум думать, бум думать.— забормотала сова и надолго задумалась.— А если облака нет, тогда как?

— Так нужно подождать, обязательно будет!

Они все вместе стали ждать облака. И только ежику было некогда. Он должен был очень много грибов и ягод натаскать в норку, чтобы зимой не было голодно.

— Некогда мне облака ждать, я побежал — сказал он и исчез в густой траве.

Скоро подул ветер и нагнал на небо много облаков. Сова быстро схватила за шиворот Фантика, с большим трудом вытащила его из дупла и, подлетев к облаку, закинула на него песика. Облако понеслось по небу, а сова спустилась за Карамелькой. Схватила ее, поднялась вверх и закинула на другое облако, и та пустилась догонять свою собачку. А сова вернулась в свое дупло и долго думала, как это они так летают и не падают.

Тем временем Фантик уже подлетал к Зефирному королевству. И когда облако пролетало над Желейным озером, спрыгнул вниз. Чуть погодя вслед за ним спрыгнула и Карамелька, и они быстро побежали домой.

— Вот это мы полетали,— думала Карамелька,— ух и попадет мне.

Конечно, дома все очень переживали. Бабушка Тянучка вытянулась еще длиннее, а дедушка Леденец от расстройства съел всех «Петушков», одни палочки остались. Мама Карамельдина и папа Карамельдин обратились в шоколадную полицию. Сотни шоколадных такс бегали по королевству. Но как только они подбегали к Желейному озеру, садились и начинали выть, задрав головы вверх. Все жалели о пропаже Карамельки с Фантиком, а когда они вернулись, их совсем чуть-чуть поругали. Зато радости не было конца. Сразу прибежали все бублики, леденцы, цветные горошки и всякие другие сладкие соседи. Они поздравляли маму с папой и дедушку с бабушкой с возвращением дочери. А та сидела и думала, что как ни интересно путешествовать, а дома всегда лучше. Все тебя любят, и не нужно спать в лесу под деревом, где летают белые совы. Можно лечь в свою вафельную кровать, положить под голову розовую зефирную подушечку в шоколадной наволочке, укрыться сладким ватным одеяльцем, а главное, положить с собой любимого Фантика, прижаться к нему и крепко заснуть.

КОЗЛИК РУ-ДУ-ДУ

Высоко-высоко в горах, где летают белые барашки облаков и дуют сильные ветры, жил с мамой козлик Ру-ду-ду. У него была густая черная шерстка, влажные карие глаза и розовые ушки. Малюсенький хвостик сзади служил ему для выражения радости. Если что-то козлику нравилось, то он вилял им влево-вправо, влево-вправо. Козлик Ру-ду-ду был еще очень маленький и сосал мамино молочко. Оно было теплое и вкусное, а, главное, очень полезное. Поэтому козлик быстро рос. А когда окреп, они с мамой стали ходить в горы гулять. Малыш очень осторожно переступал с камешка на камешек, так как боялся упасть, уж очень высоко они жили.

— Посмотри на свои копытца, они раздвоены,— успокаивала мама своего сыночка. Держись крепче ими за камушки, и ты никогда не упадешь.

Скоро Ру-ду-ду понял, что можно прыгать и скакать по горам без страха. Он стал далеко убегать от мамы. Ему очень нравилось с огромной высоты смотреть вниз, особенно когда светило солнышко и стоял ясный денек. Было хорошо видно, как тает с гор снег и тонкими ручейками стекает вниз, собираясь в один большой поток. А еще он любил наблюдать, как птицы выют на скалах гнезда, в которых через некоторое время появляются птенчики. Хотя козлик был сам еще маленький, ему было жалко птенчиков, уж очень жалобно пищали, когда хотели есть.

Однажды вечером мама козлика увидела, что на вершине соседней горы орел стал вить гнездо. Он каждый день улетал, а потом возвращался, принося в цепких когтях ветки для гнезда. Мама очень беспокоилась, так как горные орлы любят лакомиться молодыми козлятами, и стала еще зорче наблюдать за своим сыночком. А орел свил гнездо, и вскоре у него появилась подружка, молодая орлица. Она нанесла яиц и села на них высиживать птенцов. Они вылупились, трое или четверо. Козлику не было хорошо видно маленьких орлят, но кричали они так громко, что Ру-ду-ду слышал их на соседней горе.

— Хотим есть! Хотим есть! — день и ночь разносилось над горами.

Наконец птенчики выросли. Мама орлица каждое утро выталкивала их из гнезда, чтобы научить летать. И скоро молодые орлята стали прилетать на соседнюю гору. Как-то утром, когда козлик вышел погулять, прилетел орленок, сел рядом на камень и спросил:

— Ты знаешь, кем я стану, когда вырасту?

— Нет, не знаю,— ответил Ру-ду-ду и покачал головой.

Орленок высоко задрал клюв и важно произнес:

— Я буду царем птиц, а ты, когда вырастешь, будешь просто козлом.

— А разве плохо быть козлом? — спросил козлик.

Ему стало обидно, он заплакал и побежал к маме. Мама успокоила своего сыночку и предупредила, чтобы держался подальше от этих наглых птиц. Но орлята не унимались. Они каждый день прилетали на скалу и дразнили его. Как-то один орленок сказал, что когда у него вырастут и окрепнут крылья, он утащит козленка в свое гнездо и съест.

— Мне так папа сказал,— гордо произнес он, выпятил вперед грудь и захлопал крыльями.

Козлик испугался, побежал домой и все рассказал маме. Мама в ответ рассмеялась:

— Когда у этого орленка вырастут крылья, то у тебя на голове вырастут такие большие рога, что у него сразу пропадет аппетит на козлят.

Ру-ду-ду стал ждать, когда же у него вырастут рожки. Наконец наступил такой день, когда лобик у него стал сильно чесаться. Ну просто жуть! Он побежал к маме. И та ему объяснила, что это начинают расти рожки, а для того, чтобы они были креп-

кие и острые, их каждый день нужно чесать о камни. Так Ру-ду-ду и сделал. Он каждый день терся лобиком о камни, пока рожки у него не стали крепкими и острыми. Когда в очередной раз он вышел на прогулку, то орлята снова прилетели и начали приставать к нему. Он опять побежал к маме, но та сказала сыну, что он уже вырос, а рожки у него пусть и небольшие, но крепкие, поэтому бегать и жаловаться совсем не обязательно. Нужно просто так пугнуть ими орлят, чтобы у них навсегда пропала охота приставать к нему.

Козлик побежал в горы. Там он стал на край скалы и посмотрел вниз, где парили орлы. Но ни один орленок больше не прилетал дразнить Ру-ду-ду, видно папа орел предупредил своих сыновей, что козлик уже вырос, и связываться с ним опасно.

С того самого дня все обитатели гор часто видели большого красивого козла с мощными рогами на голове, гордо стоящего на вершине высокой скалы.

УМНЫЙ ЕЖИК

Когда в конце лета начинают идти дожди, то одним жителям леса это нравится, а вот другим не очень. Не нравились дожди и маленькому ежику. Он жил в лесу под старой сосной. Норка у него была очень хорошая, мама постаралась. Там было тепло, уютно и много еды. Но целый день в ней сидеть скучно. Как-то вечером ежик решил пробежаться по лесу, да заодно навестить своих братишек и сестреноч. Бежал он бежал по лесной тропинке на своих коротеньких ножках, как вдруг навстречу идут ребята. Конечно, ежик уже не смог убежать от них и на всякий случай свернулся клубком, выставив все свои иголки. Как только один из ребят наклонился его потрогать, он больно его уколол.

— Не будем связываться с этим ежом, он нам все руки исколет,— сказал мальчик. Но второй не испугался острых иголок и решил взять ежика домой. Он снял фуражку и закатил ежика в нее палкой. Прийдя домой, Колька, так звали мальчика, посадил ежика в клетку для птиц, насыпал ему зернышек, положил морковки, огурцов, поставил два блюдца. В одно блюдце налил воды, а в другое молоко.

Ежик, мальчик назвал его Мудриком, дал себе слово, что есть в плену ничего не будет, лучше умрет с голоду. Но молочко очень вкусно пахло, и он, высунув кончик носика, подполз к блюдцу с молоком. Маленьким язычком Мудрик стал лизать молочко, фыркая от удовольствия. У него была очень забавная миленькая мордочка с хитрыми глазками. Колька налил ему еще молока. Так как мальчик его пить не любил, то был очень рад, что его пьет Мудрик. Затем ежик сгрыз морковку и заел ее огурцом.

Через несколько дней Мудрик так растолстел, что уже не мог свернуться клубком. Поднакопив на зиму жирок, ежик стал разрабатывать план побега. Колька пожалел Мудрика, что тот, сидя в клетке, превращается в Колобка, и по ночам стал выпускать его побегать по квартире. Однажды ночью ежик забрался на полку, где лежали Колькины гантели, и сбросил их на пол. Грохот был такой, что с первого этажа прибежали соседи узнать, зачем мальчик в два часа ночи кидает на пол гантели. На следующую ночь ежика опять выпустили погулять, и он забрался в хромовый папин сапог. Колькин папа был военным, он с вечера чистил сапоги кремом и ставил к дверям, чтобы утром обуть их «на свежую голову», как он сам любил говорить.

Рано утром, не найдя ежика в квартире, все стали собираться, кто в школу, кто на работу. Папа опаздывал на службу, он быстро натянул левый сапог, а когда начал натягивать правый, то закричал так, как будто его укусил за ногу крокодил. Это папина нога наткнулась на острые колючки Мудрика. Ежику очень понравилось спать в папином сапоге, но его опять посадили в клетку. Вечером мама пришла с работы,

повесила свое пальто на вешалку, спрятала подальше папины сапоги и снова выпустила ежика погулять. Утром вся семья опять искала Мудрика. Куда только они не заглядывали. Папа три раза проверял свои сапоги, но ежика нигде не было. Наконец все стали собираться по делам. Папа очень осторожно обул сапоги и подал маме пальто. Мама быстро просунула руку в правый рукав, а, засунув руку в левый, громко вскрикнула. Ежик всю ночь проспал в левом рукаве маминого пальто. Тут пришли строгие соседи с первого этажа узнать, что происходит в квартире над ними: по ночам кто-то топает, как слон, гантели на пол кидает, а рано утром все кричат так, что просыпается весь дом.

— Да ничего особенного не происходит,— ответил Колька,— просто я ежика из леса принес.

Вечером вся семья собралась на совет, как жить дальше, и решили, что Мудрика нужно на ночь закрывать на балконе. Проснувшись утром, Колька первым делом побежал проведать своего лесного друга, но ежика на балконе не было. Смелый Мудрик ночью перелез через высокую перегородку балкона, спрыгнул со второго этажа и убежал в лес. Свою свободу он не променял на сытую жизнь в неволе.

ОЛАДУШКИ

Жила одна простая и добрая женщина. Она сочиняла детям сказки, и за это люди прозвали ее Сказочницей. Сказочница сочиняла свои сказки всегда на кухне. Открывала буфет и вытаскивала оттуда большой пакет с мукой.

— Здравствуйте, тетушка Мука, как Вы поживаете? — спросила она.

— Ох, ох, ох,— запричитала Мука,— застоялась я у Вас. Пора меня размять да в дело применять.

— Сейчас, сейчас, я мигом,— засуетилась хозяйка.

Она взяла большую миску и высыпала в нее муку.

— А теперь возьмем из крана водицу.

Женщина открыла кран и из него зажурчала вода.

— Жур, Жур, Жур, это я. Я пришла издалека. Пить меня нельзя.

Сказочница быстро взяла фильтр и пропустила через него воду.

— Вот теперь я чиста, вот теперь я свежа. Чистую воду будешь пить и живот не заболит!

Налив в миску с мукой воды, женщина стала потихоньку помешивать ложкой и слушать, как мука с водой разговаривают.

— Привет, Мучица.

— Привет, сестрица.

— Да, люди без меня и трех дней не проживут,— ворковала вода.

— А без меня неделю,— вторила ей мука.

Они кружились вместе в хороводе в такт ложке и мурлыкали свои песенки.

— Жур, жур, жур. Мур, мур, мур. Я вода! А я мука!

Потом хозяйка насыпала в миску щепотку соли.

— Ой, как солоно, как солоно! — застонала готовая Опарушка-Сударушка.

Насыпала ложку сахара.

— Сладко, сладко!

Взяла соду, налила в нее уксус и все это вылила на муку с водой.

— Ой, у меня глаза на лоб полезли, и живот надулся,— проворчала Опарушка.

Сказочница зажгла печку и поставила на огонь сковороду.

— Привет, девушка,— прошептал Огонь и засиял красно-синими огоньками.

— Привет, дедушка,— огрызнулась Сковорода.

— Я вижу, ты совсем новенькая, только из магазина? — спросил Огонь, добавляя жару все больше и больше.

— Хватит болтать! — закричала, накаляясь, Сковорода. — Я не хочу с тобой иметь никаких дел. Мне жарко! — продолжала возмущаться она.

— А придется, милая! — усмехнулся огонь.

Тут Сказочница, видя, что сковорода хорошо накалилась, налила на нее масло.

— Тьфу, тьфу, тьфу, какая гадость это ваше масло, — заплевалась Сковорода.

Несколько капелек масла попали на огонь. Тот вспыхнул и от восторга поднялся выше сковороды.

— Не плюйся, моя хорошая, — улыбнулся он и обнял Сковороду своими горячими руками, — совсем скоро ты перестанешь ругаться и плевать, а нежно зашкворчишь, — пообещал он Сковороде.

— А вот и не за..., — хотела возразить та, но тут Сказочница быстро налила на нее Сударушку-Опарушку. Что тут началось! Опарушка разлеглась на горячей сковороде, как на диване, и мило заулыбалась. А та, в свою очередь, подталкивала ей под спинку горяченького маслица, и скоро по всей кухне разлился аромат жареных оладушек. А Сковорода от радости зашкворчала. Шкворч, шкворч!

Хозяйка схватила вилку и быстро перевернула оладушки с одного бока на другой. Они надулись, выпятили свои жареные животики и сказали:

— Мы толстые, румяные и важные ребята. Без нас ни один завтрак не пройдет. Варенье, сахар, мед, сгущенка, масло — все это для нас очень подойдет.

Тут хозяйка вилкой проткнула один оладушек, он не успел сказать «Ой», как очутился в миске. За ним последовали остальные. Скоро большая миска наполнилась оладушками, и Сказочница поставила ее на стол. Потом она открыла холодильник и взяла большую банку сметаны. Холодильник только открыл рот, чтобы возмутиться, но его тут же закрыли. Нечего болтать, почему зря, холод выходит. Банка со сметаной тоже очутилась на столе.

— Здравствуй, красавица, — поприветствовали Оладушки Сметану-Прекрасную, — ты ослепительно бела и, наверное, очень вкусная. Такой лебедушке мы рады. Посмотри, какие brave ребята перед тобой.

— Молчите, дурни, — прошептала Сметана, — чем больше вы себя хвалите, тем быстрее вам придет конец.

— Это невозможно! Мы протестуем! Нас нельзя есть, мы такие пышные и красивые! Нас хозяйка очень любит! — закричали Оладушки.

— Вот потому вас и съедят всех до одного, что вы такие пышные и красивые. А любит хозяйка вовсе и не вас, — съехидничала Сметана.

Тут на кухню зашел сын хозяйки Колюня. Он спросил:

— Мам, оладьи готовы?

— Готовы, сынок, только на тарелочку положу, — с улыбкой сказала мама.

— Не надо на тарелочку, я их так слопаю, — ответил Колюня.

Он в одну руку взял миску с оладьями, а в другую — банку со сметаной и пошел смотреть футбол по телевизору.

— Какой обжора, — прошептали Оладушки, сделав огромные глаза.

— Ну что я вам говорила, — довольно улыбнулась Сметана.

Наша футбольная команда проигрывала, но от этого Колькин аппетит несколько не испортился. А Сказочница сидела на кухне и думала, что ее сынок стал совсем большой: раньше съедал два оладушка, а сейчас двадцать два.

Елена Яценко



Окончила Тульский педагогический институт и несколько лет проработала в школе учителем математики. Позже подруга предложила попробовать свои силы в газете «Слобода», и год с небольшим вела в ней краеведческую страничку, рассказывая о прошлом Тулы. Вскоре пригласили в газету «Жираф» освещать культурную жизнь города Тулы. Газета тогда только открылась, и постоянных рубрик в ней еще не было. Предложили написать женский рассказ, чтобы заполнить пустую страничку. Написала; работа понравилась и в издании появилась постоянная рубрика «Быть женщиной». Некоторые рассказы, опубликованные в газете, и предлагаются вниманию читателей «ПЗ».

ОДНОКЛАССНИЦА

Люда потерялась среди океана цветов, бантов, взволнованных родительниц в кричащих кримпленовых платьях, с тщательно уложенными волосами, еще пахнущими парикмахерской. Вот именно из-за чьей-то прически, похожей на клумбу с цветами, Люда и отстала от новых товарищей, с которыми ей предстояло грызть гранит науки долгих десять лет. Обладательница невиданного шедевра на голове, поразившего девочку, давно ушла, а Люда осталась стоять посреди школьного двора, не зная, где искать своих одноклассников и учительницу. В нос ей то и дело упирался чей-то букет с гордо торчащими гладиолусами, колючими розами, разухабистыми георгинами или ни на что не претендующими астрами. Но разнообразие флоры и богатое ботаническое содержание школьного двора нисколько не волновало девочку в этот момент. Люда широко раскрыла глаза и подняла их вверх, этот нехитрый трюк не раз помогал ей избавиться от непрошенных слез. Но сейчас в ее организме что-то не сработало, и прозрачные градинки заскакали по ее лицу, запрыгали вниз, ударяясь о белый накрахмаленный фартук.

— Чего ревешь? — раздалось рядом. — А-а, потерялась?

На Люду внимательно смотрела красивенькая девочка в таком же белоснежном хрустящем передничке, как и у нее.

— Да, — созналась Люда.

— Пойдем со мной, — хорошенькая черноглазая девочка уверенно взяла Люду за руку.

— Валентина Федоровна, я еще новенькую привела, — сообщила она невысокой миловидной женщине, стоявшей в окружении нарядных первоклассников.

— Хорошо, больше не теряйся, — кивнула учительница Люде.

— Меня зовут Виолетта, — представилась красивая девочка и уставилась на Люду черными глазами.

— А меня Снежанна,— голос Люды предательски дрогнул.— Да, Снежанна,— справилась она с собой, ей вдруг стало стыдно за свое настоящее имя, уж больно простовато.

Когда учительница стала знакомиться со своими воспитанниками, зачитывая по списку их имена и фамилии, Люда запаниковала. Сейчас обман откроется, и прекрасная Виолетта не захочет с ней больше общаться.

— Выгодская Людмила,— произнесла педагог.— Людмила. Что такой нет?

Люда медленно поднялась с места.

— Ну что же ты Люда, ты здесь не одна, не задерживай своих товарищей,— попеняла Валентина Федоровна.

Люда опустила голову и села.

— Теперь она не станет со мной дружить,— пронеслось в ее голове.

Но девочки подружались, Виолетта первая подошла к ней и участливо сказала: «Хочешь, я буду звать тебя Снежанной?».

Новая подруга с самого начала стала покровительственно относиться к Люде, и иногда роняла замечания вскользь.

— Когда ты вырастешь, тебе будут мешать твои коленки,— безапелляционно заявила она.

— Почему? — удивилась Люда.

— Ты очень худая, они будут стучать друг об друга,— солидно объяснила Виолетта,— рассматривая Людины ноги.

— Бедненькая, у тебя совсем бесцветные ресницы, как же тебе не повезло,— пожалела она Люду через неделю.

— Как ты, наверное, мучаешься с волосами, твоя копна меня просто выводит из себя, представляю, как тебе приходится несладко.

Люда испуганно хлопала длинными ресницами, приглаживала роскошные волосы и старалась больше сидеть, чтобы окружающие не заметили ее длинных стройных ног. Всего через месяц таких разговоров она стала считать себя законченной дурнушкой, и не нашлось в мире человека, который бы раскрыл ей глаза, и вывел лгунью на чистую воду. Виолетта, наоборот, расцветала, она обретала все большую власть над своей одноклассницей, Люда верила каждому ее слову.

— С тобой дружат только потому, что я с тобой общаюсь,— сообщила как-то Виолетта, когда подруги учились уже в седьмом классе.— Как хорошо, что я у тебя есть, иначе сидела бы дома, никто бы тебя на дни рождения не приглашал, никто бы не звонил, бедненькая моя,— мурлыкала она.

— Знаешь, это платье тебе совсем не идет,— быстро отреагировала лучшая подруга, увидев на счастливой Люде обновку.— Лучше отдай его мне.

— Но, как же? Мне его тетя Таня из-за границы привезла, и мне казалось, что мне в нем хорошо,— расстроилась Люда.— Вот и мама сказала...

— Ой, мама, что она понимает, тряпку привезли вот она и рада. А если тебе плохо! Вон смотри, Пашка Архипов хихикает, на тебя смотрит, мой тебе совет, поверь мне как подруге и как человеку, который разбирается в моде: тебе плохо в этом платье. Ты худая, вся какая-то нескладная, не носи его больше.

— Что это ты на Игорька Прохорова заглядываешься,— подловила Виолетта подругу.

— Ты знаешь, мне, кажется, я ему нравлюсь,— призналась Люда, сияя от счастья.

— Ну что ты, он же с Ольгой Самошиной из 9 Б встречается. Ну, ты тоже скажешь, подруга, Игорьку понравилась,— фыркнула Виолетта.— Он даже со мной не захотел дружить.

Люда опустила голову, а Виолетта отошла, посмеиваясь.

После окончания школы пути подруг разошлись, Виолетта пошла в политехнический институт, на факультет, где были одни ребята, а Людмила, несмотря на уговоры подруги, подалась на курсы бухгалтеров.

— Стану сидеть в кабинете, меня никто видеть не будет, мне так проще,— объяснила она свой выбор.

Встречи с Виолеттой стали редкими. Та лишь изредка забежала к подруге и рассказывала о бурных романах и влюбленных в нее юношах.

— Я как будто в водовороте, меня несет стремительно и безудержно к моему главному счастью, а за мной плывут разбитые сердца,— образно и красиво делилась она впечатлениями. Потом она и вовсе исчезала.

— Наверное, утонула в водовороте,— решила Людмила, нисколько не печалась.

Однажды к ней подошел давно оплаканный и вычеркнутый из сердца Игорь Прохоров.

— А я из армии недавно вернулся,— сообщил он.

Людмила молчала, она не знала, что говорят в таких случаях.

— Я когда служил, все боялся, что ты замуж выскочишь, у таких красивых девчонок это быстро. Ты не замужем? — с надеждой поинтересовался он.

Людмила показала, что она спит, но попросить Игоря ущипнуть ее все же постеснялась.

— Ты мне в школе нравилась всегда, только я дурак подойти боялся. Вокруг вас с Виолеткой всегда мальчишки вились.

— Это вокруг нее,— наконец смогла вымолвить Людмила.

— Ну да, рассказывай, такую красивую девчонку, как ты, еще поискать.

— Наверное, у него контузия,— подумала Людмила.— Такое в армии часто бывает, она в газетах читала.

Через два месяца они поженились.

— Ты же красивая,— шептал ей Игорь.— Очень красивая.

— Я уродина,— отворачивалась Людмила.— За что ты только меня полюбил,— не переставала удивляться она.

Игорь смеялся и целовал ее за ушком.

— Щекотно,— отбивалась Людмила.

Но однажды они серьезно поругались.

— Прекрати считать себя дурнушкой,— не выдержал Игорь.

Он подвел ее к зеркалу: «Посмотри, какие у тебя удивительные глаза.

— Один лучше другого,— пошутила Людмила, стараясь скрыть неловкость. Она никогда не задерживалась надолго у туалетного столика.

— У тебя глаза, как два глубоких озера, я в них тону. Ты прекрасна, в тебе нет ни малейшего изъяна, чтобы придаться.

— Но Виолетта говорила,— заспорил, было, Людмила

— Твоя Виолетта — толстая глупая корова. Забудь про нее,— рявкнул Игорь.

Людмиле понадобилось несколько лет, чтобы поверить в себя. К тридцати годам она превратилась в уверенную в себе женщину и постаралась забыть свое детство. Только каждый раз представляла свою встречу с Виолеттой. Она сто раз прокручивала в голове слова, какие скажет той.

— Ты уверяла, что я уродина и на меня никто не посмотрит? Так вот ты ошиблась. У меня прекрасный муж и куча обожателей. Меня носят на руках на работе. Я красавица, умница, ценный работник. А кто ты? Кем ты стала? — выплевывала слова Людмила, репетируя воображаемую встречу.— Дальше она не могла придумать свой монолог, потому что не знала, кем в действительности стала Виолетта. Проходили годы, но подруга не давала о себе знать, и Людмила с горечью решила, что никогда не сможет высказать этой дряни, все, что она о ней думает.

Звонок в дверь застал Людмилу врасплох, она никого не ждала, валялась в кровати и читала обожаемые ею детективы. Она даже открывать поначалу не хотела, но посетитель не уходил. Запахнув шелковый халатик, который шел ей чрезвычайно, хозяйка дома нехотя отправилась открывать дверь. В коридор, широко улыбаясь, шагнула подруга детства. Жестом королевы скинула на руки Людмиле каракулевую шубку.

— Как ты мой зайчик? — пропела Виолетта хриплым голосом.

Вот он решающий миг, этот момент Людмила ждала годы. Она откинула выдавшую лучшие годы шубейку в сторону, и сделал решительный шаг к врушке и лицемерке, испортившей ей все детство и юность. Смело взглянула в лицо врагу и вдруг увидела сеточку мелких морщин на щеках, глубокую носогубную складку, вертикальные бороздки на лбу и пробивающиеся сквозь крашенные волосы прядки седых волос. Под ее пристальным взглядом Виолетта нервно затеребила снизу дешевых бус, вынужденных украшать дряблую сильно напудренную шею.

— Господи, как же она постарела, — промелькнуло в голове у Людмилы. — Где же та беззаботная хохотушка с яркими глазами. Перед Людмилой стояла немолодая, полная, не очень счастливая женщина, пытающаяся сделать вид, что бальзаковский возраст выдумка писателя и до осени еще далеко.

— Господи, что сделало время, — ужаснулась Людмила, и подошла к зеркалу. Первоклассниц в накрахмаленных передничках больше нет. Они вместе выросли и вместе состарились, и похоже, даже не заметили, как это случилось.

— Виолетта, девочка моя дорогая, — всхлипнула Людмила. — Я так тебя люблю. Недоразумения, предательства, обиды все было забыто при одной мысли о том, как несправедливо быстро начал вращаться земной шар с момента их рождения, неумолимо отсчитывая годы.

Людмила обняла подругу и Виолетта прижалась к ней, словно почувствовав, как мимо них стремительными шагами проходит ее величество время.

— Ничего, — горячо зашептала Людмила. — Мы справимся. Мы с тобой такие молодцы, красавицы и умницы, у нас куча обожателей и на работе на руках носят.

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ

Новенькую Павел Агеев заметил сразу, да и как не увидеть такую. Глаза, как у кошки Маруськи, которая когда-то была у них с мамой: зеленые, раскосые, лукавые. Волосы черные, как у цыганки, и красный бант в волосах. Нет не бант, а роза, пригляделся Агеев.

«Красивая», — отметил он. В этот момент Мишка Петров, незаметно подкравшись, толкнул его на стайку девчонок, весело щебетавших неподалеку. Пашка, нелепо растопырив руки, и врезавшись в самую их середину, не устоял и рухнул на пол. Девчонки завизжали и брезгливо попятились.

— Агей, придурок, сидел бы дома, если никак ходить не научишься, — заверещала отличница Семенова.

Пацаны довольно ржали в сторонке, одобрительно похлопывая Петрова по плечу.

Пашка встал и прихрамывая отошел в угол. К выходкам одноклассников он уже привык и практически не обращал внимания. Новенькая, внимательно следившая за происходящим, что-то спросила у Семеновой. Та засмеялась и покрутила пальцем у виска, кивая на Пашку. Зеленоглазая красавица очень серьезно глянула на Агеева и отвернулась.

Когда Агеев хромая плелся за стайкой одноклассников, он увидел, как от толпы отделилась новенькая, и немного помедлив, подошла к нему. Пашка замер: сейчас начнет издеваться.

— Тебе до сих пор больно, может, имеет смысл сходить к медсестре? — спросила девушка.

Агеев подозрительно посмотрел на нее, эта издевается еще изощренней одноклассников.

Он опустил глаза, сейчас главное переждать насмешки и оскорбления. Новенькая еще немного потопталась возле него и молча отошла.

Семенова тут же подлетела к девушке с Маруськиными глазами и что горячо зашептала ей, косясь на Агеева. Новенькая покачала головой, не соглашаясь, и отличница разочарованно пошла прочь.

На следующий день Пашка узнал, что новенькую зовут Наташей, как героиню «Войны и мира» (Агеев бы, конечно, и вспомнил о классическом произведении, просто литераторша задавала прочитать его за лето, и Пашка добросовестно изучил сюжет и действующих лиц), только фамилия не Ростова, а Беляева. Тоже имеет отношение к литературе, был такой писатель-фантаст. Пашка Агеев и его читал. Читать его приучила мама, она и сама раньше очень увлекалась книгами, и Павлик уже в три года знал о маленьком принце и его планете, о мудром лисе и том, что надо отвечать за тех, кого приручил. А мама тоже об этом знала, но не смогла воспользоваться книжной премудростью, впрочем, это не ее вина. Пашке остались только воспоминания, но он не горевал, у некоторых и этого нет. А у него, вон, сколько всего: шkodливая кошка Маруська, тихие вечера под теплым пледом в обнимку с мамой, ее размеренный голос, повествующий о приключениях и смелых героях, поцелуи на ночь и щекотание пяток по утрам, а то садик проспишь, пышные пироги по праздникам и мороженое по выходным.

— Дебил, чего встал на дороге, не видишь люди идут?! — это Мишка Петров приласкал Агеева.

Пашка поспешно отодвинулся, и задел лучшего Мишкиного друга Тараса. Тот хрюкнул от злости и двинул Агееву в челюсть.

— Смотри, Миха, псих совсем охренел, на людей бросается, — красный от злости завопил Тарас.

Петров бросился на помощь обиженному другу. Били они Пашку не сильно, но со вкусом. Одноклассники, давно привыкшие к таким воспитательным мерам, оставались безучастны.

— Ты что, жертва психиатрии, не изучал правила поведения в общественных местах? А, наверное, когда всем мозги прочищали, ты за компотом стоял? — ерничал Тарасов, толкая Пашку острым локтем под дых.

— Не, Тарас, это у них в лаборатории мыши закончились, и они на Агее лекарства от страха изучали. Он теперь у нас смелый, никого не боится, людям прохода не дает, — предположил Петров, прежде чем отвесить Пашке пинка.

— Ничего мы ему мозги вправим, профессора позавидуют, — пообещал Тарас.

Через несколько минут экзекуция закончилась, Петров и Тарасов забыв о несчастном, спокойно обсуждали у окна вчерашний футбольный матч, девчонки рассматривали каталоги с косметикой, Агеев в уголке растирал по лицу кровь, тонкой струйкой льющeюся из разбитого носа. Никто больше не обращал на него внимания. Наташа Беляева, пропустившая представление, в недоумении остановилась возле Пашки, затем поспешно расстегнула сумочку и достала пачку одноразовых платков.

— Тебе больно? — участливо спросила она, осторожно вытирая Пашкину кровь.

Пашка замер. Наташа, подумав, что неловким движением причинила ему страдания начала уговаривать Агеева: «Потерпи немножко, уже почти все. Давай я провожу тебя к умывальнику».

Пашка испуганно замотал головой.

— У тебя, наверное, сосуды слабые, чуть стукнешься, и кровь идет? — участливо

поинтересовалась Беляева.— Ты не переживай, у меня такая же штука. Иногда как хлынет ни с того, ни с сего.

У Агеева по щекам потекли слезы, последний раз он плакал лет десять назад. Навзрыд, с воем и причитаниями, это когда кошку Маруську сбил грузовик. А бесшумно и горько, когда понял, что мама уже никогда не будет прежней. Потом слезы закончились, и Пашка подумал, что уже никогда не заплачет. А тут вдруг, пожалуйста, соленая водичка из глаз. А потому что новенькая уговаривала его так же, как мама когда-то: ласково и участливо, как будто он самый дорогой для нее человек.

Одноклассники, раскрыв рот, наблюдали за сценой. Пашка Агеев, местный псих и изгой, был обласкан самой красивой девочкой школы. Дебилем Пашка стал во втором классе, после того, как его маме был поставлен диагноз шизофрении и большую часть жизни она стала проводить в лечебнице. Петров как-то узнал об этом, и кличка «Псих», крепко прилипла к Агееву. Он не обижался, только улыбался беззащитно, и крутил головой, не понимая, за что его дразнят. Мама осталась такой же ласковой, просто иногда уходила в себя и не разговаривала по несколько дней, не ела, не умывалась, не спала, все думала о чем-то, может, вспоминала маленького принца и хотела улететь к нему, а может, думала, как ему Пашке одиноко без ее смеха, вопросов, шуток. Агеев не знал, почему мама вдруг замолкала и смотрела в одну точку. Он скучал без нее эти дни, а потом и вовсе, она все реже стала появляться дома, он навещал ее в больнице, такую же безучастную ко всему и равнодушную. Пашка никак не мог объяснить одноклассникам, что его мама просто устала, она отдохнет все будет как прежде и никакой он не псих, и мама у него нормальная.

— Не плачь, Павлик, вот возьми платочки,— протянула ему Беляева бумажные салфетки.

Павлик всхлипнул и ринулся прочь. Беляева поправила красную розу в волосах, и пошла по своим делам.

— Чего это она? — удивлялся Тарасов, заглядывая Петрову в глаза.— Психа пожалела, вот умора.

Петров молчал, такой новенькая нравилась ему еще больше. Во-первых, она красавица, с этим не поспоришь, одни глазница чего стоят, во-вторых, фигура. Такой тонкой талии и высокой груди нет ни у кого из девчонок. Так еще и оригинальна, с такой не заскучаешь, взяла приласкала этого придурка. Ни у кого из девчонок бы смелости не хватило. Петров знал, что многие Агеева жалеют втихую, но чтобы вот так подойти сопли утереть изгою, это дорогого стоит. Нет, пожалуй, надо перейти к решительным действиям, хватит приглядываться, а то уведут девчонку. Тарасов, словно подслушав его мысли затрясся в хохоте: «Как бы она в этого недоумка не втрескалась, представляешь картину?».

Пашка Агеев старательно смывал кровь с рубашки.

— Агеев, ты опять подрался? — строго вскинула брови Мария Антоновна, завуч по воспитательной работе.— Когда это закончится? Совсем не умеешь ладить с людьми. Ты пойми,— заговорила она проникновенно,— тебе дальше в жизнь шагать, а ты совершенно, ну совершенно,— она сделала трагическое лицо,— не ориентируешься в социуме. Почему ты молчишь? — вскинулась завуч.— На правду обижаешься? Ну это ты зря, кто тебе кроме твоих педагогов правду скажет, мы для тебя самые близкие люди теперь. И поверь мне,— в этом месте голос ее дрогнул,— ты нам не безразличен, когда человек в беде, в опасности, наша главная цель воспитать, помочь, спасти. Вся наша школа и весь педагогический состав неусыпно следит за вашим восхождением по лестнице взросления, и наши руки готовы поддержать вас в трудные минуты и на наши плечи вы всегда сможете опереться,— ее голос пафосно задрожал.

Мария Антоновна вела историю, и в минуты наставлений в ней просыпался про-

фессионал, она начинала мыслить историческими категориями, звать на баррикады и произносить речи, годные разве только для трибун каких-нибудь партийных собраний. Пашка опустил голову и переживал конца выступления, ему не хотелось тащиться по лестнице взросления под ручку с Марией Антоновной, он мечтал, чтобы его просто погладили по голове, посмотрели в глаза и спросили: «Как тебе живется, Паша?».

Наконец воспитательный момент закончился Мария Антоновна нахлобучила очки и сказала: «Иди и подумай, сколько ты причиняешь неудобства педагогам, да и одноклассникам, наконец».

Думать про педагогов Пашка не стал, а про одноклассников захотел, вернее про одну одноклассницу, с зелеными глазами и розой в волосах.

Дружба новенькой и Петрова началась сразу и вдохновенно, Наташа как будто ждала от него признания, и ничуть не удивилась роскошному букету на парте. Такой букет стоил, наверное, больше тысячи. Девчонки завистливо косились на сооружение из нескольких роз, пушистых веточек, каких-то палочек, засушенных стрекозок и шуршащей бумаги. Естественно, что обычные среднестатистические свежесрезанные розы смотрелись бы красивее, наряднее и нежнее, но ветки неизвестного происхождения и дикого цвета в перемешку с ватными шариками и проволокой, были креативней и поэтому в десять раз дороже. Наташа пришла в восторг не от дизайна исполнения, а от искренности и щедрости дарившего. Домой они уходили вместе, взявшись за руки. Агеев, не отрываясь, смотрел на счастливую парочку из окна. Словно почувствовав его взгляд, Наташа обернулась и, улыбнувшись, помахала ему рукой.

Мишка Петров даже как-то подобрел под влиянием своего чувства, и бить Пашку Агеева почти перестал. Даже когда Тарасов вознамерился воспользоваться Пашкой в качестве тягловой силы, вскочил ему на закорки, и потребовал везти его на третий этаж, Петров миролюбиво заметил: «Да ладно тебе, Тарас, пусть до второго дотащит, ты вон какой здоровый, Агей под тобой сдохнет».

Тарасов вытаращил глаза: «Ты не заболел, Миха?». В его глазах была неподдельная тревога.

Петров только ухмыльнулся, любовь творила с ним чудеса.

— Поехали, дебил,— лягнул Тарасов Пашку. Тот не удержался и свалился вместе с всадником.

— Ну, ты, воще, урод,— рассвирепел Тарас и ударил кулаком прямехонько в нос Пашке.

— Почему ты терпишь, Паша? Ты ничем не хуже других, ты не должен молчать и поддаваться,— зеленые глаза с жалостью и нежным укором смотрели на Агеева. Наташа осторожно смывала кровь с разбитого Пашкиного носа. В этот момент красная роза сползла с волос и свалилась на пол. Беляева ничего не заметила, Пашка хотел наклониться и поднять заколку, но девушка строго сказала: «Не дергайся, горе, вдруг сейчас опять хлынет. Ты так всю кровь растеряешь, а тебе еще жить и жить».

Когда Наташа ушла, Пашка поднял цветок-заколку, осторожно коснулся ее губами и спрятал за пазуху. Так надежнее.

Беляева и Петров продолжали дружить. В классе поговаривали, что у них все очень серьезно. Петров совсем перестал обращать внимания на Агеева, и даже Тарасов утих. Пашка уже не жался в отдаленном уголке, подальше от одноклассников, а отличница Семенова однажды подошла к нему и строго спросила: «Агеев, ты рисовать умеешь? Нам надо стенгазету к дню учителя оформить».

— Умею,— чуть живой от счастья, пролепетал Агеев.— Меня мама учила и вообще я люблю рисовать.

— Ну вот и хорошо, значит я тебя записываю,— деловито посмотрела на него Семенова.

— Молодец, Агеев, вот ведь можешь, если захочешь,— Мария Антоновна прищурившись разглядывала поздравление для учителей.— Я очень рада, что наша беседа пошла тебе на пользу. И завуч отошла, очень гордясь своими педагогическими достижениями. В ее голове уже созрел доклад для очередного педсовета. Тема звучала приблизительно так: «Помощь педагога в адаптации в школьном социуме индивидуума с нарушением систематики межличностных отношений в период истерической конверсии аффективного душевного процесса».

Но даже без ученого доклада Марии Антоновны все заметили перемены, произошедшие с Пашкой. И только один человек был к нему безучастен — Наташа Беляева.

— Неужели и она бросила его, как мама? А как же маленький принц, она, что не читала: «Мы в ответе за тех, кого приручили». А она приходит с Петровым, уходит с ним же, а как же я? — недоумевал Пашка.

Однажды он увидел, как они целуются. Беляева льнула к Мишке всем телом и обвивала его шею руками. Это было последней каплей, Пашка осторожно вытащил цветок, который всегда носил с собой и сунул в портфель к Тарасову.

— Я не знаю, как ко мне попала ее заколка,— оправдывался Тарасов перед лучшим другом.

Перед этим он, как фокусник, на представлении достал розу из портфеля и закричал: «Наташ, смотри, что у меня есть!»

— Ой, откуда она у тебя, я думала, что потеряла,— обрадовалась Беляева.

— Идиота нашли,— шипел Петров на Тараса.— Представление разыграли под названием «Петров — лох». Я что не понимаю, что вы за моей спиной встречались.

— Я не собираюсь оправдываться, это оскорбительно,— отвернулась Наташа.

— Ты что просто не могла мне сказать, что все, ухожу к Тарасу, обязательно надо было выставить меня дураком?! — кипятился Петров.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь,— Наташа пожала плечиком, бред какой-то.

— Ах, бред! Ты меня уже в психи записала?! Ну что же ты любишь всяких уродов. Ах, Мишечка, ах миленький, не обижай Агеева. Иди вот теперь к этому полудурку, целуйся с ним,— вошел в раж Петров и с силой толкнул Беляева. Не ожидавшая нападения девушка стукнулась о стенку, и в тот же момент на белоснежную блузку из носа закапали алые капельки крови.

Мишка Петров чуть не заплакал от ужаса содеянного, он нежно обнял Наташу, которая стояла у стенки, запрокинув голову, пытаясь остановить кровь.

— Прости, ну прости, не знаю, как получилось,— лепетал лидер класса.

— Ну, ты, Миха, вообще, чего наделал-то? — бубнил Тарасов.

Девчонки охали, совали наперебой накрахмаленные и надушенные носовые платки. Только Наташа была спокойна.

— Ничего страшного, просто слабые сосуды, чуть что и полопались,— успокаивала она одноклассников. Потом осторожно сняла руку Петрова со своего плеча: «Мне надо умыться, Миша».

Пашка жадно смотрел, как Петров уводит Наташу по коридору. Ему казалось, что она уходит от него навсегда. Агеев припустился вдогонку за влюбленными, догнав, схватил Наташу за руку и силой дернул. Петров зарычал от злости, а Наташа миролюбиво заметила: «Не волнуйся, Паша, мне не больно». Она посмотрела на него огромными зелеными глазами и улыбнулась. Пашка заворожено смотрел на расплывающиеся красные пятна на белом фоне блузки. Как будто клубника со сливками — промелькнуло в его голове.

— Ты, Паша, иди, все будет хорошо,— заверила его Беляева.

Она ушла, а Пашка остался. И хотя он был совершенно один в огромном и пустом школьном коридоре, он вдруг начал понимать, что отныне он не одинок, и у него действительно все будет хорошо. Потому что плохо уже было.

Ирина Пархоменко
(г. Плавск)



РОЖДЕСТВЕННАЯ СКАЗКА

Впервые, уважаемые, я расскажу вам историю, весьма похожую на сказку.

И пусть искушенный читатель не поверит ей и будет прав. К сожалению или к счастью, наша жизнь полна чудес, более невероятных, чем произошедших с Оксаной Федоровой, учительницей сельской школы. Она одна воспитывала дочь и писала книги: у нее издано два сборника стихов, три — рассказов и роман, который сейчас готовится к изданию. Внешность Оксаны ничем не примечательна; вокруг сколько угодно женщин с темными густыми длинными волосами, приятной округлости фигурой и сильным характером, что встречается все чаще и чаще. Ну да не о характере сейчас речь, а об одном предновогоднем дне, полностью перевернувшем жизнь Оксаны.

Внимание, дамы и господа, сказка начинается.

День не задался с самого утра. Оксана чуть было не проспала — подвел будильник с выдохшейся батареей. Но внутренние часы, хоть и немного позднее намеченного времени, разбудили ее.

Сегодня должно было состояться внеплановое совещание учителей в райцентре, где должен прозвучать ее доклад. Оксана оделась, как старослужащий по тревоге, в две минуты нанесла «боевую раскраску индейца», на ходу проглотила бутерброд и выбежала из дома, торопясь на остановку рейсового автобуса. Но эта спешка не спасла Оксану от еще одного «подарка судьбы»: старенький «ПАЗик», натужно пытаясь, проехал мимо, не остановившись, поскольку был набит до отказа. Делать нечего: за срыв столь ответственного мероприятия по головке не погладят, и бедная женщина направилась к трассе, до которой и было то всего ничего — пара километров. Оксана рассчитывала успеть на проходящий междугородний автобус. Но опять в буквальном смысле слова — «невезуха»: опоздала на каких-то три минутки! Теперь можно было рассчитывать только на удачу, которая до сих пор ее принципиально не баловала. Впору было реветь белугой, но сырости и без слез хватало — погода явно не предновогодняя: лужи, снеговая каша с песком и солью, пронизывающий ветер. Пришлось вспомнить не выходящий из моды танец «Автостоп», но и он не помог: машины проносились мимо, нахально стараясь обдать грязным водоснегом. Время начала совещания неумолимо приближалось. А через десять минут уже и не было смысла ехать — не успеть. Но через девять с половиной минут, около вконец продрогшей и отчаявшейся Оксаны, затормозила белая «Волга».

Водитель распахнул переднюю дверцу:

— Вы — Оксана Федорова, — утвердительно произнес водитель, — садитесь же, я вас не съем.

Не в привычках Оксаны садиться в незнакомые машины, которых она не останавливала, но ведь ее называли по имени...

— Но я вас не знаю.

— Не беда, успеете еще узнать,

— Зачем?

— Что зачем? Будете долго препираться, опоздаете. Садитесь же. Да что с вами сегодня? Филипп Николаевич Лисицын утверждал, что вы весьма решительная особа.

Имя Лисицына мгновенно прогнало напавший на Оксану столбняк, и она с удовольствием устроилась на удобном мягком сиденье. Если этот странный человек настолько близко знаком с Филиппом Николаевичем, чтобы говорить о ней, то никакой опасности быть не может. О, как недолго Оксана заблуждалась!

«Волга» плавно влилась в караван автомобилей, а Оксана пыталась по привычке анализировать ситуацию: номера у машины не местные, но этот человек Лисицына знает. Партнер? Друг? Машину ведет, как заправский гонщик — уверенно, профессионально, скорость под девяносто, и это по отвратительной дороге. Русоволос, льдисто-голубые глаза, широкоплеч, «порядочные» руки. (К вашему сведению, легче всего определить характер человека не по глазам, а, вопреки пословице, по рукам. Есть и внушающие доверие руки, есть и руки бандитов, что совершенно не зависит от цвета кожи и степени чистоты). Как только Оксана прямо взглянула на водителя, тот произнес:

— Ну что, давайте знакомиться: Михаил Николаевич Роцин. Предприниматель. Есть небольшой колбасный завод. Вдовец. Жена и сын погибли в авиакатастрофе два года назад. Не верите? Смотрите сами! — и он протянул ей паспорт.

Пока Оксана внимательно изучала предложенный документ, Роцин продолжил:

— У Фили видел ваши книги с дарственными надписями. Понравились и почерк, и фотографии, и содержание. Вожу с собой, перечитываю. Кажется, знаю вас досконально, хотя вы меня все равно при встрече удивили. Посмотрели? Ну, как, не наврал?

Оксана молча помотала головой, возвращая паспорт.

— Да, простите за прямой вопрос: вы — одна? Друга нет?

— Нет.

— Ну и отлично, теперь — появился. Вы — «за»?

Оксана оторопела, но все же неуверенно ответила:

— Да.

Следующий вопрос поверг ее в совершеннейший шок:

— Дочь с бойфрендом Новый год у тебя дома собираются встречать?

— Нет, у него. А откуда вы знаете про дочь?

— «Ты», говори мне «ты», мы же друзья. Я собирал на тебя досье и знаю многое, в том числе и номер телефона, и адрес. Если бы не сегодняшняя встреча, явился бы к тебе незванным гостем в новогоднюю ночь. Поэтому пеки свои знаменитые пироги и торт, а вино и закуски — за мной. Уверяю, все будет твое любимое.

Если бы Оксана не сидела, то на ногах точно не устояла. Ничего себе заявочки! Но не пьян. Не обкурен, а что самоуверен, — явно привык командовать. Но и она не бедная овечка. Разве можно уступить, подчиниться давлению этого, все еще для нее незнакомца? Ибо, что значит простое перечисление фактов его биографии? А он продолжал:

— Итак, тридцать первого в двадцать два ноль-ноль буду у тебя. Жди. Оксана ошетинилась: — А ключи от дома, где деньги лежат, дать сейчас или все же потом?

— Да знаю я учительские заработки, это, во-первых, а во-вторых, немного рановато. В Новый год и вручишь, как подарок. Ну вот, все и решили. Приехали.

Оксана удивленно заметила, что это было сказано не фигурально. Машина остановилась у здания администрации, и до места совещания — два шага. Взглянула на часы, — успевает!

— Спасибо вам.

— Тебе. Прости, что высаживаю здесь — спешу, не могу тратить время на сложные объездные маневры. Дай руку.

Оксана смущенно протянула руку. Рошин поцеловал ее, ненадолго задержав в своей:

— До встречи. Жди. До завтра, до двадцати двух ноль-ноль.

Оксана вылезла из машины совершенно обескураженная и, как автомат, направилась на совещание. Абсолютно не понимая ни одного слова, прочитала свой доклад. Вопросов, к счастью, не задавали, никому не хотелось задерживаться. Завтра же Новый год! Коллеги пытались ее тормозить, но она на «автопилоте» их поздравляла, благодарила за ответные пожелания. Возвращаясь на рейсовом автобусе, Оксана все еще была под впечатлением встречи с Рошиным, пыталась уверить себя, что это выдумка, что такого не бывает. Ну не может такое произойти, тем более с ней. Не красавица, фигура не идеальная, не модница, да и лет явно не восемнадцать. Короче — «самоедство» в самом разгаре. (К сведению, пусть у Оксаны фигура не Джулии Роберте, но со всеми приятными на вид округлостями, доброе открытое лицо. Волнистые волосы чуть тронуты сединой, обаятельная улыбка, прекрасный уравновешенный характер. К тому же, есть терпение, мудрость и талант не только рассказчика, но и слушателя). Оксана машинально вылезла на своей остановке, медленно дошла до дома, открыла дверь, вошла и стала раздеваться.

— Ой, мам, привет. Ты вовремя, садись, ешь. Новости потом расскажешь, — обрадовала дочь, выглянув из кухни.

— Здравсьте, тетя Ксана, — пробасил Серега. — А после еды мы вам свои сообщим.

Оксана очнулась:

— Что, скоро бабушкой стану?

— Нет, мам, я же обещала с внуком подождать пару лет, пока учебу не закончу. Да ты садись, садись, поешь, и все пройдет.

— Что пройдет?

— Усталость твоя и плохое настроение. — Ну, настроение у меня не то чтобы плохое, а...

— Вот, вот, поешь и разберешься, какое оно.

Оксана переоделась, привела в порядок обувь, вымыла руки и села за стол. Без книги!!! Дочь, как только увидела это, воскликнула:

— Мам, что с тобой? Ты заболела или что-то еще произошло? Почему книжку не взяла?

— Какая книга? Тут такое со мной приключилось, чего ни в одном романе не было.

— Да ну?

— Утром, когда я опаздывала на совещание, меня один товарищ подвез.

— Ну и что тут такого? «Клеился» что ли? Ты у меня еще ничего. Так что вперед и с песнями. Даю тебе разрешение на знакомство, хотя тебе приказ надо было бы отдавать.

— Лен, хватит ерничать, я серьезно!

— И я тоже. Сколько одной можно быть? Не надоело?

— Лен, так он же на встречу Нового года напросился!

— Ну и что? Теперь и мы с Серегой будем гулять спокойно, зная, что ты не одна. А для страховки позванивать будем. — Так еще дел впереди сколько...

— Каких дел? Дом убран, дров для бани Серега наколот, тебе и остается только пирогов напечь да салатов нарезать. Мам, ты нам только до третьего пирогов оставь, ладно?

— Оставлю, не бойся.

— Ты, мам, ешь, пока не остыло, а мне еще собраться надо в дорогу.

Оксана ела приготовленный дочерью суп, совершенно не ощущая вкуса, погружившись в воспоминания. Машинально кивала головой, слушая рассказы Сереги о сданных зачетах и прочих, мало занимавших ее сейчас, новостях. На пороге возникла Ленка:

— Ма-а-м, ау-у!

— Да, что?

— Мам, пока не забыла: мы вчера с Серегой сделали пару комплектов ключей от дома — один ему, один — тебе, на всякий случай. Ты ведь всегда хотела иметь запасные. Это наш тебе новогодний подарок.

— Спасибо,— растерянно произнесла Оксана, целуя дочь и «условного» зятя. Вопрос ключей решился так легко и быстро, ведь если Рошин. Она боялась загадывать — не раз обжигалась. Между тем Ленка и Серега попрощались, пожелав исполнения желаний, и поспешили на электричку. Оксана осталась одна.

Привычные хозяйственные дела не могли успокоить ее возбужденные нервы. Оксана включила музыку для релаксации и, устроившись в любимом кресле, произвела «разбор полетов», как приучил ее делать брат-летчик.

Факты таковы: во-первых, мужчине сорок два года, ухожен. Во-вторых, Рошин напросился в гости. Зачем так необходимо знакомство с ней? Какова выгода для этого явно не криминального «авторитета»? А если уж Филипп Николаевич рассказал своему партнеру о ней, то явно ново обретенный друг — мужик стоящий. Лисицын поддерживает отношения только с надежными людьми. В-третьих, то, что Михаил Николаевич собирал на нее досье, говорит о серьезности намерений. Каких только? Оксана была убеждена, что ее безопасности ничто не грозит: не богатая наследница, полдома в поселке, почти в глухомани. Значит, это знакомство преподнесет только приятные сюрпризы. В-четвертых, внешность Михаила Николаевича кажется странно знакомой. Но, нет! Оксана помотала головой, прогоняя наваждение. Ведь не может быть, чтобы со страниц ее недописанного романа шагнул один из главных героев, чья встреча с героиней была предопределена. Роман валялся в столе уже три года — ну никак не получалось правдоподобно описать знакомство людей, сразу же понявших, что они созданы друг для друга. А уж как сложатся их дальнейшие отношения, Оксана еще не могла решить. А вдруг возможно чудо? Не зря же она верила, что мысли материальны, и может сбыться самое невозможное, если только очень захотеть. Пусть и не сразу, но все же... А тут и Новый год на пороге, значит, возможны любые чудеса... Но что же нужно в жизни именно ей?.. Оксана думала недолго, все уже было решено давно. Она села за письменный стол, вытащила из ящика рукопись и внимательно перечитала описание главного героя.

«За окном хлестал летний ливень. В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит. В окно постучали. Татьяна посмотрела и сквозь пелену воды увидела темный силуэт в дождевике. Бедняга, промок, наверное, до нитки, несмотря на плащ. Она открыла дверь, и мужчина вошел, откинул капюшон.

— Здравствуйте, здесь живет тетка Ефросинья?

— Да, но она сейчас ушла ненадолго. Закончится дождь, придет. Вы проходите, подождите.

Мужчина внимательно всмотрелся в лицо Татьяны:

— Вас зовут Татьяной? Вы были два года назад в Марселе?

Татьяна удивилась несказанно: он что, уже бредит?

— Нет, конечно, я никогда не ездила дальше Москвы. А откуда вы знаете мое имя?

— Когда я был во Франции, на улице одна старушка, из эмигрантов, остановила меня: «Будь осторожен, сынок, только Татьяна спасет тебя от неминуемой беды». Я было подумал, что нужно молиться святой Татьяне, но именно ваше лицо я увидел, попав на операционный стол в результате аварии через два часа. Именно вы,

ваши руки, ваш голос вырвали меня из лап смерти. И вот, после напрасных поисков, я встречаю вас в этой глуши.

Татьяна слушала неожиданную исповедь гостя, рассматривая его запоминающееся лицо: волевой подбородок, потемневшие от влаги светлые волосы, глаза то ли голубые, то ли серые, прямой нос, четкая линия губ, над правой бровью старый шрам, как видно, след травмы. Когда незнакомец сбросил дождевик, атлетическая фигура предстала во всей красе, военная выправка бросалась в глаза. Такой надежностью веяло от этого мужчины, что Татьяна готова была сразу же шагнуть в его объятия, в это кольцо бережных и крепких рук. Каждой женщине хочется быть слабой, это ей подходит больше, чем упорная борьба за место под солнцем...»

Оксана отложила изрядно потолстевшую рукопись только через восемнадцать часов. Это было удивительное состояние: спать совершенно не хотелось, есть тоже, силы брались непонятно откуда.

До предполагаемого приезда Рощина оставалось только восемь часов, А дел еще невпроворот! Пироги, бисквитный торт, салаты!..

К назначенному времени пироги источали умопомрачительные ароматы, в прохладном месте сказочным замком высился торт, стол сервирован в традициях лучших ресторанов Лондона и Парижа, словом, все было готово к романтическому ужину. Оксана в последний раз повертелась перед зеркалом в самом нарядном платье и взглянула на часы: 21-58. Если верить обещаниям Рощина, то через две минуты он позвонит в дверь, но зазвонил телефон:

— Оксана? Извини, маленькие неприятности, вынужден задержаться.

Оксана как будто и ждала такого поворота событий, боялась поверить в свою удачу, поэтому постаралась бодрым голосом произнести:

— Жаль, конечно, я все понимаю. Спасибо, что позвонили.

— Да ничего ты не понимаешь! Шину проколол, один меняю колесо. Быстро не получается. Но я обязательно приеду. Жди! Жди и верь, что все будет хорошо.

— Да, конечно, будьте осторожны.

Оксана, разочарованная, положила трубку.

— Что, глупая, сказки захотелось? — ядовито спросила Оксана у своего отражения, остановившись перед зеркалом. — Не надоело верить в чудеса? Убедилась, что их в жизни не бывает? В книге можно написать все, что угодно. Читатель любит «хэппи-энд», хочет отвлечься от обыденности, заевшей его до печенок. Кстати, о печенке. Заем-ка я сладкой плюшкой горькую новость. Подумаешь, не в первый раз одна Новый год встречу.

И Оксана надкусила соблазнительно-пышную «розочку», усевшись перед телевизором. Бездумно щелкала кнопками пульта, ни одна передача не привлекала.

— Странно, — думала она, — до сих пор я безошибочно определяла характер человека. Как же я оплошала в этом, столь важном для меня случае?

Тут заверещал звонок. Неужели, все же ОН?

Оксана бросилась было открывать дверь, но затем нарочно неторопливо пошла. Пусть Рощин, если это действительно он, поймет, что в нем не слишком-то нуждаются, пусть много о себе не воображает. На пороге действительно стоял Михаил.

— С наступающим, Ксана. — Он чмокнул ее в щеку. — Да не стой столбом. Время поджигает, уже 23-15. Так что держи гостинцы. А я заберу оставшиеся пакеты из машины и закрою ее.

Но Оксана все равно была неподвижна — слишком резок переход от радости к разочарованию и обратно. Михаил снова возник перед ней, нагруженный не хуже любого верблюда, разве только что в зубах не было пакета.

— Если бы ты знала, Ксана, как аппетитно пахнут твои пироги! От самой дороги почувствовал этот восхитительный запах. Совсем, как в детстве.

Рощин вошел в дом, взял ключи и запер дверь. Не суетясь, но быстро, разделся. Помыл руки, повязал фартук и начал распаковывать привезенные свертки, нарезать и раскладывать по тарелкам деликатесы. Оксана только успевала относить тарелки на стол. Шли последние минуты старого года.

Михаил открыл шампанское умело, без стрельбы, разлил по фужерам и произнес тост:

— Спасибо этому году, он нам помог встретиться. За сбывшиеся мечты!

Они соединили бокалы, выпили и Рощин поцеловал Оксану, как бы вспоминая давно забытое. Президент говорил умные слова, а они не могли оторваться друг от друга. И когда куранты отбивали полночь, их поцелуй продолжался. Михаил произнес, едва заиграли гимн:

— Выходи за меня замуж, Ксана. Я хочу, чтобы мы вместе встречали каждый следующий год, чтобы мы все оставшиеся нам дни провели рядом.

Оксана возразила:

— Как же так, сразу...

Зазвонил телефон:

— Мам, с Новым годом тебя. Как вы там? Привет Михаилу Николаевичу от меня и от Сереги. Мы его просьбу выполнили, так что с него причитается. Оксана так и села.

— Лен, о чем ты говоришь? Ты знакома с...

— С Михаилом Николаевичем? Да. Тебе понравился сюрприз?

— Да уж, подарочек получился, будь здоров!

— Ну, ладно, мам, целую. Михаил подошел, обнял за плечи,

— Ну, выйдешь за меня?

— Да я же не знаю о вас ничего.

— Не беда, будет чем заняться ближайшие лет тридцать. Знай главное: я тебя люблю.

Оксана действительно увидела в его глазах любовь и совершенно неожиданно для себя порывисто произнесла:

— Да. Я тоже хочу провести с тобой вместе оставшиеся дни жизни. Они скрепили договор поцелуем, кружившим голову лучше любого шампанского.

— С Новым годом, любимая.

— С Новым годом. Но я все же хотела бы узнать про этот заговор с Ленкой...

— Прямо сейчас? У нас есть лучшее занятие, чем расплетать нити интриг...

Вот и вся сказка, уважаемые читатели.

Остается только добавить, что Рождество Оксана встречала с золотым кольцом на правой руке.

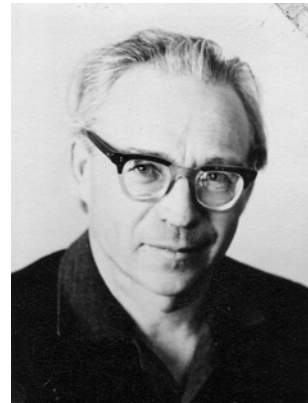
P. S. (Тем, кто ждет морали).

Кто-то скажет, что нельзя быть такими безответственными людьми, как Оксана и Михаил, что эта встреча двух весьма взрослых людей маловероятна, еще менее вероятно, что они смогут поладить, толком ничего не зная друг о друге. Но кто мы такие, чтобы судить о том, что может быть, а чего не может? Очень часто чудеса стучатся в нашу дверь, а мы ленимся встать и впустить их. Пусть будут совершены ошибки, пусть будет слишком много доверия, пусть мы зря свернем с торной дороги, погнавшись за блеском золота, которое и впрямь может оказаться обманым. Гораздо хуже самого себя корить потом, что не совершил ни одной безрассудной попытки найти счастье. Ибо «безумству храбрых поем мы славу»! Без веры в чудо жизнь невозможна!

ПОЭЗИЯ

Борис Шепелев

(PERSONALIA)



*Шепелев Борис Егорович родился в 1928 году в селе Христофоровке Ламского (теперь Со-
сновского) района Тамбовской области. Мать с двухклассным начальным образованием, кре-
стьянка, отец окончил трехклассную церковно-приходскую школу. Он и его старший сын Ми-
хаил — участники Великой Отечественной войны. В семье Егора Андреевича и Прасковьи
Яковлевны было 5 детей: сыновья — Михаил, Борис и Валентин — получили высшее образова-
ние. Михаил — капитан в отставке, Почетный чекист СССР, последние годы работал ар-
битражным судьей Тульского облпотребсоюза. Валентин, умерший от инсульта в 1999 году,
полковник в отставке, кандидат философских наук, доцент, завкафедрой общественных наук
Серпуховского высшего военного училища РВСН, член Союза писателей России. Сестры: Ли-
да — библиотекарь, Фаина — завдетсадом, Отличник народного просвещения РСФСР. Борис
окончил в 1949 году Тамбовский пединститут, филологический факультет, большую часть
времени работал директором средних и восьмилетних школ, увлекался литературным твор-
чеством, печатался в газетах КазССР (где проработал 22 года), Тамбовской, Тульской и Ом-
ской областей. Б. Е. Шепелев — активный общественник, член КПРФ. За годы работы на-
гражден дважды медалями «За доблестный труд».*

СТАРЫЕ КОНИ

Мчится табун молодой по лугам,
глухо земля под копытами стонет —
дрожь пробежала по вашим ногам,
много потопавшим, старые кони.
Радостно лишь молодым,
целиной
мчаться в упругом неистовом гоне.
Что ж вам привиделось за пеленой
пыльного облака, старые кони?
Может, представилось: вы рысаки,
тянетесь в скачке к лавровой короне?
Перебирая с трудом мослаки,
еле плететесь вы, старые кони.

Вам бы привычней идти бороздой,
вами проложенной в прежнее время,—
не удержать в борозде и уздой
в новое время новое племя —
старую борозду некому гнать,
и ни души в опустевшем загоне,
бродит селом неприкаянных рать —
старые кони, старые кони!
И, тем не менее, без борозды,
что проложили вы, старые кони,
где уж дойти до счастливой звезды —
не разглядеть ей из-под ладони...
Мчится куда-то табун молодой,
глухо земля под копытами стонет...
Как же не хочется вам на покой,
все растерявшие, старые кони!

ПИСЬМО ДРУГУ

Куда ни сунемся, друг мой,
во что-то вляпаемся снова...
Нам нужен путь совсем иной,
где честный труд всему основа.
Но не могу почесть за труд
«усердье» хапнувших немало,
что в забугорье прут и прут
награбленные капиталы.
Таких «двупаспортных бродяг»,
Россию напрочь обобравших,
в Госдуме видели на днях,
на коммунистов налетавших.
Легко ли дышится теперь?
А дальше — больше, еще горше;
открыта настежь в пропасть дверь,
как в окружении под Оршей.
Все обещают нам рассвет.
Давно нет власти коммунистов...
Но где ж в конце тоннеля свет,
Где общий рай, небесно-чистый?
Сто раз обманутый народ
рад обмануться и в сто первый —
знай, голосует за господ
и не поймет, что служит стервам...
Ах, горемычный мой народ,
крупинки опыта вбирая,
все ждет подачек от господ —
забыл, знать, про «Дары Даная»...
Бросать, однако, ни к чему
посты в Госдуме коммунистам:
осилить надо так чуму,

как разметелили фашистов!
Чтоб не упасть совсем на дно,
чтоб оградить себя от муки,
скажу тебе, мой друг, одно:
не доверяйся длинноруким.
За Красным знаменем иди,
где коммунисты впереди.

ГЕНИЮ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Ты так безвременно сгорел
в неравной схватке с камарильей
от яда выпущенных стрел
самодержавного всесилья!

Но след, проложенный тобой
пером гусиным на бумаге,
тебя возносит над толпой,
подобно реактивной тяге.

В века ты шествуешь, как бог,
наперекор придворным бесам,
подставившим твой чудный слог
под пули гнусного Дантеса,

того, кто Тьеру помогал
душить Парижскую Коммуну,
как нас родной ему кагал
глушит оравой полоумной...

Секрет поэзии вкусив,
ты так блеснул своим талантом,
что остаешься на Руси
непревзойденным бриллиантом!

ВЫПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ

И радость, и волнение
сплелись в один венок —
в звонок благодарения,
в последний нам звонок.

Мальчишки и девчонки
на новую ступень
поднимутся под звонкий
звонок в последний день.

От школьного порога
лишь мы, выпускники,
пойдем своей дорогой —
стоять нам не с руки!

Мы скромные букеты
вручим учителям,
а там, глядишь, ракетой
взлетим к иным мирам.

Иные испытания
нам жизнь преподнесет,
но школьных лет дыханье
все ж облегчит нам взлет...

Пройдем сквозь серость будней,
взойдем на высоту,
а школу не забудем:
залог нам счастья — тут!

Тут знания нам давали,
учили тут добру,
а доброту едва ли
когда года сотрут!

И радость, и волнение
теснят невольно грудь:
пусть Родине спасением
послужит весь наш путь!

ВЕСНА ИДЕТ!

Сейчас у нас
 сады в кипенье белом,
зеленый лес на фоне голубом,
и молодеешь сам
 душой и телом,
готов опять
 ломиться напролом:
жать руку встречным,
 улыбаться солнцу,
бездумно петь,
 бездумно рифмовать —
пускай бурбоны чахнут над червонцем,
мне в высшей степени на это наплевать!
Весна идет!

 Вдыхаю свежий ветер,
плыву на легкой тучке в небесах,
а мне с земли
 детей улыбки светят

и слышу — соловьи
поют во всех садах!
Они поют нам,
люди дорогие,
чтоб не забылись
в жизни никогда
ни соловьи, ни зори золотые
в житейской суете, в горячих днях труда...
Когда меня пригнут года угрюмо,
без спроса старость влезет в кумовья,
о том, что были мы когда-то юны,
пускай напомнят песни соловья.
Как будто бы присыпанный порошей,
раскинув платья белые свои,
наш старый сад, по-юному хороший,
невестушкой на выданье стоит...

О ВСТРЕЧЕ С ВАМИ, МОЛОДЫМИ

От встречи с вами на душе светлее —
сам запыхал задаром молодым!
И если Русь пока что только тлеет
и от нее пока лишь горький дым.

Я, в ваши очи заглянув, увидел
как будто все, что будет впереди,—
там горизонт Руси в цветущем виде
лучится счастьем у людей в груди.

Растут дворцы учебных заведений.
Штурвал прогресса в молодых руках,
творцов искусства расцветает гений
и урожай богатый на полях.

В любовь и дружбу, труд и вдохновенье
счастливо погружается народ,
отбросив прочь эпоху разложения
заворовавшихся господ...

Но как удастся вам развал осилить
и к равноправью привести народ —
неужто, в самом деле, без насилия??
А грандиозный нужен поворот!

В одном уверен: без объединения
всех честных бедных
в боевую рать
не избежать глубокого паденья
и кандалов господских не сорвать...

Благословляя всех вас в путь счастливый,
желаю вам всем сердцем, от души
идти вперед дорогой справедливой
и не забыть оставшихся в глуши!

ПИСЬМО

Письмо, откуда ни придет,
на сердце радостью ложится:
по строчкам взгляд — и мыслей взлет
несется перелетной птицей
туда, в далекие края,
откуда вести прилетели,
тем более, где жизнь твоя
бежала с детской колыбели,—
туда, где «чижика» гонял,
где гнал шары в казну дубинкой,
где вечно из-за кур скандал,
где дрался с Груниною Нинкой..
где знания первые вбирал,
где и окончил семилетку
и где военных лет аврал
трепал и закалял нас крепко.
...В глазах предстанет вдруг одна
вся в голубом, вся недотрога...
В мечтах тону, не зная дна:
жаль, не ко мне ее дорога...
Лишь позже выяснил: ко мне!
Увы и ах! Прошло, проплыло:
она и я почти на дне,
где это прошлое застыло.
И все же радостью пахнет
от всплывших вдруг воспоминаний,
как будто бы растаял лед —
весна, и в самом деле, с нами!

У ПОСЛЕДНЕГО ПРИВАЛА

Отшумели годы бурного веселья!
Молодые годы — полая вода:
с грохотом лавиной шли на новоселье,
разлились и стихли,
как вода в прудах...
Лысиной сверкаю. А бывало — кудри
шевелюрой пышной вились на ветру.
Нынче, что ни вечер, провожу на печке,
а домой, бывало, приходил к утру...
И моя старушка мне под стать:
с глушиной,

красоты манящей и в помине нет...
А давно ли было — не один мужчина
стать ее любимым бредил много лет...
Да, увяли годы, как трава под осень,
Но как той весною годам не шуметь,
не ломиться к жизни через дебри лосем —
убывают силы, стыну в тишине...

ЖУРАВЛИ

Журавли надо мною летят,
клик прощальный срывается с кручи.
Опуститься они не хотят —
их вожак отступать не приучен...

Хоть крутом непроглядная мгла,
мрачно виснут набухшие тучи.
Магистраль журавлям пролегла
только так, невзирая на случай.

Вслед за клином подольше гляди,
пока в небе печаль не истает —
До чего же тревожно в груди
проводить журавлиные стаи!

Клик прощальный навеял сей стих,
бередящий мне душу до боли:
так детей провожал я своих,
оставаясь прикованным к школе...

Маргарита Андрианова



* * *

Привела меня дорога к храму
по ступеням паперти моей.
Поднимаюсь, вспоминаю маму,
и отца, и брата, и друзей.
Нет их больше в этом мире тесном,
тихо бродит по земле их тень,
по местам, одной лишь мне известным,
по тропинкам памяти моей.
Память, память вновь ведет на паперть.
Я стою здесь не одна — с толпой.
Нищета так может только ранить,
нищета — вот бич и жребий мой.
Сколько здесь больных, убогих, нищих
и интеллигентных стариков,
и они не просят хлеба, пищи,
не стоят с протянутой рукой.
Это часть Руси собралась ныне
на ступенях паперти моей.
Старики и дети — вы святые,
неприкосновенны в беге дней.
Вы должны быть сыты, защищены,
сильных мир вас должен охранять.
Отчего ж судьбою опалены,
так над вами плачет Божья Мать?
И вы вызов бросили сегодня
господам, что мир рожают свой,
той России нынче не Господней,
а господской с ее крутизной.
Истина родилась не сегодня.
Говорят:
— Считай который год,
все земное царствие Господне,
заменилось царствием господ.
Милосердие стало малосердьем.

Мало сердца — мало теплоты.
Отчего бездомным нынче детям
не построят храмы доброты?
Отчего одни слова по ветру,
брошенные красочно, летят,
жесты благородства — только жесты,
а дела под спудом все лежат.
Это только в песне так поется:
— По заслугам каждый награжден!
А народу нынче как живется?
Старость просто брошена на дно.
Грош цена тем нищенским копейкам,
что им государство подает.
Каждый, кто на паперти у церкви,
в шапку нынче больше соберет.
Как так можно не любить Россию,
ни детей, ни баб, ни мужиков! —
Зерна доброты давно не сеем,
паперть — место сбора стариков.
Просят они милости у Бога.
Милостлив он в доброте своей.
Как же папертей в России много,
и на них ограбленных людей.
Я среди них на паперти сегодня.
Я в толпе разбуженной, людской.
Милость может только быть Господней.
Милостыня — может быть любой.
Только мне совсем ее не надо.
Боль от униженья — велика.
Будь же доброта для всех отрадой,
и щедра для всех ее рука.

* * *

А ветер дул и дул холодный,
зима все тропы замела.
Бродяга-волк ходил голодный
вблизи соседнего села.
Он видел огоньки жилые,
когда смеркалось все вокруг,
и лаяли собаки злые,
заснежен был и дол, и луг,
но не было подруги рядом,
и рядом не было друзей,
седой, матерый волк-бродяга
решил найти их среди людей.
Он брел окраиной, дворами,
среди сугробов, снежных ям,
и выл от горя вечерами:
— И где ж подруга ты моя?
Вой слышали село, деревня,
и вся округа: лес и дол;

и мир заснеженный и древний
почувствовал, что волк был зол.
А в нем от боли умирала
любовь, что не нашла пути,
а волк все выл и выл, взывая:
— Приди, любимая, приди!
И вот вдали вдруг показался
не волчий вовсе силуэт.
Он шел, он рос, он приближался.
То был старик преклонных лет.
Когда душа полна тревоги,
и голодно, и смерть вокруг,
и волк встречает на дороге,
и человек ему как друг.
Что хищник ждет от человека?
Два существа в одной беде.
Их раздели... и каждый где-то
закончит жизнь сам по себе.
Глаза в глаза глядят упрямо,
а смерть? — что им, как Божий дар!
И вот за человеком прямо
шел волк, и тоже был он стар.
А в сумерках темнело небо,
а дом был пуст и одиноко,
и все ж он волку вынес хлеба.
Отдал последний свой кусок...
Так родились два верных друга
(в беде рождаются друзья),
и это знала вся округа:
их разлучить было нельзя!
Ах, времена! В них только волки
умеют доброту ценить,
а нам еще ведь долго, долго
среди людей придется жить...

* * *

От церкви в ночи исходило свечение,
и в души людей нес тот свет очищение,
а в небе горели мириады светил.
Летал надо мной ангел мой — Херувим,
два белых крыла — оберег для души —
хранили меня в этой звездной тиши.
А звезды одна догоняла другую,
а голос так дивно мне пел аллилуйю,
а люд православный мой тихо молился,
а свет, зримый свет, в небо лился и лился.
— Откуда ты, ангел, небесная новь,
ты — мой талисман, ты — надежда, любовь.
Скажи, из каких ты горящих светил
явился ко мне и луч света дарил?
А это свечение — далекое чудо,

и звезды, и проблеск небес, вы откуда,
откуда ты, звон колокольный, вдали,
куда же плывут облака — корабли?
Куда? — Не сказал Херувим и исчез.
Как много святого в разливе небес,
и тучи дождем пролились в небесах,
и Дева Мария тоскует в слезах...
и белая смерть закрывает глаза,
и дым от пожаров катит в небеса.
Ведь так не велось на Руси испокон,
а сколько в итоге сожженных икон,
а сколько голодных бездомных детей,
и сколько калек, сколько в мире смертей.
А правда одна, и она в мире есть,
и есть еще в мире и верность, и честь,
но где эту правду и честь отыскать?
И плачет над Русью святой Божья Мать...

* * *

Одна березка в поле не растет.
Ветер семена ее так дружно сеет.
Молодое племя через год взойдет,
и березке в поле станет веселее.
Так и человеку — трудно одному,
там, где жизнью правят рваные ветрила.
Если ты не раб и знаешь что к чему,
то борись, покуда жизнь не опостылела.
Пусть же жизнью правят люди на планете,
а не одиночки — серые вожди.
Пусть рождаются и смеются в мире дети
и любовь не смоют грустные дожди.
А она в цветенье, а она в рассвете,
а она в росе, что радугой горит.
Лишь в любви желанной много, много света.
Солнечный мир счастья! Бог тебя хранит.

* * *

Как дивно тиха сарафанная осень:
земные узоры, небесная просинь...
И вдруг просветлело бездонное небо,
и музыка Баха рождает напевы.
А краски все ярче! Горят сарафаны
то желто-зеленым, то ярко-багряным.
Такие наряды лишь модницы носят.
Гуляй, сарафанная яркая осень!
Она улыбнулась, а небо упало
в озера-глаза синевы небывалой,
а в косы златые взгрустнувшей березки
кто вплел этот бант кружевной и столь броский?
Плывет в сарафанах нарядная осень.

Бриллианты в росу лучик солнышка бросил.
Ступает так тихо красавица-дева.
Она нынче краше любой королевы!

* * *

Дремлет осень в туманном пологе,
будит краски лучом золотым,
а душа моя в свете золота,
растворяясь, сливается с ним,
растворяется, тает в тумане,
что ложится густой пеленой,
песней ласковой нежно манит,
и шуршит лист сухой под ногой,
а в раскрывшихся синих вершинах
дельтапланы в полете парят.
Рассекая потоков стремнины,
гуси-лебеди к югу летят,
гуси-лебеди счастье уносят.
Взмах крыла. Снова сжалась душа.
Отчего сердце радости просит,
отчего Русь покинуть спешат?
Гуси-лебеди низко летели.
Помашу им рукою вослед.
Остаюсь я одна. Осень стелет
под ногой свой рубиновый след.
А березка мне радостно шепчет
все еще не опавшей листвою:
— Время раны душевные лечит.
Пусть летят. Остаюсь я с тобой.
И становится сразу мне легче.
Я дождусь птиц любимых, дождусь!
Мир осенний до боли изменчив,
и грустит со мной тихая Русь...

Наталья Резодубова



АЗБУКА

Слагала буквы в азбуке,
слагала
стоявшие так далеко —
так близко,
стоявшие разрозненно —
друг с другом,
соединяла их в излюбленное
слово.
Была так незатейлива
работа,
и так по-детски трепетно
желанье,
и удивление
успешностью попытки —
восторг нахлынувшего чуда...

То было лишь мое
очарованье
в границах времени
и в берегах пространства.
Другим же ничего не говорило
в плену любви слагаемое
слово.

ОЧАРОВАНИЕ

Очарование мое, очарование...
Души негромкое призвание.
Мое весеннее сомнение
и настроение.
Любовь безоблачная, нежная,
моя причуда неизбежная,
одно нестрастное желание,
очарование.
Судьбы страничка из блокнотика,
моя фантазия, эротика,

бесхитростное заблуждение
и упоение.
Мечта, свою вершину длящая,
низвергнутая, восходящая,
неслышное мое признание,
очарование...

ФАНТАЗИИ ВЕСНЫ

1

Какое множество надежд
моею легкою рукою
на Вас возложено. Но нет,
не отвечайте, я не стою
и малой доли сей...

.....

В кругу другой —
красивой, страстной
(я, верно, Вас не сберегу
от этой прихоти опасной —
от исполнения надежд
высокомерных, своенравных)...
Кому какое дело, ведь
по праву здесь она,
по праву...

2

Оригинальность вряд ли
к месту,
о, мой родной, —
назвать при всех
свою невесту —
своей женой.
Очаровательна небрежность
и дерзкий шаг,
сколь неподдельна
Ваша нежность,
но грустно как!
Я Вас любила,
так искусно
в себе тая,
а вот сегодня
хлещет чувство
через края.

3

И это все. И ты меня не любишь.
И в этом все. О чем тут говорить?
Ищу в душе спасительную нить,

перебираю: я забуду, будешь
меня любить. Придет еще другой,
моложе и красивей несомненно,
в его глазах я буду королевой,
с ним обрету и счастье, и покой...
...А что с тобой?..

А как же быть с тобой?...

* * *

Весна — шалунья, девочка из леса,
послушница и дикая газель;
как спящая красавица, принцесса,
нашедшая волшебную свирель...

Разбужены чарующею песней,
потянутся деревья и цветы,
и хороводом легким и прелестным
завьются птицы возле рук Весны.

Дрожащей, солнечной, звенящей нотой
коснется эта музыка души.
И кто же я, и кто же ты? Как-будто
нам только что и сказано: *дыши...*

* * *

Осыпать душу светлыми стихами,
как белой яблоней — цветущий сад,
как землю — запоздалыми снегами,
хранящими тепло и аромат.
Я снова где-то повстречаюсь с ветром,
в долине наших снов и облаков.
Я буду Вам загадочным ответом
среди сменяющих года веков.

* * *

А. И.

Я становлюсь твоим прошлым,
я становлюсь твоим сном.
Даже не самым хорошим,
и не о том.
Зря ты пытаешься вспомнить
в утренний явственный час
грустную милую повесть
или рассказ.

Время бессильно вернуться
вспять, к облакам, в синеву.
Так нелегко улыбнуться
мне наяву.

Может быть, только приснились
музыка, сцена и ты?
В мире забот исказились
наши черты.

Время разбрасывать камни.
Сколько же нам довелось...
Но сквозь отчаянье — память:
что-то сбылось.

* * *

Выплакаться в тетрадь:
синих чернил озера
медленно проливать
с горя.

Красться к тебе с тоской
зверя в ночи беззвездной.
Видеть себя другой
поздно.

Поводырю — слепой:
выхвати из тумана,
но от чужих глаз скрой
раны.

Не миновать в пути
ни миража, ни лиха.
Только перекрести
тихо.

Может быть, хватит слез
преодолеть усталость
и не принять всерьез
жалость.

Выплакаться в тетрадь,
чтобы потом, однажды,
высохла эта страсть
с жажды.

* * *

Пока не кончилась печаль...
(я успокоюсь, дай мне время:
благоразумие в речах
и благонравие в поэме).

Пока не кончилась строка,
дай мне признаться
(слабость — счастье),

как я рукам твоим близка,
как я покорна этой власти.

Пока не кончилась любовь,
дай мне грубить и забываться,
чуждачкам не прекословь...
Так больно будет разбиваться.

ГАДАНИЕ

Всегда уходят короли.
А остаются разговоры,
пустые хлопоты, раздоры
и острый холодок в груди.

Куда уходят короли?
Их ждет любовь крестовой дамы;
а я — с заботами, слезами
и мне, увы, не до любви.

Смешные эти короли...
Их было больше, чем четыре.
Но в карточном игривом мире
на это правила свои.

«Ну что ж, прощайте, короли,—
скажу я медленно и строго,—
ведь впереди у вас дорога,
и мой поклон вам до земли».

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

1

Осень милая — слез не выдала,
слов не выдала, боль не выдала;
умывала дождями синими,
заговаривала осинами,
и ни в чем-то мне не перечила,
не пугала шальными встречами,
снами добрыми отгоняла страх
и баюкала на семи ветрах.

2

И загнанная в свой квартал,
где столько листвы облетело,
я вспомнила, ты обнимал
мое невесомое тело.
Ребенок, живущий во мне,
чему-то смеялся, играя,
и там, далеко в вышине,
мне слышались отзвуки рая...

* * *

Там, где радость гуляла
и граничила с болью,
где судьба не давала
победить своеволью,
сердце билось так часто,
но как-будто смирялось ...
Я хотела быть частью,
что в тебе растворялась.
Новогодней игрушкой
после звезд листопада
обозначилось время
Нескучного сада.
То, что было расцвечено,
величаво застыло.
На каком из наречий
мы с тобой говорили?
И какую сонатою
отзовется невольно
время с поступью радостной,
но граничащей с болью?

* * *

По нежной траве,
по нежной зеленой траве,
у синей воды,
у огромного серого камня
искали следы,
нарочито искали следы,
не помня кого,
и для нас это было забавно.

Брели — и песок,
золотистый сыпучий песок
струился у ног,
забивался в тугие сандалии,
блестел на губах, —
и не мучило бремя дорог,
и глаз не пугали
глубинные белые дали.

То — выпавший снег,
то — капризный и тающий снег,
засыпав следы,
забавлялся, искрился, лукавил;
и слышался смех:
мы действительно были вольны
забросить игру
без начала, конца — и без правил.

* * *

Снег Рождества ложится незаметно.
Светло и тихо. Тихо и светло.
И то едва ль не главная примета —
так в этот мир приходит Рождество.
Звезда зажжется. И волхвы за нею
потянутся и обретут свой путь.
Они узрят Младенца и Марию
и Им дары благие принесут.

* * *

Превыше всех земных чудес
(я различаю в их лукавстве,
в их суете — дремучий лес), —
бреду и слышу слово «Здравствуй!»

О, если б можно не понять,
бежать; пройти, промчаться мимо!
Но поздно что-либо менять:
и ты, и я — совсем без грима.

Я понимаю все. Как жаль,
что я так много понимаю;
я принимаю все: февраль,
броню, безумство — я стараюсь...

О, если б можно не писать
стихов в альбомы и открытки,
о, если б можно не читать
с лица — оставила б попытки...

И воду мне с лица не пить —
не утолить мне этой жажды.
Тебя навеки отпустить
сейчас. И встретиться однажды.

Евгений Черняев

СТРАНА ДУШИ



Евгений Георгиевич Черняев родом из Петушков Владимирской области. Служил в Советской Армии, участвовал в восстановлении Ташкента после землетрясения в 1965-го года. Окончил Владимирское медучилище. С 1975-го года живет в Туле. По профессии зубной врач. Стихи начал писать десять лет назад. В 2007-м году в издательстве «Гриф и К» вышел сборник его стихов «Страна души». В нашем журнале публикуется впервые.

РОССИЯ

Синеокая Россия, ты моя печаль,
На обочине стоишь позабытая.
На ветру не греет плечи вся в заплатках шаль.
Как устали босы ноги, в кровь избитые.

Где же лиха такхватила, безобидная?
Буераки да ухабы на пути твоём.
Что за долюшка досталась незавидная,
Как увидеть в небе сером журавлём?

Держишь посох, смотришь в даль неприкаянно.
Сколько лет ещё шагать да мытарствовать.
Красит волос сединой боль отчаянно,
Ой нескоро, грусть моя, будешь царствовать.

Изменило под дождями платье цвет зари,
Две холщовые сумы перевитые.
Не туда ведут тебя поводыри
В скоморошьих колпаках, сановитые.

Очнитесь, люди, и в глаза ее всмотритесь,
Что мы творим, простит ли нас она?
Смелее, крепче за руки возьмитесь,
Здесь мы живем, и нам она дана.

Давайте строить дом не за награду,
Все подметим с дубового крыльца.
И станет наша Русь подобна саду,
Куда не ступят ноги подлеца.

Молчаливая, могучая, упорная —
Мать великих русских матерей.
Ты, Россия, не Европа подзаборная —
Нарожаете нам еще богатырей.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Могила гения проста и непонятна,
Как непонятен был великий путь.
Судьба его жестока и превратна:
Он смог восстать и все перечеркнуть.

Сгораемый огнем душевного порыва,
Мечту, как пальмы ветвь, он миру передал.
Там, на краю печального обрыва,
Покой и счастье для людей сыскал.

И чудится его спокойный голос,
И видится глубокий, мудрый взгляд.
Как косит луг, стоит в траве по пояс,
Как угощает яблоком ребят.

И майским вечером, когда цветут сирени,
У темных покосившихся оград
Услышишь вдруг божественное пенье
И как Андрей с Наташей говорят.

Пройди аллеями, прудами и садами
И на скамейку с краешка присядь.
Соприкоснись с ним мысленно годами,
Почувствуй скорби русской благодать.

* * *

Люблю мой край всем сердцем и душой,
Его леса, луга и нивы,
Ракит, склоненных над водой,
Тяжелые, тугие гривы.

Здесь все: от тундры до тайги,
Шальных болот, пьянящих трав,
Степенность северной реки,
Величье царственных дубрав.

Вдыхаю жадной полной грудью.
Нагульный дух родных полей,
Где небеса звенящей ртутью,
Наполнил чудный соловей.

Ах, Петушки — мой родничок печали,
Благослови на многие лета,

Слезой чистой дождь омывает дали,
И боль уйдет, как вешняя вода.

Декабрь 1999 года

* * *

На восходе птицы весело щебечут,
На закате нам поют перепела,
В жаркий полдень в синем небе рыщет серый кречет,
Ночью темной старый филин мне сказал слова.

Верь кукушке: она, точно, не обманет,
Слушай сердце — у него такой же стук,
По гнездовьям свое счастье где-то оставляет,
Сдвинь ладони, чтоб не выпустить его из рук.

На пороге удержу не знает юность,
Полной речкой льет на мельницу вода.
На течение собираю по крупичкам мудрость.
По течению, как кораблики, плывут года.

Не жалею, что весной капли отзвенели,
Майским ливнем отшумела юность, ну и пусть.
Жаль, что в речке, где не надо, появились мели,
Жаль, что в доме рядом поселилась грусть.

Не по мне ли воют волком за окном метели,
Не по мне ли робкой дрожью у божниц горит огонь.
Бродят тени чередой у моей постели,
Да храпит за стенкой рыжий конь?

На восходе птицы весело щебечут,
На закате все поют перепела.
В жаркий полдень высоко летает серый кречет.
Ночью темной все звонят, звонят колокола.

* * *

Помню улицу родную, бархатом трава,
С батей вместе — штабелем на зиму дрова.
Разодрал сучком колено, кровь течет.
«Ничего, сынок, до свадьбы заживет!»

Не до смеху, жжет огнем оса,
Раздаю на три октавы голоса.
В первый раз узнал, когда на рану соль,
Как бугристый подорожник снимет боль.

Кулаком тру непослушные глаза,
Над малиной у соседки бантик-стрекоза.
На протянутой ладони ягоды лежат,
Слезы, как росинки, на щеке блестят.

И по-взрослому солидно подтянул штаны,
Горьким медом отзовутся тещины блины.
Вкус малины переспелой наполняет рот,
Не бросаю больше камни в этот огород.

Помню улицу родную, бархатом трава.
С батей вместе — штабелем на зиму дрова
Как давно все это было, вроде не со мной
Чай, заваренный малиной, пьем с женой.

* * *

Года шестидесятые, сарайчики дощатые,
Беседочки неброские, рассохшие полы.
Еще не нагловатые, мальчишки угловатые
Сдавали карты скользкие на гладкие столы.

Клубилась гладь стеклянная, как облако обманное,
Снимала Клязьма утреннюю, легкую вуаль,
И зайчики хрустальные, как кольца обручальные,
Манили в непонятную, таинственную даль.

А за углом у стеночки — копеечкой в пристеночку
Кончались споры драками, но не было обид.
Ведь были, точно братья, мы не тронуты проклятьями.
Считали нас вояками, но знали боль и стыд.

Гремели самострелочки, а рядом были девочки,
Косички заплетенные нам волновали кровь.
Коленочки и юбочки, наливом спелым грудочки,
В подъезде дома темного крестила нас любовь.

Года шестидесятые, простые, небогатые.
Колючие и ржавые, как цыпки на ногах.
Как хочется обнять мне вас, мальчишки конопатые,
И молча посмотреть в глаза с улыбкой на губах.

Александр Хадарцев



ГОД КРЫСЫ

Кабаний год сдает свои права!
Крысиный год все ближе подступает!
От выборов кружится голова,
которой стать холодной подobaет...

Но сердцу быть придется горячей,
чтобы согреть озябшие нейроны
от холода предвыборных речей
и цен, растущих под бамбука стоны.

«Стабилизец» остался лишь мечтой!
Инфляция — подарок новогодний!
Грядет дефолт рассчитанно-крутой,
с судов заморских сбрасывая сходни.

Мы, как всегда, надеждою сильны!
«Крысятничать» по жизни — не пристало!
Сейчас в нас Путин смотрит со стены,
как Ленин от Финляндского вокзала!

Нам, как всегда, предписано «пахать»
во имя снов грядущих поколений!
И не дано, по сути, выбирать,
кто зла пророк, а кто всемирный гений!

Пушай «крысиным» называют год!
С зубами! Значит, сможет прокормиться!
Январь-бездельник нас под елкой ждет,
чтобы не дать наутро протрезвиться!

Скрипит от мандаринов кожура.
Петард не слышно. Вроде — запретили!
Галдит, забот не зная, детвора...
Попса — на шоу, чтобы не забыли!

На Новый год «Ирония судьбы»,
как прежде, поздравляет «с легким паром!»...
С экрана смотрят старые грибы,
пропитанные крепким «Солнцедаром»...

Набат курантов, грусти вопреки,
шампанит жизнь, весну предвосхищая!
Поднимем выше стопки, мужики,
за наших женщин тост провозглашая!

По сути, мы все те же пацаны,
и те же быstroногие девчонки!
На оптимизм российский — нет цены,
поэтому бокалы наши звонки!

ДРУЖЕСКАЯ УХА

Мы чувствуем ершистость бирючка,
душистый смысл укропа и лаврушки,
с горчинкой злую перцовость стручка
и сверхбездонность нашей братской кружки.

Бродяга-омуль пересек Байкал,
напором баргузина устремленный!
Он кстати на пирушку к нам попал —
пусть не с душком, а с привкусом соленым!

Чеканил дождь по крышам свой узор,
потом в прорехах туч светило тлею.
Всегдашних тостов дружеский повтор
звучал, назло погоде, то и дело.

Давайте вздрогнем! Пусть в июльский день
Святой Георгий нам крылом помашет!
Да будет солнце! И да будет тень —
двойная суть обычной жизни нашей!

Судьбы загадки принимаем влет!
Поймите правильно, такие мы ребята!
Пусть только время-супер к нам придет,
виляя нежно попой, как когда-то!

* * *

Больницы не зря называются МУЗами!
Не чужд им волнующий стих!
С микробными можно бороться союзами,
лишь ритмами знаний своих!

Наука плюс опыт — итог гарантируют,
где даже летальности — ноль!
За эти дела вас пускай инвестирует
чужой иорданский король!

Лечить малышей — ваша участь бессонная,
в которой поносы и бред!
Четвертая! Детская! Инфекционная!
Живи в бесконечии лет!

ШУРИКИ

Хоть неизбежно в жизни нашей брэнной
придет склероз, кричи, иль не кричи,
не стоит забывать, что наши члены —
не только для сливания мочи!!

* * *

То ли сладкая клубничка загубила инсулин?
То ли — след того, что выпито и съедено?
Диабет второго типа — он для всех, про всех един!
Рассуждается легко! Послеобеденно...

* * *

Проходит медленно, печально
за годом — год, за солнцем — свет...
и остается за плечами
дорога, где ни — да, ни — нет!

* * *

Системы наши — не случайные,
но в них случайностей — полно!
В них флуктуации печальные,
как будто в патоке г..но!

* * *

Он с чувством нежности к жене —
спешил с работы! К ней, домой!
Но, можете поверить мне,
что он спешил к жене чужой!

* * *

Живем, как пуля на излете
перед последним кувырком,
когда сознание приходит,
что ты летел не тем путем!

УШЕДШЕЙ

В ином миру она теперь спокойна:
там нет забот, нет мужа, нет детей.
Там нет болезней, не грохочут войны,
нет горьких слез, улыбок и страстей!

Ее душа рассеяна в пространстве,
но в ней остался след земных обид,
который по пути вселенских странствий —
нет, нет, да и с Землей заговорит!

То каплями дождя прольются слезы,
то солнца свет — улыбку отразит!
Упреками души грохочут грозы,
стреляет град падением навзрыд!

Ушедшая, она осталась с вами!
Что было, есть, что будет — все одно!
Пускай нельзя обнять ее руками,
но есть во сне свидания окно!

Она теперь нигде, а, значит, рядом!
То мужа ненароком пожурит,
то сына озарит влюбленным взглядом,
то дочь за все, что случилось, укорит!

Она теперь — вибрация эфира!
Ну, а для вас, угасшая звезда!
Небесный рай — теперь ее квартира!
Земная память — пусть живет всегда!

НА СМЕРТЬ ВАСИЛИЯ

Хорошие люди
 уходят от нас безвозвратно!
А мы — остаемся
 в неясности тяжких потерь!
На солнце — от горя
 чернеют кровавые пятна.
В земные чертоги
 внезапно захлопнулась дверь...

Он больше не будет
 с друзьями смеяться по-детски!
Улыбка на фото,
 быть может, мелькнет, будто след
поступков его
 и не сверстанных дел молодецких,
и мыслей его,
 у которых названия нет!

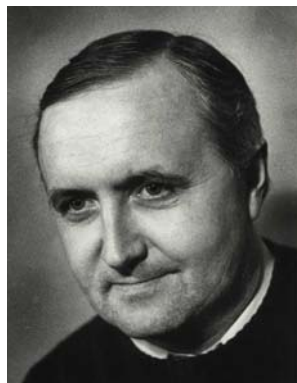
Сжимались пружиной
судьбой отведенные годы,
как будто готовили
этот уход в беспредел!
Для нефти и газа
прокладывал трубопроводы,
но жизнепровод для себя —
проложить не сумел!

Застыла прощально
судьба грандиозных проектов,
притих озадаченно
кладезь науки — ТулГУ,
построились ели
вокруг буныревских проспектов,
и ветер всплакнул
на вашанском крутом берегу...

Ему салютует
охотничье дикое братство,
жужжанием пчелы
прощаются с прахом его...
Супруга и дети —
семьи основное богатство —
скорбя по утрате,
не видят вокруг ничего...

Немеют друзья,
понимать эту смерть не желая.
Прости их за то,
что тебя не смогли уберечь!
Прости и прощай!
Знать, Всевышнего воля такая!
Пусть память хранит
теплоту наших дружеских встреч!

Владимир Сапожников



АЛКОГОЛИК

Грязный весь алкоголик
В луже лежал без чувств...
Эх, пропадет, соколик! —
Сплюнул прохожий. — Пусть!

Мало чего осталось
От человека в нем:
Печень — почти распалась,
Мозг — пропитан вином.

Чувства — тоже распались,
Не пожалеет мать!
Воля, словно сломалась,
Хочет только поддаться!

Хочет только напиться,
В мрачном забыться сне,
И не может трудиться,
Совесть тонет в вине!

Даже к семье равнодушен,
Где уж там до детей!
От алкоголя бездушен,
Пьет беспробудней, страшней...

Кто поможет такому?
Церковь, гипноз, врачи?
Сам он. И по другому
Хоть лечи, хоть кричи!

...Грязный весь алкоголик
В луже лежал... не вина!
Жаль, пропадет соколик,
Вместе с ним и страна!

Рычит, как-будто бультерьер,
Но уши — от дворяги,

Как-будто он силен и смел,
Но трусит, как бродяга...

И у людей бывает так:
Когда не знаешь масти:
Он с виду вроде как казак,
Но глубоко несчастен...

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 2007

Холодная серая осень
Сквозь мрачную туч пелену
Плохое опять напророчит,
Нашлет на народ, на страну...

Мы ждем, что, вдруг, станет полегче
Дышать, выживать... И просвет
Появится в слякотной сечи,
Как многих вопросов ответ...

Но цены растут бесконечно,
Съедает людей нищета.,
Растет ВВП... и, конечно,
На выборах вновь суета!

* * *

В голове свистопляска,
На душе — дребедень...
Жизнь — как грустная сказка,
Где мы — прошлого тень...

Не обнимешь любимую,
Не прочтешь ей стихи...
Что приснилось — то сгинуло,
И остались — лишь мы —

Поседевшие, лживые,
Потерявшие честь,
Перед хамами льстивые,
Да, какие уж есть!

Где теперь бесшабашные,
Озорные юнцы!?
Те, что были отважные,
И за правду бойцы?!

Извергались, изгадились,
Превратились в дерьмо...
А, как девушкам нравились?...
Это было давно...

Олег Пантюхин



О СТИХАХ

Стихи, как капельки росы,
Словами напитают душу.
Они защитой нашей служат
От равнодушной суеты.

В них все: любовь, борьба и мука,
Переживание и мечта,
И радость встречи, и разлука,
И глубина, и высота.

Пред ними ложь всегда бессильна,
Они спасают от обид,
И человеку дарят крылья,
Когда на грани он стоит.

И в мир наш, что не верит в чудо,
Прольется луч из чистых слов,
Если стихи дарить мы будем
Всем тем, кто слышать нас готов.

Ты слову доброму внимая,
Остановись, замедли шаг,
И посмотри, как высекают
Стихи огонь в людских сердцах!

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ

Лепестки цветов на снег осыпаются.
Если в сердце нет любви — надо каяться.
Если в сердце нет тепла, лишь неверие,
Правит лютая зима в нем с метелями.
Нам затеплить бы свечу у окошечка,
Чтобы душу согреть понемножечку,
Чтобы спутницы зимы льдинки острые

Вмиг от пламени свечи стали росами.
Эти капельки росы, капли святости
Вместо льдинок из обид будут радостью.
И тогда пойдет с небес дождь невидимый,
Омывая нас серебряными нитями.
Дождь любви, добра, тепла, сострадания
И во всех грехах земных покаяния...

* * *

Твоя Любовь хранит меня в пути,
Во всех дорогах, ото всех печалей.
И лишь она должна меня спасти,
Уже сейчас она меня спасает.

Я пью ее — родник живой воды,
Уставший путник, гибнущий в пустыне.
И чтобы выжить в бездне пустоты,
Твое святое повторяю Имя...

* * *

Душа разукрашена красками
Любви, что таится в ней.
И были совсем не напрасными
Уроки прошедших дней.

Все чувства давно позабытые
Вновь вспыхнут и вновь оживут,
У самого сердца сокрытые
Лишь часа заветного ждут.

* * *

За распахнутым окном — запах лета.
Сад тенистый опустел, правит полночь.
Только в отблесках небес видно где-то,
Что рассвет уже спешит к нам на помощь.

В тишине ночной рождаются мысли,
Те, которых не вместят строки.
Нелегко себя найти в этой жизни,
Обрести свой путь среди многих.

Без полета все вокруг — мука.
Тот, кто крылья обретал — знает,
Как звучат в душе любви звуки,
От которой все вокруг расцветает!

* * *

Дождь смывает летнюю пыль.
Тени прошлого больше не жаль.

И потоки небесной воды
Унесут из души печаль.

Мы посмотрим друг другу в глаза,
Чтоб понятно все стало без слов.
И услышится в песне дождя
Позабывтая нами любовь...

* * *

За окном осенний вечер,
Тихо клен листву роняет.
Вновь мгновенье нашей встречи
Раны прошлого затянет.

Не хочу рассудок слушать —
Он разлуку нам пророчит.
Верю лишь, что любят души,
Сердце с сердцем биться хочет.

Я коснусь тебя так нежно,
Что дыханье замирает,
Ты — любовь моя, надежда!
Я живу, я воскресаю!

С кем сейчас ты — я не знаю,
Неизвестно, с кем ты будешь.
Я хочу лишь знать, родная,
Что меня ты ждешь и любишь!

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ

Бело, торжественно и тихо,
Земля под снег погребена.
Мороз узор рисует лихо
На полотне оконного стекла.

Душа в спокойствии безмолвном
Как будто тоже замерла.
Но скоро вновь она растает
И станет радостью полна,

Когда сойдут снега и землю
Наполнят вешнею водой,
Когда подснежник самый первый
Пробьется через снежный слой.

Вокруг все станет вдруг моложе,
Легки и яркие будут сны.
И сердце ждет, слегка тревожась,
Своей спасительной весны.

* * *

Желтыми листьями октября
Двор застелен.
В то, что спасется наша Земля,
Свято верю.
Верю — очистится от беды
Вся планета,
Станет обителью доброты,
Любви и света.
Время придет, и наденем мы
Праздничные одежды.
Жив человек, и потому
Жива надежда!

ДОЛГАЯ ЗИМА

Какая долгая зима,
Ей нет конца и края,
В календаре уже весна,
Но снег еще не тает.

Замерзли серые дома,
И солнце тускло светит.
Где заблудилась та весна —
Никто мне не ответит.

Она забыла этот край
Ненастный и суровый.
Земля уснула навсегда
Под ледяным покровом.

Лишь птицы, чувствуя весну,
Щебечут свои трели.
На склонах гор стволы берез
Среди зеленых елей.

А в сердце странная тоска,
Немое возмущенье.
Душа устала ото сна,
Весна ее спасенье.

Придет желанная весна,
Пора любви настанет.
Растают души и сердца
И сразу легче станет...

* * *

Непонятное всем время года.
Состояние души непонятное.

Что же все-таки стало с природой?
Всюду серость и мгла непроглядная.

Навевает тоску и уныние
Тот пейзаж, что за окнами стелется.
Только знаю я, что и поныне мне
В непогоду лишь в лучшее верится.

В небе власть отдана серым облакам.
Жить без солнышка людям невыносимо.
В дни такие особенно надо нам
У себя в душе солнце отыскивать.

В ПУТИ

Дальняя дорога.
Стук колес в пути.
Счастье, слава Богу,
Я сумел найти.

Снег кругом и ветер,
А в душе тепло.
Если в Бога веришь,
Значит — повезло.

Что за поворотом —
Нам не угадать.
Бог один лишь знает,
Что нам в жизни дать.

ТРЕВОЖНЫЙ ВЕТЕР

Ветер.
Сильный ветер на свете.
Солнце.
Тонкий луч сквозь оконце.
Небо.
Сколько белого снега!
Люди.
Не поймут и осудят.
Память.
Злую шутку сыграет.
Души.
Наши души в удушье.
Дети.
Это жизнь на планете.
Вера.
Воскресила, согрела.

Счастье.
У Любви ты во власти.

* * *

В храме тихо и просторно,
Свечи у икон горят.
И когда на сердце больно,
Люди вновь сюда спешат.

Постоять и помолиться,
И прощенье попросить,
Дать слезе своей пролиться,
Чтобы душу ей омыть.

Пусть у всех своя дорога,
Люди вправе выбирать.
Каждый сам приходит к Богу,
Чтоб себя не потерять...

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ

АЛЕКСИНСКОЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЛО»

Алексинское объединение литераторов является, пожалуй, одной из самых старейших творческих организаций в области. История его восходит к 30-м годам прошлого века. В настоящее время «АЛЛО» объединяет любителей поэзии и прозы, для нас не существует возрастных ограничений. Каждый из начинающих авторов здесь находит помощь и поддержку в развитии литературных способностей. Ежегодно проводятся городские фестивали поэзии и авторской песни. Многие участники нашего литобъединения выпустили свои сборники, их произведения увидели свет и в коллективных альманахах разных регионов — от Новомосковска до Москвы.

Александр Кураев

РОЗА НАРЫШКИНА



По профессии литератор. Окончила Тульский педагогический институт. Лауреат I фестиваля поэзии и авторской песни в г. Алексине. Участница сборников, выходивших в Алексине и Туле. Автор книг стихотворений «Люблю тебя, мой край», «Цветы запоздалые осени», «Любовь не может умереть». Готовит к изданию новый сборник стихов. Увлекается прозой: пишет рассказы на бытовые темы.

ДВЕ РОДИНЫ

Я по рожденью украинка,
А россиянка по судьбе,
Я в этом мире лишь песчинка,
На миг летящая к тебе.

И знаю я, что нет роднее
Прекрасной родины моей,
Рассвет украинский виднеет,
Пленяя красотой своей.

А на Руси мне жить привольно,
Зарю приветную встречать,
Смотреть на зреющие волны
И травами лугов дышать.

И солнце ласковое греет,
А я, дыханье затая,
Услышу, как береза млеет
И смотрит в теплые поля.

Весною дышится легко мне,
Лазурью светят небеса.
И сердце радуется невольно
Такая дивная краса.

* * *

Воздух чист. И день весенний
Разольется алой зорькой.
От любви мне нет спасенья,
От любви мне стало горько.

Ручейки бегут, воркуя,
Бьется луч сквозь кроны сосен,
И весна поет, ликуя,
Пусть печаль уходит в осень!

Мы с тобою не женаты,
Но зато отменно дружим,
Может быть, родной, когда-то
О любви своей потужим.

Воздух чист. И светит в окна
Лучик солнца на рассвете;
Под дождем рябина мокнет,
Грустно ей на этом свете.

Но едва пригреет солнце,
Заалееет вновь рябина,
Глянет мне она в оконце,
Словно сладкая малина.

НЕ ТОРОПИСЬ!

Не торопись. Побудь еще немного;
Судьба так редко сводит нас с тобой.
Тебе предрешена своя дорога,
Мне в этом мире путь лежит любой.

Как захочу — я птицей стану вольной
И улечу в неведомы края,
И разольюсь я песнею раздольной,
Лишь мне светила ясная заря.

А может, стану одинокой ивой,
Склонившейся в печали на пруду,

Иль ветерком, повеявшим игриво,
Но непременно я к тебе приду.

Не торопись. Побудь еще немного,
В глаза твои хочу я заглянуть.
Потом пойдешь своей тропой-дорогой,
Лишь призрак счастья боясь вспугнуть.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА



ВДОХНОВЕНИЕ

Лес в коллективном таинстве
замысел свой хранит.
Соизмеряя равенство,
бьется волна в гранит.
Рассредоточась слепо,
голос беды затих.
Миропорядка слепок
я упакую в стих.

Я упакую шорохи,
всполохи, смех, мотив
в ямб и хорей ворохи,
ритмами их скрепив.
И прорастая болью
сквозь заземленья тлен,
явит чистою солью
музы высокой плен.

На все четыре времени,
по четырем ветрам
тайну этого бремени
я доверяю вам.
Ваши магниты чуткие
слышит моя душа.
Как же в такие минутки
эта жизнь хороша!

АВГУСТ 2007-го

Я — рыба, брошенная морем
на знойный берег лета;
Я — соль, запекшаяся в поре
от возбужденья света;
Я — пульс оплавившихся вен,
в виски до боли бьющий;
Я — голос раскаленных стен,
мучную тень зовущий;

Я — шум захлопнувшихся плевр,
абструкция в квадрате;
Я — просто оголенный нерв
у жизни на закате;
Я — мышца, скованная сном,
оставившая силу;
Я — многотонный старый слон,
бредущий на могилу;
Я — неба тающая твердь,
увядшая планета...

О, верь, читатель, мне, о, верь! —
Я — на макушке лета!

НОВЫЙ ГОД

Рождественская мишура,
Огней волшебные причуды,
Фантазий праздничных игра,
Адажио созвучий чудных.

Здесь тайной — будущего лик,
Здесь предсказанье — лишь частично.
Но мир прекрасен в каждый миг
И завтра тем оптимистично.

И новый год — как новый путь,
Что будоражит и тревожит,
Хоть сколь удачлив ты ни будь.
И не напрасно нами прожит

Год, долиставший календарь,
Как пар с земли, идущий в небо.
Его запомнят мирным хлебом
И млад, и стар, как главный дар,

Когда, пройдя солнцеворот,
Через пространство и эфиры,
Мир заспешит опять вперед,
Рисуя новые цифры.

ПИАНИСТ

Веки приспущено-томные,
брови изогнуто-страстные,
детская чем-то улыбка,
свет на лице, и глаза
как беспредельность огромные,
как первозданность прекрасные,

в них неуверенно-зыбко
где-то таится слеза.

Пальцы чувствительно-тонкие
в танце причудливо-сказочном
трепетно-благословенно
по фортепьяно плывут.
Звуки торжественно-звонкие
неуловимо-загадочно
сладостно и вдохновенно
о сокровенном поют.

Вслед за бурлящими струями
всеми поющими струнами
ты, мое сердце влюбленное,
лебедью верной лети!
В бездне танцующих клавиш
ты свои муки оставишь.
И, красотой обновленное,
новую жизнь обрети!

АЛЕКСАНДР КУРАЕВ

47 лет. Более половины из прожитого срока пишу стихи. 20 лет являюсь руководителем Алексинского литобъединения. В 90-Бог-весть-каком году стал лауреатом областной литературной премии Фонда поддержки творческой интеллигенции. С 2002 г. в нашем городе стали проводиться общегородские фестивали Поэзии. В 2006 г. стал победителем этого фестиваля, а в 2007 г. занял на нем третье место. Выпустил два поэтических сборника, публиковался на всем пространстве СССР — в Москве, Петербурге, Вильнюсе, Минске и т.д. Все остальное в моих стихах.

* * *

Это хрупкое чудо — Земля,
Сотни тысяч чужих городов,
И родные до боли края
То в дыму, то в кипеньи садов.

С каждым днем за нее все страшней,
Ведь в азарте жестокой игры
Что мы только не делаем с ней —
Все прощает она до поры.

Истомившись от жажды любви,
Истожив груз терпенья до дна,
В море собственной нашей крови
Срок придет — захлебнется она.

И под хриплый галдеж воронья
Остановит навеки свой бег
Это хрупкое чудо — Земля,
Беззащитная, как человек.

* * *

Уходят старики, что и понятно,
А все-таки обидно — нету сил.
Дежурные слова сказав невнятно,
Склонясь душой, стоим мы у могил.

Уходят старики. Судить не вправе
Ни жизнь их, ни посмертный перелет,
Мы лучше умолчим о медной славе,
Благоразумно кинув взгляд вперед.

Пусть будет прост и тих прощальный ужин,
Пусть не прервется мелочной грозой.
Обет молчанья если и нарушим,
То разве заповедною слезой.

Умножились до тьмы сплошные беды,
Умолкли соловьиные полки...
Уходят старики, отцы и деды.
Теперь черед за нами, мужики!..

* * *

Для юности вышли причины,
Для старости времени нет.
Латают седые мужчины
Дырявое кружево лет.

Забыв родовые потуги,
Земли колыбелющей сны,
Читают седые подруги
Щемящую повесть весны.

А ветер побитой собакой
Щемит у закрытых дверей,
Да чуть выступают из мрака
Слепые глаза фонарей.

ТАМАРА ДИК



Родилась в 1954 году в деревне Колюпаново Алексинского района. В настоящее время живу и работаю в городе Алексине. Пишу стихи и прозу.

«ДО НАТАШИ ГУЛЯЛ Я ТРИ ГОДА...»

Ночь опустилась как-то внезапно, заполонив все углы. Лишь в маленькое окошко светила круглая луна. Наташе она показалась доброй и приветливой, эта луна. Единственная на всем белом свете, которая с миром смотрела на нее. Люди судили ее, ругали, ненавидели, обещали расправиться с ней, только луна молча, даже, как показалось Наташе, жалостливо смотрела на нее. Луна будто бы говорила: «Ну что же ты наделала, как же это так получилось?» — и девчонка была благодарна этой бедной луне, ее неяркому тлеющему свету. Только эта луна не кричала на нее, не называла поганкой и гадиной. Ночь, темнота, какой-то неприятный запах, мирно похрапывают соседки, как будто у себя дома на перине, привыкли уже, наверное, странно. Не спится только Наташе. Она сидит, прислонившись к холодной стене, подобрала под себя ноги, и разглядывает свои руки. Руки девятнадцатилетней женщины, да какая она женщина? Девчонка! Замухрышка, как назвала ее одна из соседок, когда Наташу только подселили к ним. К ней подошла рослая девица и с издевательской усмешкой спросила, обходя вокруг новенькой:

— Ох ты, мать родная, а это что за заморыш? За что сюда? Никак «воровайка»?

Наташа мрачно бросила: «А вам-то что?», — и тут же получила удар по лицу. У нее и сейчас губа все кровит, никак не заживет.

Лунный свет падал на ее руки, и от этого руки казались иссиня-белыми. Наташа рассматривала свои руки с тыльной стороны и со стороны ладоней, осматривала тонкие, хрупкие пальчики, продолговатые прозрачные ноготки. Как давно она их не красила, не ухаживала за ними, все некогда было. Будто в первый раз Наташа смотрела на свои руки и не узнавала их. Что же вы наделали, ручки мои, пальчики, что же вы наделали? Как же вы могли это? Как могли подчиниться доведенному до отчаяния мозгу, который дал такой страшный приказ. Тонкие белые руки с голубыми прожилками, где они могли взять столько силы, чтобы... Наташа сложила ладошки и поднесла их к губам, перецеловывая по несколько раз каждый пальчик. Кто, кто же она теперь? Ей вспомнилась мама, ее любимая мамочка. Только теперь Наташа осознала, как права была мама. Тотчас вспомнилась ее любимая песня:

*«До Наташи гулял я три года,
Она дочка была кулака.
И во всем она меня уважала,
Потому, что любила меня».*

Девушка тихо заплакала, но, боясь, что ее услышат, закрыла лицо руками, заглушая вырывающиеся рыдания. Говорила же ей мама, чтобы она подумала, подождала,

получше бы узнала Лешу. А она не послушала, сразу замуж, как девочка, которой показали конфетку, она и сплясала. Предложил Леша замуж, она и обрадовалась, а ведь знала, как Лешка в запой уходит и девчонок, как носовые платки, меняет. Знала, знала, все она знала, но почему-то всем сердцем полюбила этого парня и после свадьбы уважала, терпела, прощала, а он называл ее кулацкой дочкой, овцой, поганкой. Так-то вот, отгуляв после армии три года, он набрел на Наташу. Маленькая, тоненькая, она легко пробегала у него под поднятой рукой, черные глаза, как смородина, смотрели влюблено, ласково. Непокорную, кудрявую копну волос перебирал ветер, а белые руки обнимали Леху, гладили щеки, глаза, губы. Тогда Леха сразу сказал: «Такой у меня еще не было». Но счастье Наташи было недолгим. Все чаще муж стал уходить в запои, все чаще стал поднимать на нее руку, ругался, сквернословил. Наташа скрывала от окружающих синяки и ссадины, стыдно было признаться, что муж ее бьет, ведь они не так давно женаты. А со временем начала привыкать к буйному характеру мужа, к побоям, наивно думая, что не у всех гладко да хорошо, что в семье всякое бывает, и что через все это нужно пройти, тогда только она сможет сохранить семью. И Наташа терпела, но, видно, внутри что-то, она сама не знала что, терпеть не хотело, боролось, вырывалось наружу.

Женщина заглушила слезы, проглотила горький ком и снова начала рассматривать свои руки, маленькие, с тонкими пальчиками. Они казались ей сейчас слабыми и беззащитными, но, нахмутив бровки и вспомнив, что они сделали, эти ручки, она до боли, до хруста сжала их в кулаки. В темноте завозилась соседка, та самая девица, которая ударила ее в тот первый день. Она зашевелилась, Наташе показалось, что девица привстала и смотрит на нее, хриплый голос проговорил, обращаясь к Наташе:

— Ну что, заморыш, не спится? Ничего, привыкнешь,— и уже сама для себя изрекла удивленно.— И как этот заморыш, метр с кепкой, мог такого мужика завалить?

Наташа промолчала. Она поняла — здесь свои законы, и лучше не лезть на рожон. Луна давно откатилась от окошка, но тусклый свет еще не спешил покидать Наташу. Может быть, он хотел поговорить с ней и не мог, может, успокоить, а может быть, обогреть. Наташу знобило. Закутавшись в грубое, суконное одеяло, она вспомнила тот роковой день, когда муж, изрядно подвыпивший, пришел домой. Она еще возилась на кухне, но уже был сварен борщ, картошка, нарезан салат, оставалось порезать хлеб, и присаживайся к столу. Муж появился в дверях неожиданно. Высокий, плечистый, на фоне белой футболки выделялось заросшее щетиной загорелое лицо. Он состроил гримасу на лице и подошел к жене.

— Что, овца, опять ничего не успела? Мужа кормить думаешь?

Наташа подняла на супруга черные глаза и попыталась улыбнуться, но сильная мужская рука ударила по лицу, еще и еще раз.

— Леша, ты что? — закрываясь, уже пропищала она.

Удары были настолько сильны, что в глазах появились искры, как в детстве, когда они с подружками кремень о кремень ударяли, тогда тоже искры летели. Наташа закрыла лицо, слезы заполнили глаза.

— Леша! — еще смогла прокричать женщина. Но последовал новый удар, опрокинул ее на стол. Разлетелась посуда, еда, рассыпались по полу осколки. И здесь чей-то внутренний голос дал команду защищаться. В эту минуту Наташа, видя, как поднимается рука мужа для нового удара, что его широкая грудь, как танк, надвигается на нее, схватила со стола кухонный нож и вонзила в накрывавшее ее тело по самую ручку, попав точно в сердце. О, как мягка, податлива плоть человека! Наталья даже почувствовала удары сердца своего тирана — своего мужа, своего любимого. И вдруг удары эти затихли, на футболке вокруг ручки ножа появилось алое пятно, и тело мужа с удивленно раскрытыми глазами рухнуло к ее ногам.

— Ну, ты и даешь, заморыш, в натуре, я бы так не смогла,— говорила куда-то в

темноту девица.— Стянуть что-нибудь — это я могу, это по моей части, а чтобы так, раз — и наповал... такого быка...

Уже через два дня тюрьма по каким-то своим каналам знала, по какой статье была заключенная, знала больше, чем надо, больше, чем сама Наташа о себе. Женщина вытянула занемевшие ноги и улеглась поудобнее на жесткой кровати, впервые почувствовав себя здесь, в тюрьме, свободной. Свободной от семейной жизни, от упреков, от побоев. Она облегченно вздохнула, будто свалила с плеч непосильный груз. Больше ей не придется долгими вечерами сидеть на улице и ждать, когда протрезвеет муж и сменит гнев на милость, не придется заискивающе улыбаться, реветь по ночам в подушку от бессилия, терпеть побои. Лишь одного родного человека было жаль Наташе, ту, которая дала ей эту жизнь, которая подарила ей такой несчастливый билет в эту жизнь. Только ее, только маму она жалела сейчас, только перед ней она готова была опуститься на колени и просить прощенья. Только мама может поверить, что Наташа этого не хотела. Она любила Лешку, любила, любила! И пусть сам Господь Бог будет ей судья и покровитель. И снова вспомнилась мамина грустная песня:

«До Наташи гулял я три года...»

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА

Вот и снова наступила зима — ветреная, морозная. Бабка почти не выходила из своей комнаты. Она сидела на кровати, маленькая, сухонькая и молчаливая. А то нет-нет что-то шептала сама себе, будто перебирала в памяти всю свою жизнь. Будто эта зима была последней, и надо было припомнить все прожитое, наболевшее. Лицо у бабки было морщинистое, темное, как печеное яблоко. Глаза, когда-то, может быть, голубые, а теперь светлые, блеклые, почему-то постоянно слезились. Бабка ничего не просила, не требовала, будто бы ей ничего не было нужно. И вообще, она считала, что жизнь пошла хорошая, сытная, не то, что они раньше жили — и до войны, и после. А сейчас живут все богато, в достатке. Вот и у них холодильник двухкамерный полон продуктов. Полина, дочка, об этом заботится, да и ее, старую, не обижает.

Полина жалела мать, куском не обделяла, всегда к столу звала, а когда и гостинцы покупала.

— Да куда это мне? — возражала бабка.

— Ешь, знай, здоровье поддерживай.

— Да не хочу я, Полинушка. Ты вон лучше Нюрке отдай. На вот ей апельсинчик.., — упрячилась бабка.

— Аня молодая, здоровая, чего хочешь наестся, ты сама ешь, хватит ее потчевать. Не хочешь сейчас, приberi, потом съешь.

Такие разговоры однажды услышала внучка Нюрка и взъелась на мать. Она кричала своим грудным голосочком, не щадя ни мать, ни бабушку.

— Что ты ей все пихаешь, ненормальная! От нее уже венками пахнет, а ты ее все пичкаешь! Лучше бы мне с собой в школу дала! Ты про меня совсем забыла!

— Аня, а разве ты с собой ничего не берешь? Что это ты раскричалась? Бессовестная! Бабушка пенсию получает и законно свой хлеб ест!

— Возьми, возьми, Нюра, — засуетилась бабка, подавая внучке апельсины и печенье.— Слышишь, Нюра?..

— Я не Нюра, а Анна, — гордо вытянулась перед бабкой внучка.

Но бабка особого различия не делала, что Нюра, что Аня, для нее она все равно самая желанная, самая любимая. А внучка стояла перед ней — тонкая, высокая, в короткой юбочке и в майке, которая не доставала девочке до пупка. Бабка же казалась перед внучкой еще ниже, мельче, дряхлее.

— Аня, уйди в свою комнату! Что ты себе здесь позволяешь! — прицкнула на дочь Полина.

Нюрка фыркнула, надула пухлые губки и убежала.

— Мам, не обращай внимания, у нее сейчас переходный возраст, образумится еще.

— Ладно, Полюшка, ладно. Я ничего, я не обижаюсь,— поджала бабка трясущиеся губы, а глаза снова заслезились. То ли от старости глаза слезились, то ли от обиды — бабка заплакала. А разве мало она Нюрку нянчила! Да как еще жалела, да холила. Полина с мужем на химкомбинате работают по сменам, а Нюрка все с ней. Бабка до сих пор ее в школу будит, когда дочь с зятем на работе. А если какая копейка у бабки заведется — все Нюрке норовит сунуть.

Полина начала ругать, стыдить дочь, а Нюрка только фыркает да грубит.

— Ты меня уже достала! Не нужна мне эта бабка, и деньги ее не нужны! Не нужна! Понятно? Сама с ней сюсюкайся!

Вот здесь-то Полина не выдержала и ударила дочь по лицу, да не больно, так, для острастки. Жутко обидно ей стало за мать.

Муж тоже был какой-то нескладный. Он, конечно, не обижал старушку, но порой такое ляпнет, что не знаешь, что и сказать. На днях с работы пришел, и хоть бы пьяный был, уж ладно, а то трезвый совершенно, заходит и с порога кричит:

— Ну что, теща, ты еще жива?!

Полина дернула мужа за рукав, но зять продолжал, снимая в прихожей ботинки:

— А я думал, вот сейчас приду, да за упокой и выпьем, мороз-то ноне какой!

— Ты что мелешь?! — оборвала его жена.

— Да я шучу, Полин, что ты в самом деле?

Был поздний вечер, а Нюрки все не было. Как убежала, накинув пальтишко, разобидевшись на материнскую пощечину, так вот и нет до сих пор. А на улице зима, мороз.

— Полюшка,— пристала бабка к дочери,— ты бы пошла, поискала ее, замерзнет где-нибудь, глупенькая.

— Не замерзнет, у подруг где-нибудь сидит. Придет, никуда не денется.

— Не надо бы было с ней так,— посетовала бабка, вытирая слезящиеся глаза.— Пойди, Полинushка, поищи. Ах, коли сила бы у меня была, я сейчас все бы обежала, нашла бы ее, глупую.

Полина начала волноваться, когда стрелки часов указали, что уже полночь. Дочь никогда так поздно не приходила.

— Это все из-за меня,— встала со своей постели бабка.

Она прошмыгала к окну и посмотрела в темноту, как будто там она могла увидеть Нюрку.

— Полюшка, а нукась я пойду, схожу, может, где и увижу Нюрку.

— Мама, прекрати ты ныть, наконец!

Бабка опустила голову и села на свою кровать, губы ее еще больше затряслись, глаза заслезились. Сердце у бабки прыгало, не находя места в груди, в голове что-то пульсировало, отдавая адской болью.

— Как же так,— шептала бабка. Нюрка убежала, и до сих пор нет, уже ночь на дворе. А если что случится с девчонкой? Это все из-за нее, это она, никчемная, здесь мешает всем. Ночь ведь! Где же Нюра?

А в другой комнате Полина расталкивала мужа:

— Проснись же ты, соня! Ани дома нет! Вышел бы, посмотрел, может тут где около дома стоит, мерзнет.

— Ну что ты заладила: нет да нет,— недовольно заворчал муж,— придет. Возраст сейчас у нее такой.

Нюрка появилась к утру. Ни с кем не разговаривая, она прошла на кухню и повисла на дверце холодильника.

— Аня, ты будешь, наконец, бабушку уважать? — все пыталась вразумить дочь Полина.

Но бабушку уважать уже не пришлось. Наутро бабушка не поднялась со своей кровати, она в эту ночь умерла.

От мороза застыли деревья, разрисованные с ночи окна не хотели оттаивать. В холодном небе светило белое, безразличное солнце. И в это морозное утро хоронили бабуку. На улице около подъезда собралась кучка людей, желающих проводить старушку в последний путь. За гробом вышли: зять — краснощекий и бравый, уже принявший на грудь, он поддерживал Полину; соседка по площадке и Нюрка, вся съежившаяся, скукожившаяся от мороза. Это Полина ей пригрозила, что не купит шмоток, если она не выйдет проводить бабушку.

— Вот бабка премудрая! — шептала озябшими губами Нюрка. — Надо же в такой мороз очокуриться? Вот и стой здесь у гроба, мерзни, больно надо было!

Одна лишь Полина плакала, протягивая к матери руки и приговаривая:

— Мамка, мамка, уходишь? Как же мы теперь без тебя?..

Когда все, кто хотел, попрощались, гроб поставили в катафалк, вошли провожающие, и процессия двинулась вперед, освобождая улицу.

Поздно вечером, когда все хлопоты кончились, зять храпел на диване под звуки работающего телевизора. Нюрка болтала по телефону. И время от времени заливалась молодым, здоровым смехом:

— Ну да!

— ...

— Вот здорово!

— ...

— Я вообще торчу!

И только Полина плакала, не вытирая слез. Она сидела, не включая света, в маленькой комнате, и все смотрела, смотрела на пустую материнскую кровать.

БЕРЕЗКА

На территории местного завода строился мост. Не мост, а мосточек через водовод, для пешеходов. Навезли железа, балок, перекрытий, приехала техника с людьми и началась работа. Двое суток тархтел кран, стучали молотки, искрилась сварка, а рядом с уже воздвигнутым корпусом моста, прямо у железной балки, прорастала молодая березка. Березке так хотелось поскорее вырасти, она тянулась к свету и думала, как ей не повезло, как ее угораздило родиться в таком беспокойном месте. А там, вверху, голубое бездонное небо манило ее неистовым светом и простором. И березка всеми своими тонкими веточками стремилась в эту высь. Стремилась постичь высоту, необъятный простор голубого неба. И она тянулась, тянулась, высасывая из почвы как можно больше питательных веществ, вперед, ввысь, к белым облакам. Но однажды, когда около ее белого ствола люди соорудили мост, об ее корни кто-то споткнулся и, зло ругаясь, вонзил в белое дерево топор. Согнулась березка, замерла, опустив зеленые ветви, рвущиеся к небу, пошатнулась и, казалось, навсегда затихла. И опять подумалось березке, что зря она здесь родилась, что мешает людям и что никогда ей теперь не увидеть голубого неба. Ненужная, ненужная она здесь, на этом месте. Молодая березка согнулась на срубе и стояла у моста, как старушка, просящая милостыню.

Мосточек через водовод был готов. Сварщик, смотав сварочные шланги, снял рукавицы и окликнул человека, стоящего с топором у березы:

— Эй, тебе что она, помешала?!

— А ну ее, срубить к чертовой бабушке, на дрова, споткнулся вот об ее корни...

— Что ты такой злой? Под ноги смотри,— сварщик подошел к рабочему и взял у него топор.— Береза никому не мешает, растет рядом и пусть себе растет. Размахался тут...

Сварщик неспеша закурил, будто что-то обдумывая, затем приподнял ствол покосившейся березки. К счастью, он был только надрублен, поправил ветки, чтобы они тянулись вверх, к небу, и, взяв свой инвентарь, ушел.

Прошло немного времени, может год, а может два. Стоит воздвигнутый мост через водовод, а совсем рядом, прижавшись к поручням моста, высокая, стройная березка. Ее пикообразная макушка тянется к голубому небу, шелковые косы ее ветвей спускаются к мосту, создавая тень. Гладкий, прямой ствол с небольшой метиной у самых «колен», у самого основания, не портит его изначальной красоты.

Идут люди через мост на работу — шумит береза, кланяется: «Добро пожаловать на праведный труд!» С работы люди идут — березка машет ветвями и шепчет вслед: «Доброго вам отдыха, люди! Будьте счастливы!»

Частенько стою и я на мосточке под тенью этой березы, люблюсь ее красотой, тягой к жизни, к воле. Ведь выжила! Выросла! Да какая красавица! Есть все-таки добрые люди на земле русской, которые могут защитить и слабого, и бессловесного. А как же иначе?

ЛЮДМИЛА ХОРБЕРГ



Я родилась в 1945 году в Брянской области. С 1948 года проживала в городе Ленинграде. После окончания 10-го класса работала на обувной фабрике «Скороход» и занималась в студии художественного слова. Была постоянным участником фабричных радиопередач, а также приглашалась на Ленинградское радио. В 80-е годы закончила техникум и получила среднетехническое образование. С 2003 года являюсь членом литературного объединения г.Алексина, где проживаю в настоящее время. Более десяти лет назад начала писать стихи и короткие рассказы для взрослых и детей.

ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Этот рассказ я посвящаю своим дорогим и любимым тетушкам: Галине Георгиевне Шумновой, Зое Павловне Юрченко, Тамаре Леонтьевне Брезгуновой, Марии Константиновне Морозовой, пережившим все ужасы Ленинградской блокады.

Первая блокадная зима осажденного Ленинграда была особенно тяжелой. Острая нехватка продуктов питания в первую очередь сказалась на снабжении армии и населения. Поставка их с каждым днем ухудшалась, были установлены строгие нормы. 20 ноября 1941 года было пятое по счету снижение и без того скудного пайка: рабочим выдавалось по 250 граммов хлеба в сутки, а остальным 125 граммов. Ежедневные артиллерийские обстрелы, авиабомбежки и лютые морозы уносили тысячи жизней.

В осенне-зимние месяцы в жилые дома не подавалось электричество, а из-за отсутствия воды и топлива не работали почти все котельные города. В квартирах стояли лютый холод и темнота. Многие обзавелись буржуйками, которые требовали много дров, быстро нагревались и также быстро остывали, недолго сохраняя тепло. Из-за отсутствия дров в ход шла мебель. Вскоре прекратил работу и общественный транспорт. Воду брали из реки Невы и ее притоков. Ослабевшие от холода и голода, люди еле передвигались и были похожи на тени.

В одном из домов на Суворовском проспекте в совершенно пустой 3-комнатной квартире на кухне на железной кровати, укрытая ворохом разного белья, лежала тринадцатилетняя девочка. Из-под шапок и платков виднелось бледное исхудавшее личико с заострившимся маленьким носиком. Зоя, так звали девочку, находилась в квартире совершенно одна. Почти двое суток она ничего не ела, воды оставалось совсем мало, дров не было вовсе — всю мебель «сожрала» буржуйка.

Ее папа, академик, работавший в Академии наук, умер еще до войны. Ее старшая сестра Галя, которая закончила два курса кораблестроительного института, сейчас работала медицинской сестрой в госпитале у Финляндского вокзала и там же жила, так как до дома было очень далеко. Мама, учительница, работала в эвакуационном пункте. После того, как Зоя потеряла продуктовые карточки, мама сама их отоваривала и один раз в неделю приходила домой проводить дочь и приносила ей скудный паек. Мама должна была прийти только через два дня. Зоя часто впадала в забытие, и ей снились замечательные сны. В них она жила своей прежней довоенной и беззаботной жизнью. Зоя видела себя в легком белом сарафанчике с рюшечками, в белых сандаликах. Она прыгает через скакалочку с подружками, ей хорошо и весело. Вот к ней подходит сестра Галя, протягивает только что испеченный мамой пирожок с вишней, но Зоя капризничает, она не хочет есть и отдает пирожок подружке. Вдруг сквозь сон она слышит стук, открывает глаз и возвращается в суровую действительность. Перед глазами все еще стоит пирожок, Зоя глотает голодную слюну, но настойчивый стук в дверь не прекращается, и она окончательно просыпается. Девочка пытается встать, но не может, от бессилия она плачет. И, наконец, после нескольких попыток ей все же удается подняться. Пока она добиралась до прихожей, стук уже прекратился, но около входной двери лежала какая-то серая бумажка. Зоя подняла ее, это оказалась повестка, ее приглашали на учебу в ФЗО. Там полагалось двухразовое питание.

Зоя очень обрадовалась, она воспряла духом и тут же побрела в училище. Эта повестка в корне изменила ее жизнь и спасла от гибели. В училище ей приходилось ходить от Смольного на проспект Обуховской обороны, а в столовую — к Московскому вокзалу. В группе, куда попала Зоя, учились одни девочки. Зоя выучилась на печника и в июле 1943 года получила диплом об окончании ФЗО. Помимо своих специальностей дети быстро освоили штукатурные, малярные и сантехнические работы, стеклили окна, монтировали электропроводку. Девочки производили ремонт домов, оборудовали их пол, госпитали, подготавливали подвалы под бомбоубежища, устраняли повреждения в корпусах зданий. Разбирали разбомбленные дома, от которых оставались один-два этажа, собирали кирпич на печки. Чтобы разобрать такой дом, надо было пробить вдоль дома у земли борозду, поставить рельсы и завалить стену на одну сторону. Однажды вся группа стала раскачивать рельсы, чтобы завалить стену, но подул сильный ветер и внезапным порывом завалил стену прямо на людей — погибли три девочки и руководитель. За эту оплошность мастер группы печников был оштрафован и отправлен на фронт, где вскоре и погиб.

В марте 1945 года мама Гали и Зои попала в детскую инфекционную больницу с туберкулезом легких. Когда Зоя пришла ее навестить, то мама попросила принести ей селедочки. Зоя исходила много магазинов в поисках рыбы, но когда, наконец, ей удалось раздобыть «ржавую» селедку и она пришла с ней в больницу, было уже

поздно — мамы не стало. Для Гали и Зои это было страшным ударом, от которого они долго не могли оправиться.

27 января 1944 года был официально объявлен Днем снятия блокады.

В 1945 году стали возвращаться из эвакуации люди и потихоньку восстанавливать город.

Ученики ФЗО наравне со старшими жителями города, ленинградцами, как могли преодолевали выпавшие на их долю тяжкие испытания и самоотверженно трудились во имя Победы. От обстрелов и бомбежек рушились толстые стены кирпичных и железобетонных зданий, не выдерживал металл, а смелые и мужественные жители Ленинграда выстояли и победили ненавистного врага.

С 1943 г. по 1965 г. Зоя работала в Стройконторе Ленгорздравотдела, потихоньку поднималась и росла как специалист: печник, нормировщик, десятник, прораб, техник ПТО. Закончив заочное отделение Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти, работала инженером, затем главным инженером РСУ-4ГРСТ, откуда и ушла на заслуженный отдых.

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

Мы с Риной уже возвращались домой после вечерней прогулки, когда возле самого подъезда из вазона с цветами взвилось вверх что-то рыжее, как пламя, и шлепнулось на землю прямо перед носом моей собачки. Это был очаровательный котенок месяцев семи-восьми. Сначала они оторопело смотрели друг на друга, затем сцепились и рыжим клубочком покатались по траве. Оказывается, в наш дом въехали новые жильцы и, пока они заносили вещи в квартиру, их котенок сбежал и решил познакомиться с обитателями дома. Так началась удивительная, нежная и красивая дружба котенка и собачки — Рыжика и Ринки. Каждый вечер, когда мы выходили из подъезда, Рыжик, как вихрь, налетал на Ринку (они были почти одного роста), передними лапками они обхватывали друг друга и терлись мордочками, как будто целовались после долгой разлуки. Затем начинали играть: то прыгали, как два козлика, то с бешеной скоростью мчались наперегонки, то играли в прятки. Вволю нарезвившись, они ложились на травку и начинали мыть и чистить один другого. Это была настолько удивительная картина, что многие жильцы нашего дома (взрослые и дети) с большим интересом и восхищением следили за их дружбой. Если Рина первая выходила на улицу, то начинала звать Рыжика, причем, не лаяла, а издавала звуки похожие на восклицание: «Ах, ах, ах!». Если Рыжик выходил первым, то прятался в кустах и начинал звать Рину нежным и каким-то утробным мурлыканьем, и когда она приближалась к нему, то выскакивал из кустика, как бесенок на пружинке, и начиналась ежедневная процедура приветствий, игр и омовений. Рыжик был очень смелым, защищал ее и ревновал буквально ко всем. Если около нее останавливалась большая незнакомая собака, то Рыжик с шипением яростно кидался на нее, и та с визгом позорно убегала.

Перед Новым годом мы вышли на очередную прогулку, Рина стала звать и искать своего друга, но он не откликнулся и не прибежал на ее зов. Мы гуляли больше часа, но котенок так и не появился. Не появился он и на второй, и на третий день... После исчезновения Рыжика Рина как-то вся поникла, ее глазки стали печальными, в них как будто погас какой-то внутренний огонек, она не играла и отказывалась от еды. Для нас обеих прогулки стали пыткой. Я не могла без слез смотреть на страдания моей любимицы, на то, как она мечется по двору и призывно зовет котенка. Если кто-либо случайно упоминал его имя, то Рина сразу же начинала метаться и скулить, ее глазки становились влажными, и успокоить малышку было очень сложно. Как-то мы

встретили хозяйку Рыжика — Анну Ивановну и она сказала, что скорей всего его украли, так как многие просили продать его им.

В конце февраля, мы, как всегда, вышли на прогулку, и вдруг из сугроба взметнулось рыжее пламя и плюхнулось, как когда-то, перед Ринкиным носом. И как же мы удивились, когда узнали Рыжика. Да-да, это был он: исхудавший, грязный, с разодранным ушком, но все такой же озорной и веселый, наш милый котенок! Боже мой, как же они радовались встрече и каким счастьем светились их широко распахнутые глаза. Они обхватили друг друга лапками и рыжим клубочком покатались по снегу. Устав от игр, они улеглись рядышком, и Ринка стала нализовать Рыжика, а затем он ее, при этом они о чем-то говорили, каждый на своем языке и прекрасно понимали один другого. Они не хотели расставаться, и Рыжик пошел с нами. Дома я его вымыла, накормила, и когда они в обнимку улеглись на кресле и уснули, я пошла к Анне Ивановне и сообщила ей радостную весть. Она очень обрадовалась, долго охала и все удивлялась, что Рыжик нашел дорогу к дому и что не пошел домой, дождался своей подружки и не захотел с ней расставаться. Котенок поселился у нас, но изредка навещал свою прежнюю хозяйку. С Риной они не расставались ни на минуту, на прогулки мы всегда выходили втроем. Впереди гордо вышагивают Рыжик и Рина, а сзади иду я. Если раньше люди удивлялись, видя столь необычную группу, то сейчас воспринимают совершенно спокойно и лишь улыбаются нам вслед.

У НАС В ГОСТЯХ

Валерий Богушев
(г. Воронеж)

ЖАННА
(рассказ)



Уже прошла неделя, как в его «аське» появилась москвичка с ником Солнце. Ей было двадцать три, работала дизайнером, любила тусоваться с друзьями и танцевать.

В то утро он послал ей «привет!» со смайликом и получил «приветик» с такой же улыбающейся круглой рожицей. «Как настроение?» — спросил он. «Отличное, а у тебя?» — написала девушка. «У меня тоже...»

В свободную минуту Максим не прочь поговорить о том-о-сем с девушками из разных уголков — «от Москвы до самых до окраин...».

Из столицы приходили известия о посещении ночных клубов, покупке иномарок, поездках в Испанию и Таиланд. А молоденькие провинциалки годами обходились без отпуска, поскольку их нечем заменить, еле сводили концы с концами, работая бухгалтерами на двух работах или на одной за двоих и мечтали скопить денег, чтобы когда-нибудь покататься на верблюдах в Египте...

— Привет,— сказала с милой улыбкой появившаяся только что в офисе Инга. Максим оторвался от компьютера и сказал «привет». Коллега опаздывала почти каждое утро, но пожилой шеф закрывал на это глаза, ослепленный, должно быть, ее красотой. Все мужчины в их небольшой фирме теряли голову в ее присутствии, а женщины бледнели от зависти.

— Инга, набери, пожалуйста, до обеда отчет о продажах и распечатай в трех экземплярах, а я уйду на совещание,— попросил он.

— Хорошо, Максим, не беспокойся, все будет в лучшем виде,— ответила Инга. Компьютер был один.

«Извини надо отлучиться по работе»,— написал он в «аське». «О к»,— прислала ответ Солнце. Он поставил значок «ушел надолго» и освободил кресло.

Каково же было его удивление, когда Инга показала с сияющим видом собственное продолжение диалога с москвичкой:

— Солнышко, я хочу с тобой встретиться,— первое, что она написала через два часа после его ухода. На эту фразу Максим бы и через месяц не решился.

— Я свободна сегодня вечером,— на удивление быстро согласилась Солнце.

— Какие твои любимые цветы?

— Я люблю розы и пионы.
 — Хорошо, моя ласточка.
 — Только как же мы встретимся, если ты не из Москвы?
 — Ах, да! В самом деле. Как жаль! Но я все равно приеду к тебе, котенок.
 — Завтра я уезжаю в Крым.
 — Надолго?
 — На три недели.
 — А в какое место?
 — В N-ское.
 — Я приеду к тебе, моя хорошая.
 — Почему бы и нет? Только как ты найдешь меня?
 — Давай встретимся в следующую среду в пять вечера на автобусной остановке в N-ском.
 — О к. Извини, мне уже пора, сегодня отпросилась пораньше. Пока!
 — До свидания, зайка! Целую».
 — Инга, что ты наделала! — воскликнул Максим.
 — А что такого? — невинно улыбнулась девушка. — Я закончила работу, мне стало скучно, и я решила поболтать за тебя немножко. Я же не сказала ничего плохого. Даже наоборот. Теперь она твоя.
 — Спасибо. Но я даже не знаю, как она выглядит.
 — Вы еще не обменялись фотками? Откуда же я знала?..
 Еле выхлопотав отпуск, Максим отправился в Крым за три дня до назначенной встречи, потому что других билетов на симферопольский поезд в кассе не оказалось.

Он вышел из автобуса и осмотрелся. Безлесая гряда восточного Крыма прижимала поселок к небольшому заливу. Из-за дальней горы, которая напоминала припавшего к воде бегемота, показалось солнце, и море засверкало золотом и ультрамарином.

Улицы в этот час еще были пустынные, и шаги отдавались эхом. В ухоженных, поросших виноградником и фруктовыми деревьями дворах тоже никого не было. Наконец, в глубине одного двора Максим заметил изящную пожилую женщину, которая завтракала под навесом, держа спину величественно прямо, и открыл железную калитку. Крупные темнеющие гроздья свисали с переплетенной лозами металлической сетки над головой.

— Простите, я хотел бы снять комнату...

— Мест нет. Но я сегодня в десять уезжаю. И еще соседка вечером. Поговори с хозяйкой. Она на кухне, наверное.

Хозяйка, энергичная худощавая не старая еще женщина согласилась его поселить, предупредив, что на эту комнату претендовала еще одна девушка, которая хотела бы съехать от подруги с беспокойным ребенком. Мать подруги Юлия Александровна — как раз и уезжала сегодня.

— Ну, да ладно, Жанна подождет до вечера. Рядом освободится еще одна комната.

— Давайте сразу рассчитаемся, — предложил он. — Сколько с меня?

— По пять долларов в сутки.

— У меня нет долларов. Можно гривнами?

— Конечно. Сейчас посчитаю по курсу. — Хозяйка достала калькулятор и, пощелкав кнопками, назвала сумму. Потом каждую купюру проверила на детекторе в ультрафиолетовом свете.

— Какая полезная машинка! — произнес он.

— Видите ли, сейчас много фальшивок ходит.

Но все гривны, купленные в поезде у менялы, оказались подлинными. Он облегченно вздохнул.

— Я бы хотел погулять, пока освободится комната. Можно у вас оставить сумку?
— Да, разумеется. Не беспокойтесь, ничего не пропадет.

...На пляже уже появились люди. Он шел вдоль мокрой полоски берега, шурил глаза, поглядывая на загорающих девушек в откровенных купальниках. Легкая пена прибоя почти касалась сандалий. Ноги вязли в гальке, но ему нравились эти забытые ощущения — бодрящая нагрузка на мышцы, запах йода, размеренный шорох перекачиваемых волною камешков. Надо же, еще вчера он был за тысячу километров от этого райского уголка, в пыльном городе среди раскаленного асфальта и камней. Нервная работа, постоянные проблемы, — все куда-то исчезло, и осталось только непривычное приятное умиротворение и легкий шорох прибоя. Он на секунду остановился — дальше весь берег был завален огромными валунами, оторвавшимися от подступившей к морю горы. Оглянувшись, он увидел, как на ладони, прижавшийся к бухте поселок и уходящую вверх змейку шоссе. Он неторопливо перепрыгивал с одной глыбы на другую, пока за изгибом горы не началась полоска галечного пляжа. За ней снова тянулись каменные дебри.

Около десяти Максим вернулся домой.

Юлия Александровна уже прощалась у калитки с хозяйкой. Рядом две девушки держали сумки, и стоял мальчик лет четырех.

— Вам помочь вещи донести?

— Нет, спасибо, не тяжело, — ответила Юлия Александровна. — Познакомьтесь, Максим, это Виктория, моя дочь, а это Жанна, я вам о ней говорила.

Жанна — стройная, с независимыми манерами, в стильной пляжной юбке, топике и бейсболке — просто поразила его.

— Очень приятно.

— Жанна любезно согласилась подождать со вселением до вечера, — сказала хозяйка.

— Да, в той комнате тумбочка больше.

— А зачем вам большая тумбочка? — поинтересовался Максим.

— Видите ли, я пишу прозу. На большой поверхности удобнее.

— Вот как? Любопытно...

— Ну, пойдете, девочки, а то автобус уедет, — сказала Юлия Александровна.

Чуть задержавшись, она тихо проговорила. — Будьте на чеку, Максим, Жанна очень умная девушка, рисует, сочиняет рассказы, она вас заботляет.

— Как это?

— Ну, она любит поговорить, — ответила женщина уклончиво.

— Это не страшно, я люблю слушать...

После обеда он увидел Жанну на городском пляже. Она загорала с Викой и ее капризным малышом. Максим расположился неподалеку. Потом ему надоело лежать, и он решил побродить по магазинам и купить чего-нибудь на ужин.

Вечером возле соседней двери лежали пляжные пластмассовые белые босоножки с двумя розовыми цветками на лямках, сброшенные как попало поодаль друг от друга ногами навстречу. С хозяйкой босоножек увидеться не удалось.

После полуночи он проснулся от стука ее каблучков. Она открыла ключом свою дверь, потом снова закрыла, скользнула ее тень по занавеске, послышался стук удаляющихся шагов, чей-то веселый голос с улицы «мальчики, вы из Москвы?» Сквозь сон ему казалось, что он снова слышит совсем рядом ее шаги, но утром в семь, едва проснувшись, увидел, как она мелькнула в окне и скрылась в своей комнате.

В четыре часа пополудни она направилась в душ в шортах и футболке с полотенцем на плече, завернула в умывальник, расположенный под одним навесом с кухней.

Помыла туфли, поставив ногу на край выложенной из кирпича раковины, обложенной голубым кафелем. После душа вернулась в свою келью. Максим вышел почитать газету за столиком у входа. Вскоре показалась соседка и заперла дверь. Она была в белой блузке, черно-бежевой тигриной расцветки длинной юбке и туфлях на высокой платформе.

— Как отдыхается? — спросил он.

— Нормально. Всталось только что, — последние слова он еле расслышал из-за шума ветра в залитом солнцем молодом саду.

— Здорово! Давно здесь?

— Неделю уже. В прошлом году я была в Эмиратах. Но мне тут больше нравится.

— В самом деле?

— Да. Я чувствую себя здесь уютнее.

— А уезжать скоро?

— Еще пол-месяца побуду. А вы?

— А меня только на неделю с работы отпустили.

— Маловато, — посочувствовала она и ушла, стуча платформами по бетону дорожки.

Следующее утро было пасмурным. Мелкий дождик шумел в листве инжиров и грецких орехов, растущих перед окном, журчал струйкой с водосточного желоба, проложенного под крышей, и с брызгами разбивался о бетон.

Максим, проснувшись часиков в восемь, вскипятил чайник на газовой плите и завтракал на летней кухне, когда появилась Жанна в простых холщовых брюках маскировочного цвета.

— Доброе утро! — сказал он.

— Доброе утро. Вы не могли бы заварить свой кофе? Я хотела взять кипятку, попробую отстирать пятно на юбке.

— А от чего пятно?

— От вина.

— Вы на танцах часто бываете?

— А откуда же я только что вернулась?

— Вы любите танцевать?

— Да. В Москве надо куда-то ехать, а здесь все рядом.

— Как ваши рассказы — пишутся?

— Да, но медленно. Сейчас главное — впечатления...

— А вы не дадите что-нибудь почитать?

— У меня нет здесь ничего готового, а незаконченные вещи я не показываю.

— Пойду отсыпаться. Спокойной ночи, — пошутила она...

В пять Максим отправился на автобусную станцию. С гор по улицам текли равномерно распластанные по асфальту глинистые потоки. Касса уже закрылась, и народу никого не было. Он ощущал все возрастающее волнение. «Придет или не придет? Интересно, как она выглядит?» — вертелось в голове. Но никто так и не пришел...

В последний вечер разыгрался шторм. На берег накатывали поблескивающие в темноте волны. Пахло водорослями, мокрой галькой. Над пляжами возвышались на бетонных основаниях залитые светом и огороженные металлической решеткой две дискотеки с ресторанами, барами и бильярдными. На площадке сверкала иллюминация, гремела модная попса, сыпал шутками и приветами ди-джей, ритмично дергались молодые горячие тела. Максим заметил знакомую фигуру. Жанна забралась по ступенькам на небольшой пятачок, возвышающийся над танцполом, словно капитанский мостик, и делала красивые энергичные движения. С ней рядом танцевала Виктория и еще какая-то девушка. Но обе терялась в блеске

своей подруги. Потом они втроем спустились вниз и направились к бару, а их место на «мостике» заняли другие.

Максим заплатил три гривны молодому человеку у входа и попал на дискотеку.

Знакомая троица за стойкой пила баночное пиво. Он поприветствовал девушек, сел рядом с Жанной и заказал джин с тоником. «Ты сердце мое прости за любовь», — пела надрывно Савичева.

— Кажется, погода портится, — сказал он.

— Да, похоже на то, — ответила Жанна. — Даже отсюда слышно прибой.

— Что может быть лучше шума волн? Как ваш рассказ?

— Продвигается. Представьте, я пишу о вас.

— Обо мне? Не может быть. Вы же меня совсем не знаете.

— А воображение? Заметьте, какая любопытная сюжетная линия. Молодой мужчина из провинции... скорее всего, неженатый... приезжает в Крым и чувствует себя одиноко. Он не может познакомиться ни с одной девушкой, потому что ему нравится соседка, которая все время проводит в веселых компаниях. Ему хочется с ней поговорить, но она от него ускользает...

— Поразительно! Какая проницательность!

— Я польщена. Вы скоро уезжаете?

— Завтра утром. Может, погуляем? Это добавило бы несколько заключительных штрихов в ваш рассказ.

— А сколько времени?

— Без четверти десять.

— О, нет. Нас на десять пригласили в ресторан.

— Жаль. Но я рад за вас. Удачно повеселиться.

— Спасибо...

Максим проснулся от звука ее шагов. Она проследовала в свою комнату. Оказывается, он читал книгу и заснул на кровати в одежде. Стрелки часов показывали за полночь. Хотелось пить. Отправился в ближайший киоск за пивом. На улице у калитки стоял в ожидании молодой парень с легко угадываемым имиджем подающего надежды столичного карьериста. Когда возвращался с откупоренной бутылкой «Черниговского», ему навстречу шагали, держась за руки, Жанна и этот парень... Так вот кого она «заболтала»!

В маршрутке до Симферополя молодой водитель включил телевизор с видеоклипами модных песенок, которые каждую ночь крутили на дискотеке. Снова Иракли в заграничном туре Лондон — Париж вспоминал прежнее романтическое чувство, Савичева надрывно пела о прошедшей любви, «Звери» уверяли, что все только начинается, а Киркоров и Анастасия Стоцкая сладко постанывали «Хочу еще!». Перед ним проплыл весь отпуск от первого до последнего дня. Было грустно и хорошо одновременно...

— Ну как? — первым делом поинтересовалась Инга, когда Максим появился на работе.

— А, никак, — отмахнулся он. — Она так и не пришла.

— Ну, ничего, появится в сети, я с ней поговорю.

— Нет уж, лучше я сам.

Спустя две недели Солнце объяснила: «Извини, проспала».

«Эх, если бы знал, как ты выглядишь».

«Давай обменяемся фотками», — предложила она.

Когда он открыл полученный файл, и пришел в себя от изумления, написал:

«Жанна, солнышко, мне хотелось бы прочитать твой рассказ».

«Я не показываю незаконченные вещи», — ответила она и поставила улыбающуюся рожицу в конце фразы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Виктор Пахомов

ОТКРЫТИЕ ПОЭТА



Мое открытие поэта Константина Струкова состоялось после нескольких лет знакомства с ним, с его творчеством. Признаюсь, меня подвела бытующая среди пишущей братии осторожность, предубеждение даже к тем, кто пишет поэмы. Струков же заявил о себе своей большой мифологизированной поэмой «Эвер», которая даже после трех лет со времени публикации и добрых слов маститого Алексея Яшина (А. Яшин «В час волка») вряд ли осилена нынешним торопящимся читателем. А поэты, как известно, без повода друг друга не торопятся читать. Поводом для прочтения поэта мне стала третья книга Струкова «След, оставленный тобой».

Вчитываясь в нее в поисках обещанного автором в предисловии его попытки «вырваться из замкнутого жизненного цикла за поле тяготения повседневности», неожиданно наткнулся на чаемый ответ: что же такое стихотворство Константина Струкова? И все стало на свое место:

*Молчанье тягостно.
Вот- вот прорвется сон —
И брызнет звук
в просторы пробужденья.
И лишь слегка
пульсирует висок —
То тишины
настойчивое бденье...*

Я услышал звук, интонацию, подчеркнутую даже расположением строк, интонацию, без чего нет стиха, поэзии.

Правда, интонационный посыл у Струкова еще не всегда удерживается до конца. Сказывается нетерпение быстрее закончить начатое («Я ждал любимую...»). Там же, где поэт удерживает медитационную заявку, там приходят настоящие удачи.

Цикл «Затмение нашло», на мой взгляд, истинное «Я» поэта. Такие стихи, как «Вы шутите...», «Сила света», «Нет, не могу лететь...» и другие, долго удерживаются в памяти. Это верный признак их состоятельности. Их хочется перечитывать, даже досадовать на встречающиеся мелкие шероховатости, неуместности, перехлесты, что вполне в рамках допустимого. Мы не упускаем случая «попенять» самого Михаила Юрьевича за его «из пламя и света рожденное слово»!

В своих стихах, с их откровенной ритмической разностопностью, поэт умудряется добиться своей цели. Вот примеры.

*Столько в мире
пустой суеты,
Что за ней
не увидишь сущности!
Ты вошла как открытие.
Ты
Растворилась
в потоке
идущих.*

Вряд ли читатель пробежит эти строчки глазами. Он остановится, прочтет еще раз-другой, задумается над смыслом написанного.

*...Все полетело к чертям.
Я близок
К полному помешательству
без тебя.*

Но только человек с ясным умом может сказать такое!

*Таится пламя в нас.
В нас порох заключен.
Ты подожгла меня,
но и сама горишь.*

Проза? Согласиться с этим может лишь тот из нас, кто никогда никого по-настоящему не обожал.

Сборник «След, оставленный тобой» стоит того, чтобы всерьез говорить об авторе, как состоявшемся поэте. Этот поэт доказал самому себе: за Струкова можно не волноваться, у него все впереди!

Вот не знаю только, прав ли я, выделяя его лирику. Мне оправдание, что поэму уже не пишу. По этой причине поэму «Отец Тихон» не рассматриваю. Она заслуживает отдельного разговора.

Что до раздела «Вершки», то мне он показался все-таки рассудочным, что не всегда свойственно Струкову. Его характеризует совсем другое:

*Опутали волосы
пальчики тонкие —
И все понеслось колесом.
И что пересуды мне,
разные толки,
Когда на шее лассо?*

«Лассо» здесь — слово чужеродное. Может в дальнейшем, при публикации этого стихотворения, поэт все-таки заменит его другим, русским словом. Не настолько беден наш язык, чтобы заимствовать чужие слова. Даже ради рифмы. Надо помнить смеляковское:

*Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда незначай посягали
На самую суть языка.*

Не хотелось бы, чтобы мои суждения по поводу сборника «След, оставленный тобой» восприняли безусловной похвалой поэта. Я лишь пытаюсь разобраться в отличительном свойстве его лирики, тяготеющей к так называемой философской любовной поэзии. Благо, поэт ничего не навязывает читателю, не приравнивает к штыку перо. Он лишь хочет разобраться в первую очередь с самим собой, своими мыслями и чувствами. Он чурается резкостей: слова, поступка, движения. Иногда из-за этого кажется, что он чрезмерно отрешен, отстранен, даже вял. На самом же деле он — аналитик чувств и явлений, исследователь души человеческой. Политика, идеология, даже проза жизни не занимают его. Константин Струков — поэт в классическом понимании этого слова. В нем скрыт философ и ученый. Его поэтический метод состоит в том, чтобы, не навязывая ничего, поделиться с читателем личным жизненным опытом, помочь ему осознать себя самостоятельно.

Он не лезет вперед, не становится в очередь. Он пропускает всех спешащих куда-то. Он ждет своего часа. У него все впереди. Но в наивности его не заподозрить. Он пишет только для своего читателя. И только для него.

Не «мобилизованный» и не «призванный» он пишет историю себя, своей судьбы, своей любви. Он не чурается ни фетовского «коня», ни маяковской «лошади». Стих его не для слуха и глаза, а мысленного проникновения в него. Городское просторечие, используемое им, вполне оправдано, так как изначально. Он — голос города, из которого вышел. Недаром в Струкове, где-то в глубине, подспудно аукается Маяковский. Странно, но факт. Догадывается ли сам поэт об этом?

И в заключение процитирую еще одно стихотворение:

*Горизонт обвешен
бешеными тучами.
Моросит.
Но запахи теплы.
Не смешно ль тебе со мной,
не скучно ли?
Не страшны ли тучи,
не темны?
Помолчим,
прислушиваясь к небу.
Нрав его, нестойкий,
не поймешь.
В нем пары земные,
запах хлеба,
В нем твоё дыхание
и дрожь...*

Умеет поэт высказать самое сокровенное, что держит нас на этой Земле.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Пушкин! Ну, что нового можно написать о нем спустя более 170 лет со дня смерти? Письма его читаны, перечитаны. Воспоминания друзей и врагов проанализированы несколькими поколениями историков литературы. Само творчество Поэта побудило взяться за перо неслучайное множество самых разных людей. Последние дни его жизни расписаны и изучены, кажется, по секундам. Но вот история жизни Пушкина была бы не полной без истории его болезни — и телесной, и душевной.

«Жить, значит, умирать!» — писал Ф. Энгельс. И только врачу по силам собрать воедино симптомы болезни, установить их внутреннюю связь, дать не предвзятую оценку заключениям врачей того времени, не всегда соответствующим современным представлениям. «Колика», «простуда», «опухоль щеки», «испорченный желудок», «опухоль шейных желез», «гнилая горячка», «аневризм». В современной медицинской терминологии эти симптомы или называются по-другому, или они не претендуют на диагноз той или иной болезни. Пожалуй, наиболее точно описана симптоматика венерического заболевания поэта, по-видимому, гонореи, послужившей из-за «домоседства» на благо создания «Руслана и Людмилы». Близко к современным представлениям лечение отдельных болезней ртутьсодержащими препаратами, хиной.

Все эти сведения стали доступны читателям после публикации книги Николая Макарова — «Пушкин и медицина. Хроника болезней и встреч с медиками»*. Автор не делает попыток трактовать симптомы и синдромы болезней, описанных врачами, лечившими Пушкина, в целях их осовременивания. И это правильно! Он излагает только факты в их жесткой временной последовательности. Емко и кратко дает характеристики незаурядных врачей того времени. Это лицейский врач Пешель, штаб-доктор Лейтон, военный доктор Рудыковский, кишиневский врач Шулер, член медицинских и хирургических обществ Лондона и Парижа Гутчинсон, хирург Мойер, лейб-медик Арендт, врач и известный лексикограф Даль, профессор Загорский, казанский врач и ученый Фукс, профессора Гаевский, Спасский, лейб-акушер Шольц, доктора Задлер, Саломон, академик Буяльский.

Кажущиеся повторы некоторых характеристик болезней Пушкина и биографических данных медиков — только подтверждают правдивость их изложения и оценки — друзьями, врачами, близкими, биографами. Не забыты автором и аптекари: Майглер, Типмер, Брукс, с которыми судьба сводила поэта.

О своей работе автор пишет сам: «Перечитал Пушкина. Прочитал о Пушкине. Выбрал из прочитанного о его болезнях и встречах с медиками». Конечно, перечитывать все о Пушкине трудно, но и тот библиографический список, который приведен автором, вызывает уважение.

Думается, это заявка на серьезное исследование в области истории медицины, которое предстоит осуществить автору. Им систематизирована информация о телесных недугах, сопровождавших Пушкина по жизни, вплоть до тяжелейшего перитонита после пулевого ранения в брюшную полость, приведшего к смерти. Это необходимая часть нашего общего представления о личности гениального поэта, открывшего эпоху поэтики в российской литературе. Издание книги Николая Макарова «Пушкин и медицина» подтверждает неисчерпаемость темы Пушкина в истории России.

* Макаров Н. Пушкин и медицина. — Тула: «Тульский полиграфист», 2007. — 84 с.

Алексей Третьяков

Артиллеристы, Сталин дал приказ!

Автобиографический роман — жанр старинный и оттого не менее привлекательный. Конечно, в предпочтении широкой читательской аудиторией той или иной литературной формы наблюдается определенная ритмичность-периодичность. Были в отечественной литературе периоды всеобщего увлечения рассказами, небольшими повестями, документальными очерками. Только-только закончилось более чем десятилетнее господство публицистики, преимущественно историко-политической, а большие формы, прежде всего роман, сейчас активно входят в область читательского интереса.

Следует приветствовать замысел тульского писателя, прозаика и поэта Марка Самойловича Дубинского, издавшего первый том * обширного по замыслу автобиографического романа «Наследники «Бога войны». Если человеку есть что сказать о делах и событиях ближней истории страны, сопричастных его жизненному пути, тем более — облечь это в художественную форму, то это заслуживает всяческого поощрения.

А Марку Самойловичу есть что сказать. Детство в годы войны, а спустя два года после ее окончания он покидает родной городок Лубны, что в Полтавской области, и начинается долгий период его армейской жизни — по всей великой стране, от Украины до «отрогов Хингана», как он пишет в другой своей, поэтической, книге, на которую мне также довелось писать отзыв... После выхода в отставку в звании майора-инженера, артиллериста — работа на производстве и литературное творчество по сию пору.

Итак, главный герой романа, мальчишка еще Марат Дыбельский, в котором легко угадывается сам автор, едет безбилетником, босиком в ближний крупный город поступать в подготовительное артиллерийское училище. А за окнами вагона картина недавно прошедшей войны: «По стране шагала тысяча девятьсот сорок седьмой год. Еще совсем недавно в этих местах грохотала война, взрывая и уничтожая все вокруг. И следы ее были видны повсюду: разрушенные вокзалы, взорванные мосты, обгорелые остовы вагонов».

Но — и это знамение времени! — несмотря на страшную разруху в доброй половине Европейской части страны, голод сорок шестого года, непросохшие слезы вдов и матерей, потерявших на войне мужей и детей, разгул преступности (сродни нынешнему), государство всячески заботилось о детях войны, включая их в сознательную жизнь, возвращая будущих военных, инженеров, ученых и врачей, составивших к концу пятидесятых годов тот мощный потенциал, что сделал СССР сверхдержавой. И книга Марка Дубинского подробно, фактологически и методически показывает: как это происходило.

Особое внимание, учитывая опыт только что отгремевшей войны, особенно поражений Красной Армии, всевозможные недочеты, страна уделяет планомерной подготовке кадровых военных, причем избирает проверенный всей отечественной историей путь: готовить к службе, начиная с мальчишеского возраста. Попутно и целенаправленно решается вопрос с вовлечением детей войны в созидательную жизнь, о чем мы только что сказали. Открывается широкая сеть суворовских и подготовительных — по родам войск — училищ, в одно из которых, артиллерийское, волею судеб и попадает юный Марат.

Кстати, в первые послевоенные годы, в порядке исключения, обусловленного «кадровым голодом», выпускники средних школ сразу принимались в военные академии (!). ...Сам знаю двух выпускников Военной Краснознаменной академии связи име-

* Дубинский М. С. Наследники «Бога войны»: Роман-хроника (в 3-х частях). Ч. I. Становление. М. С. Дубинский. — Тула: Гриф и К, 2007. — 600 с.

ни С. М. Буденного (Ленинград), ныне московских профессоров, моих научных коллег, также поступивших в академию в послевоенные годы. За все последующие годы только однажды такое повторилось, а именно в 1966 году, когда в школах страны состоялся одновременный выпуск 10-х и 11-х классов (сам выпускник того памятного года). И тогда страна позаботилась о бывших школьниках, чтобы все склонные и способные к учебе смогли поступить в высшие учебные заведения... Были же времена!

Книга Марка Дубинского — очень ценный фактологический документ той трудной, но оптимистичной эпохи. И люди старших поколений почти за два десятка лет катастрофы (термин А. А. Зиновьева) подзабыли реалии тех лет. А более молодые и вовсе должны вытаращить глаза, читая самое начало книги: как люди, прошедшие через горнило войны, казалось бы, ни в черта, ни в бога не верящие, офицеры и генералы, относились к воспитанникам военных училищ, совсем пацанам, даже официально не курсантам, а воспитанникам?

Сколько неподдельной доброты, заботы даже в мелочах, внимания, индивидуального подхода к детям войны! И это не «обремененные» высшим педагогическим образованием специалисты, а еще недавние сержанты, старшины, офицеры. Подлинно, тяжелейшая война на многое открыла глаза ее участникам, особенно на то, что мир не замыкается на них самих, а расширяется и продолжается в детях, вовсе необязательно в своих.

При всем при том воспитанников не тетешкают, но придерживают с малства в достаточно жестких дисциплинарных рамках. Не один десяток ведер картошки почистил после отбоя Марат в нарядах вне очереди, постигая эту дисциплину, постепенно понимая ее пользу, в первую очередь для себя, для своего формирующегося характера.

Но дети есть дети. Это хорошо понимают офицеры-воспитатели, хозяйственная обслуга училища, а прежде всего генерал, начальник училища. И когда воспитанник, начитавшись романов о дореволюционной жизни, приветствует генерала: «Вашество» (то есть «Ваше превосходительство»), — тот не багровеет, не отправляет нарушителя в карцер или вообще под арест, а спокойно разъясняет, что «вашество» — это в прошлом, давно отменено. «Так точно, товарищ генерал», — рапортует воспитанник, душой и разумом еще дите сущее...

А чего стоит торжественный обед в 30-летнюю годовщину Октябрьской революции? — В стране еще карточная система, только оправились от голода прошлого года, а начпрод училища расстарался и сделал почти немыслимое: воспитанникам сварили суп... с рябчиками, причем не с запахом рябчика, а с половиной птички в каждой тарелке. С чем бы это сравнить с нынешним? — Разве что со стихом Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй...». Дожили, что называется.

Подобных моментов в книге великое множество. Не будем их перечислять, роман надо читать: в спокойной обстановке, не торопясь, как читают добрую старую русскую и советскую классику. Старшие поколения найдут много параллелей со своей судьбой-жизнью, а более молодые не меньше «намотают на ус», дивясь: неужели так было? Не приукрасил ли что автор?

Нет, не приукрасил, а написал почти документальную книгу о временах, когда все решал коллектив, но эти решения имели в виду, прежде всего, личность человека.

Это поучительная книга и о своеобразном, трудном, но оптимистичном времени, и о взрослении человека, постижении им реалий жизни: ее радостей и невзгод, свобод и обусловленных ограничений, открытых перед ним перспектив и трудностей на пути их достижения. Тем более, в русской классике есть роман Ф. М. Достоевского «Подросток», на который следует и нужно равняться всем, кто пишет о взрослении юноши и превращении его в мужчину, на слово которого можно положиться, а на плечо опереться более слабому телом или духом.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ: «МОСБАСС» ИЗ СОКОЛЬНИКОВ

От главного редактора: До самого конца 80-х годов минувшего века каждый житель Тульской области почти ежедневно, порой по нескольку раз за день, слыша по радио или телевидению, читая две тогдашние областные газеты «Коммунар» и «Молодой коммунар», встречал привычные названия: Сокольники, Бруснянский, Бельковский...— даже не задумываясь, почему эти небольшие городки и поселки дикторы и корреспонденты газет называют без обозначения их районной иной административной принадлежности. Все и так знали: это наиболее значимые шахтерские городки и поселки знаменитого с 30-х годов Мосбасса — Московского угольного бассейна.

Подчиняясь по отраслевой принадлежности двум трестам — «Тулауголь» и «Новомосковскуголь», этот шахтерский край в центре Европейской России расположился примерно в треугольнике «Тула — Богородицк — Венев». В северной его вершине, в Туле, где шахтеры ездили на работу на автобусах городских маршрутов, угольные пласты пресекались или уходили далеко под землю, и «выныривали» своими остатками только в соседней Калужской области в районе поселка Куровского.

Одно из крупнейших по мощности залежей в мире, единственное на Среднерусской равнине, расположенное в щадящей географо-климатической зоне, в историческом обжитом крае, уже к концу XIX века с хорошо развитой транспортной, прежде всего, что важно для шахт, железнодорожной инфраструктурой, пусть даже не каменноугольное, как Донбасс и Печора — Воркута, но бурого угольное, Подмосковное месторождение сыграло и играло вплоть до «новейших времен» ключевую топливную роль в экономике Российской империи и СССР. Понятно — особенно СССР.

Все началось со строительства в конце того же XIX века Сызрано-Вяземской железной дороги. И первые шахты, примитивные, маломощные, каторжные по условиям труда углекопов, давали на горá уголек для паровозных топок. ...И вплоть до 50-х годов, пока на «железке» не возобладали тепловозы и электровозы, паровозы почти всей Европейской России бегали на подмосковном угле.

Но это еще предыстория. Настоящий взлет Мосбасса начался с первых пятилеток в СССР. Их тогда называли сталинскими. А весомой составляющей этих пятилеток являлся план ГОЭЛРО, разработанный ведущими учеными-энергетиками и инженерами еще в дореволюционной России. Поэтому-то сразу после Октябрьской революции эта грандиозная программа, представленная комиссией под руководством Кржижановского, и была без изменения принята к исполнению. Впрочем, и ленинской ее тоже называли по праву; Владимир Ильич, в отличие от царя, хорошо понимал иерархию первоочередностей в экономике страны...

Так вот, по плану ГОЭЛРО началось грандиозное строительство ГРЭС — тепловых электростанций в промышленных зонах, прежде всего центра Европейской России. Великая Отечественная война на время прервала этот процесс, но уже к середине 60-х годов все запланированные ГРЭС были построены. Это нынешние Суворовская, Новомосковская, Первомайская мощные электростанции в Тульской области. И одна из крупнейших в мире Рязанская ГРЭС и т.д.. Все они работали на подмосковном угле.

Здесь важно отметить, что восстановление разрушенных немцами шахт началось сразу же после изгнания их с тульской земли. Таково было экономическое значение шахт для воюющей страны... А поскольку в самый разгар войны рабочих рук не хватало, то были привлечены для восстановительных работ и угледобычи немцы Поволжья, которые

по понятным причинам (между молотом и наковальней оказались!) нельзя было использовать на фронтах Великой Отечественной войны. Вот потому-то в шахтерских поселках Мосбасса было много этнических немцев, живших и работавших там уже во втором-третьем поколениях. Они и сейчас остаются, но «прореженные» уехавшими в Германию на ПМЖ... Самое обидное, что нужда новейших времен заставила покинуть родину, где они жили уже за двести лет. Но — это к слову и определенной этнографической особенности Мосбасса, во владениях которого в пору расцвета его, особенно в 60-е годы, когда стали широко использовать угледобывающие комплексы, насчитывалось более сотни(!) шахт.

Еще важно отметить: в советское время шахтеры являлись трудовой элитой Мосбасса; социальная инфраструктура поселков и городов вызывала зависть у делегаций зарубежных горняков. Самому случалось бывать тогда и в тех местах (Бруснянский и др.): аккуратная многоэтажная застройка, чистота улиц, в каждом шахтерском поселке — основательный Дом культуры, скверы и парк, стадион, детская музыкальная школа и т.д.

...Увы, все рухнуло в одночасье. Уже в самом начале 90-х годов все шахты, за единичными исключениями, закрылись. Население шахтерских поселков почти стопроцентно осталось без работы. Только в нынешнем веке черта биологического выживания была кое-как преодолена: проходчики вахтовым методом пробивают туннели в бизнес-столице Москве, этнические немцы, как уже говорили, поневоле уезжают в фатерланд. Остальные живут натуральным хозяйством — у кого есть частные дома-домишки.

О причинах такого обвала — закрытия обширного месторождения — здесь даже и говорить не будем. Нужно отдельное, квалифицированное исследование, где все будет теснейшим образом переплетено: общехозяйственная разруха 90-х годов; другие, но не менее радостные, тенденции наших дней; глобализм и близкая исчерпанность мировых энергоресурсов; конспирология и подразумеваемое «тайное мировое правительство» и многое, многое другое, порой совершенно неожиданное. Вот и все ГРЭС перевели с подмосковного угля на газ... как будто эволюция Земли запасла его на миллионы лет, а не на несколько еще десятков, что все мы хорошо знаем...

Это дело «тонкое и политичное». Нам же важно знать: как жил и захирел, обнищал край бывшей шахтерской славы — Мосбасс. Чем живут — не только трудным и горьким хлебом единым — бывшие шахтеры и их семьи. Это и пробует выяснить и донести до читателей писатель-шахтер **Валерий Иванович Кручинин**, предпринявший уникальную попытку издания в г. Сокольники, близ Новомосковска, периодического литературно-краеведческого народного журнала «Мосбасс» (см. фотографии). Увы, пока первым номером дело и ограничилось: отсутствие финансовой базы. Понятно, что и администрации бедствующих шахтерских городков и поселков не могут помочь; даже если и сильно захотят... Что уж тут говорить, если и «Приокские зори» ни копейки не имеют от областной администрации?

Но всякое доброе дело имеет право на жизнь. А литературно-публицистическое творчество людей шахтерского края востребовано читателем. Поэтому мы и протянули руку дружбы «Мосбассу», открыв соответствующую рубрику в «Приокских зорях». До лучших для русской литературы времен.

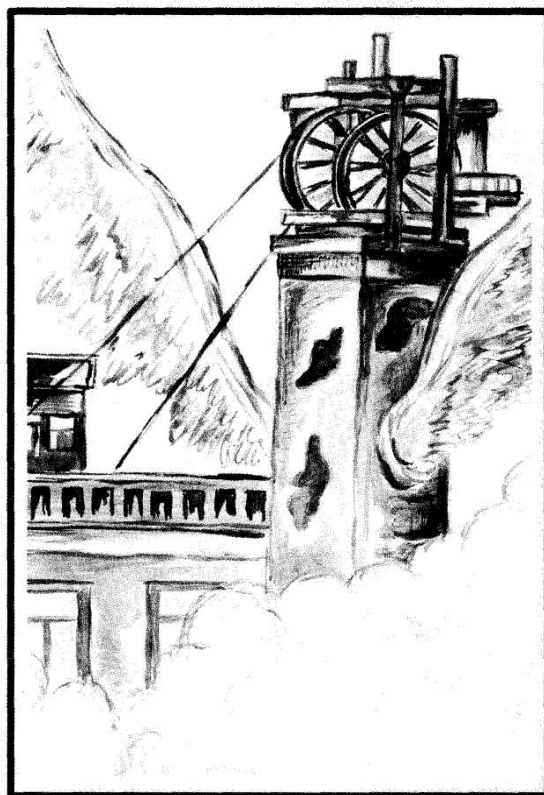
И еще один существенный момент. Мы постоянно работаем над структурой своего журнала. У него уже есть «свое лицо», как отметили в «Литературной газете», «Российском писателе», «Московском Парнасе» и многих тульских газетах. Не без основания полагаем, что введение рубрики «**Журнал в журнале**», во-первых, усилит интерес читателей к «Приокским зорям»; во-вторых, мы тем самым привлекаем к участию в нашем журнале большую группу авторов из Новомосковска и всего (бывшего) шахтерского края, как профессиональных писателей, так и не объединенных формально в творческие союзы.

«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться?» («Послание к римлянам Св. апостола Павла»; 8, 24).

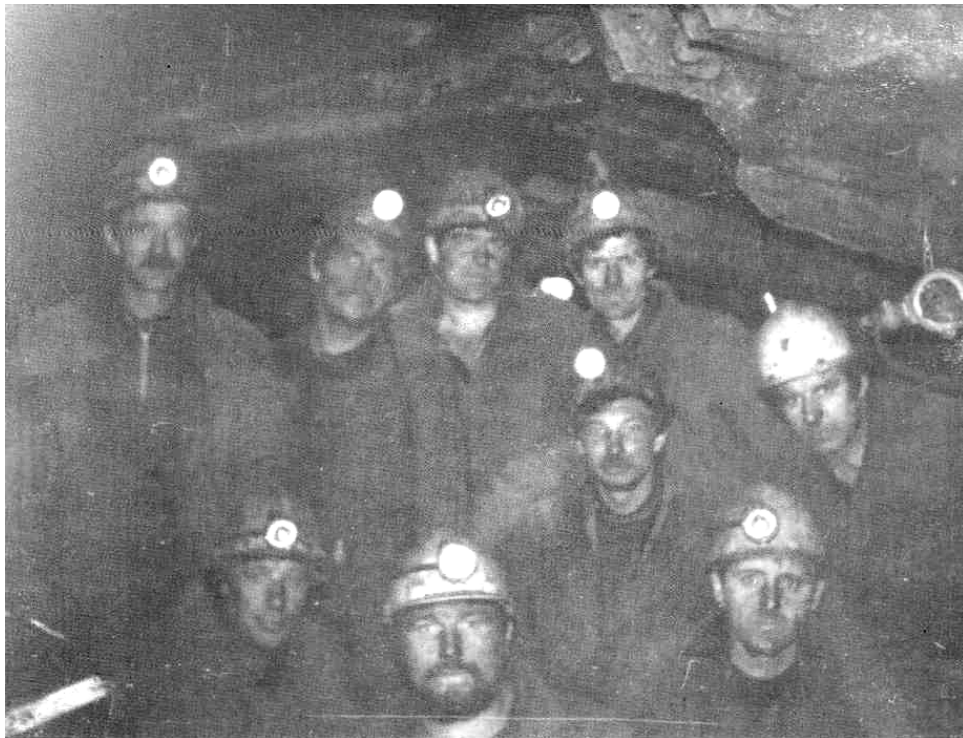
*О, Русь, взмахни крылами!...
Сергей Есенин*

МОСБАСС

*Литературно-краеведческий
народный журнал №1*



*г.Сокольники Тульской области
2007 г.*



Где вы теперь, мои друзья, мои чумазные герои?

Валерий Кручинин-Русич
(г. Сокольники)

МОСБАССА БЛУДНЫЙ СЫН



*Шахтерам моей Родины,
Советского Союза, посвящаю...*

Ветеран

*Он очень прост. Не очень знаменит.
И вот сейчас волнуется немножко.
И глаз его легонечко слезит,
Как будто впилась угольная крошка.
На отдых давно ему пора.
Нет на груди его «Шахтерской славы».*

*Но каждый день он едет на «гора»,
Последним выходя всегда из лавы.
Ему сегодня рукоплещет зал,
Вокруг знакомые, смеющиеся лица,
И знамя Красное венчает пьедестал,
Как гордая нахохленная птица.
Гремит оркестра яростная медь.
Колеблют воздух бравурные звуки,
А он, чудак, не знает куда деть
Углем татуированные руки.*

Чтобы засветло добраться до дома, я выехал из Тулы пораньше. Сразу же за городом, на Мыльной горе, меня догнал дождь. С утра и так было свежо, а тут еще этот мелким ситечком дождик. Он прямо-таки заливал ветровое стекло моего автомобиля. Благо, печка в салоне работала исправно. Я искренне сочувствовал людям, стоявшим на остановках и ждущих весьма редких по нынешним временам автобусов. Включил приемник. Покрутил ручку настройки. Нашел «Русское радио». Его ведущий Фоменко самозабвенно отпускал шуточки про мужские гениталии. Стало противно. И сразу расхотелось слушать. Дождик лил. Скребли по стеклу дворники. Бежали километры. Подъезжая к Быковке, я заметил странного мужика. Высокого роста. Бритый наголо. Сутуловатый. Одет легко, не по сезону. Я был уверен, что не знаю его. Но уж что-то очень располагающее было в его медвежьковатой фигуре.

Вообще, последние десять лет, я не подвожу в своей машине незнакомых мне людей. По сегодняшним временам одинаково опасно посадить и молоденькую студентку, и седенькую старушку. А тут огромный мужик с недельной щетиной.

— Я в Новомосковск. Если по пути, садитесь.

— По пути, по пути,— сильным озябшим голосом проговорил он.

И, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, прямо-таки запрыгнул в машину.

— Вообще-то я уже отчаялся уехать отсюда,— с явной благодарностью в голосе просипел он.

Погода ухудшалась. Дорога не просматривалась, и я сбросил скорость. На все мои попытки завязать разговор попутчик не поддавался. На вопросы отвечал вяло, с неохотой. Другой бы за то, что едет в тепле домой, анекдотами засыпал. А этот схватился за ручку, как в трамвае, и застыл. Но странное дело, я все с большим и большим интересом проникался к этому верзиле. Попутчик мой молчал. Замолчал и я, задумался о своем.

— Чья-то кормилица была,— вдруг неожиданно проговорил он.

— Что вы сказали? — недоуменно просил я.

— Да вон шахта разбомбленная,— махнул он рукой в сторону недавно закрытой шахты.

— А причем здесь кормилица? — я определенно не понимал хода его мыслей. И слово «кормилица» показалось мне странным и неуместным.

— Да я сам-то бывший шахтер. Почти 27 лет на здешних шахтах. Сейчас на пенсии. А кормилицей мы свою 3-ю шахту называли. Недавно попал туда. Такая же вот. Разбомбленная. Только еще по всей территории березы растут. Толще мой руки,— и он оголил широкой кости мускулистую руку.

Мало-помалу разговор завязался. Говорил он односложно. Скучно. Для связки слов частенько употреблял удивительно смешную матерщину. Я слушал его, не перебивая.

ДЕНЬ ШАХТЕРА

Самым любимым летним праздником у нас, поселковой детворы, был День шахтера. Он приходился на последнее воскресенье августа. В этот день мы старались стать как можно раньше. Собирались в беседке, около нашего дома. И с каким-то нешуточным волнением ждали прилета «кукурузника». Он появлялся часам к девяти утра. Сделав круг над терриконами близ лежащих шахт, опускался ниже. И на бреющем полете проносился над поселком. Из его чрева вылетали листовки. Маленькие розовые листочки, на которых жирными буквами было что-то написано. У нас даже игра существовала: кто больше всех соберет листовок, тот целый день считался чемпионом.

Поселок был маленький и большая их часть улетаала в поле. Набегавшись по поселку, а потом и по пашне, мы, гордые, возвращались в нашу беседку. Начинали выяснять, сколько у кого этих розовых хрустящих листочков. Определившись с победителем, мы еще полдня таскали их за пазухой. А потом отдавали деду Платону, жившему в нашем бараке. Он вертел с них «козьи ножки». Они выходили у него такими огромными и толстыми, что я всегда удивлялся, почему «ножка», а не «ляжка». Дед был очень древним. Сколько ему лет, сказать было трудно. Но от его правнука мы знали, что он воевал еще в русско-японскую войну. И даже был в плену у японцев.

Часам к двенадцати по полудни, поселок вымирал. Все семьями шли в Сокольнический лес, на массовое гуляние. Фронттовики, а тогда их было очень много, надевали свои боевые ордена и медали.

*А сколько же радости детям!
И мой разгорается взгляд
От самых геройских на свете
Отцовских военных наград.*

В пять лет мы уже знали, какой это орден, какая медаль и за что их дают. Я часто приставал к отцу, чтобы он рассказал мне хоть что-нибудь о войне. Но он всегда отшучивался. И, когда я уже чуть не плакал, он начинал рассказывать: «Влетаем мы, сынок, на танке в Берлин. И у самого Рейхстага нас подбивают. Горим. Лезем в верхний люк — немцы кругом, мы в нижний, а там — наш участковый». «Вот, думаю, и дядя Коля милиционер с моим папкой воевал»,

В лесу работал буфет. Играл духовой оркестр, гармошки, баяны. Было торжественно и очень весело. Но, до определенного момента. Вдруг, ни с того, ни с сего, начинали вспыхивать драки, нередко переходившие в массовую потасовку. Ну, какой праздник без драки! К вечеру все мирились и шли на поселковый стадион. Там всегда между шахтами проходили футбольные матчи.

Милое, милое детство. Как же это было давно! Когда я уже сам стал работать на шахте, листовок с самолета на День шахтера не бросали. Праздник стал обычным рабочим днем. Один из них крепко запал мне в память.

На утреннем наряде собралось много народу. Ночная и первые смены. Председатель шахтного комитета профсоюзов зачитал поздравительную телеграмму генерального директора «Новомосковскугля». Раздал почетные грамоты передовикам. И стал длинно и нудно поздравлять нас от своего имени. При этом он часто выглядывал в окно. Окна общей нарядной выходили на рабочую столовую. Там, на ее широком крыльце, шахтный парторг отрубал от свиной туши задок. Рубил он долго и неумело. Но вот, наконец, задок отвалился. Парторг вытер пот со лба и передал топор повару. Две женщины-посудомойки подняли откромсанную часть поросенка и, согнувшись в три погибели, поволокли ее к недалеко стоящему шахтному автобусу, набитому праздными людьми. Тут же наш профлидер на полуслове оборвал свою косноязычную речь. И уже на ходу торопливо бросил: «Ну, мужики, счастливо отработать».

УЧАСТКОВЫЙ

К десятому классу во мне было под два метра роста, 100 кг веса и два привода в милицию. Поселок, где я жил, был основан недавно. Вокруг него возвышались терриконы работающих шахт. Террикон это отвал пустой породы. Огромная, конусообразная гора. Любимое место наших детских игр. Жилье строили быстро. Печники клали печь, плотники из деревянных щитов сбивали каркас. Каменщики обкладывали его кирпичом. Поселок стремительно разрастался и вскоре получил название. Изумительно красивое.

Сокольники. Наша историчка (она была помешана на «Слове о полку Игореве», мы прозвали ее Ярославной) объясняла название поселка так: все эти земли когда-то принадлежали графу Бобринскому, внебрачному сыну Екатерины II и Григория Орлова, ее любовника; на этом месте, где мы сейчас живем, было огромное поле, где граф охотился с соколами, называлось оно Сокольничим; отсюда и название поселка.

В наших Сокольниках было два монументальных здания — четырехэтажная школа и Дом культуры, огромный, светлый. Школа работала в две смены. Каждый год к первому сентября одних первых классов набирали по семь штук от 1-А до 1-Ж. Учителей не хватало, особенно в старших классах. В особом дефиците были преподаватели иностранного языка. Немецкий в нашем классе вела учительница, приехавшая из района. Появлялась она редко. Проведет урок, задаст на дом кучу параграфов, и месяц ее нет. По-настоящему немецкий нам преподавал наш завхоз (после войны он еще лет семь служил в Германии на сверхсрочной). Занятия проводил по-хозяйски. Девчонок оставлял в классе зубрить учебник, а нас, парней, распределял на различные работы. Зимой чистили снег, ремонтировали старые парты. Осенью и весной работали в огромном школьном саду. При этом он разговаривал с нами только по-немецки. От этих уроков в моей памяти сохранилась фраза. Ее он часто говорил нашей школьной медсестре: «Ком шляфен, фройлян, фик фик унд тринкен шнапс». Дядька был замечательный фронтовик.

В ДК, кроме кино, работала секция классической борьбы. Мне было лет 13, когда я впервые увидел показательные выступления борцов.

На следующий день, на пацанов, пришло записываться на борьбу человек 30. Тренер сразу выделил меня. Покрутил, пощупал, спросил, сколько мне лет. Я ответил, он покачал головой: «Да-а. Парень ты перспективный». И записал меня сразу в старшую группу. Там в основном тренировались разрядники и даже три кандидата в мастера спорта. Я был у них нарасхват, они вместо чучела отрабатывали на мне приемы. Бросок за одну руку, бросок через голову с прогибом, и много еще разных «зубочисток». Я потом плюнул и престал ходить на эти тренировки. Тренер аж в школу ко мне приходил, уговаривал не бросать. Но эти КМСники у меня всю охоту к спорту отшибли. Да и к чему? Сила из меня так и перла. В классе я мог на спор высоко приподнять парту с визжавшей на ней от испуга и неожиданности одноклассницей. Учился, правда, неровно, скачками. Бывало, контрольные работы за четверть «щелкал» быстрее отличников, а, бывало, к доске отказывался выходить, потому, как даже не понимал, о чем меня спрашивали. Уверенней всего я чувствовал себя на уроках истории, у Ярославны. Кажется, в классе седьмом, она даже расплакалась, когда я рассказывал о Куликовской битве, про бой Пересвета с Челубеем.

Среди ровесников друзей у меня не было. Скучно как-то с ними. Дружил я с парнями намного старше себя. Были среди них и судимые. Уж очень льстило их равное отношение ко мне. Авторитетом у нас был Мосол. Парень лет тридцати. Длинный, тощий, злой. У него было две судимости. Все его уважали и побаивались. Он часто рассказывал про «зоны», где сидел. Но я мало чего понимал. Из его историй выходило, что на этих «зонах» сидят самые лучшие люди, а за что, не понятно. Я как-то на-

брался наглости и спросил его: «Мосол, а сам-то ты за что сидел и сколько?» Он бесшело посмотрел на меня и сквозь зубы процедил: «Двенадцать пасох, за халатность». Опять я ничего не понял, но зауважал его еще больше. Вообще, Мосол изо всех меня выделял. С год назад я шел из школы мимо его голубятни. Он стоял с тремя незнакомыми мне парнями. Парни что-то требовали от него и были настроены очень агрессивно. Вот-вот должна была вспыхнуть драка. Не задумываясь, я бросил папку с учебниками и буром попер на незнакомцев. Мне здорово досталось. Кто-то из соседей вызвал наряд милиции. Мосол куда-то исчез. Исчезли и парни, с которыми мы колупались. Забрали меня одного. В милиции сразу стали составлять протокол. Я нес какую-то околесицу, инстинктивно стараясь не впутывать Мосла. Промучившись со мной часа полтора, сержант дал мне такого пинка, что я пулей вылетел из дежурки.

По дороге домой, потирая ушибленные места, я горделиво предвкушал свое завтрашнее появление в школе. Что туда сообщат сегодня же, я не сомневался. Я уже чувствовал на себя заинтересованные взгляды девчат. И мне было глубоко по-фигу, что последует неизбежный вызов к директору, да и разговор с родителями меня не страшил. Отец мной вообще не занимался. Он всю войну в пехоте прошел. Три раза ранен был. Контуженный. Сколько себя помню, все болеет. Как меня еще умудрился сделать. К тому же поддает здорово. Как напьется одно и то же: «Эх, сынок, скоро в ящик сыграю. Наверное, и в армию тебя не провожу. Врагу не сдастся наш гордый «Варяг», — и опрокинет очередной стакан. Мать, конечно, жалко. Спит и видит, когда я десятый класс закончу.

О том, что меня с родителями вызывают на педсовет, сообщила Ярославна. В нашем 10-Г она была классным руководителем. И добавила как-то странно, по-древнерусски: «Мужайся, Буй-тур-Всеволод!».

Отец, конечно, не пошел. Ходили мы с матушкой. Педсовет проходил в кабинете директора. Учителя на меня особо не наезжали. Говорили, что лодырь, уроки не учит, занятия прогуливает. Но лодырь способный. Если возьмется за ум, то десятый класс может закончить успешно. Правда, математичка наша, сосем молоденькая, только что институт закончила, заявила: «Когда он в классе, я не могу вести урок, он смотрит на меня, не как ученик на учителя, а как мужчина на женщину». Глядя на ее тонкие кривые ноги, я подумал: «Ну, ты мать, даешь». И некоторые родители, члены педсовета, были категорически за мое исключение. Матушка моя горько плакала. Решение принимали без меня — оставить до первого замечания. Зато Мосол стал доверять мне ключи от своей голубятни.

Как-то среди недели он попросил почистить леток. Именно попросил. Со мной он всегда разговаривал не так, как со всеми. Меня это очень подкупало. И я был готов выполнить любую его просьбу.

— Я тут, в натуре, на три дня свалою. Так что смотри.

— Об чем базар, Мосол, свои ребята.

Утром решил в школу не ходить. Мать отдыхала после ночной смены. Отец был на работе. Он хоть и прибаливал, но работу не бросал. Собрав учебники и тетради в папку, я на цыпочках, чтобы не разбудить матушку, вышел из дома. Сразу направился к голубятне. Покормил птицу. Шуганул. Они сорвались дружно и через минуту ушли в точку. Было начало октября. Погода стояла замечательная. Высоко в небе, прямо под голубятней, парила моя стая. Я залюбовался.

— Ты чего не в школе?

От неожиданности меня аж потрянуло. Рядом стоял наш участковый. Я растерялся и бухнул первое, что пришло в голову:

— Болею.

— На бюллетне, значит. Где Мосолов?

— Кто?

— Мосолов.

Тут до меня дошло, что он про Мосла спрашивает. Надо же, а я и фамилии его не знал. Мосол и Мосол.

— Уехал куда-то на три дня. Вот, и ключи мне оставил.

— Значит, ты теперь здесь за хозяина.

Я промолчал.

— На три дня говоришь? Как отец-то? — без всякого перехода неожиданно спросил он.

— Да ничего, вроде. Сейчас вот на работу вышел.

Вопрос об отце меня не удивил. Участковый часто приходил к нам утихомирить не в меру разбушевавшегося родителя. Как-то здорово у него это выходило. Какой бы отец ни был пьяный, участковый никогда не забирал его в кутузку. Сядет, поговорит, а то и стопку хлопнет. А поговорить им было о чем. Они воевали в одной армии, у Чуйкова. Берлин брали. Через полчаса, глядишь, батя уже в люле похрапывает.

— Голуби это хорошо. А вот от Мосолова держись подальше.

— Да я...

— И ключи ему верни!!! Понял?

В голосе его зазвенела сталь. Сказал, как приказ отдал. И пошел, тяжело переваливаясь с ноги на ногу к своему, недалеко стоявшему, мотоциклу.

«А ведь тоже, наверное, весь израненный...» — почему-то промелькнуло у меня в голове.

Я почистил леток. Сменил голубям воду. И, пока матушка моя не проснулась, решил сходить домой перекусить. Выходя из голубятни, нос к носу столкнулся с Мослом. Он был не один. С ним было двое парней. Я их сразу узнал. Это те, с кем год назад мы подрались.

— Здорово, Чича! Как дела? Голубей не прошугал? — зачастил Мосол.

— Да ты че, я...

— Ладно, ладно. Ты сейчас куда?

— Домой. Поем что-нибудь.

— Давай быстрее! Ты мне нужен будешь.

Матушка еще спала. Она работала породовыборщицей на погрузке. Работа грязная. Тяжелая. Намаялась, наверное, за ночь. Лежит, не шелохнется. Я быстро поел, и снова тихонечко вышел из дома.

«Интересно, что у Мосла за дела с этими уродами?» — размышлял я, направляясь к голубятне. Обогнув недавно сданный, но еще не заселенный двухэтажный дом, я встал как вкопанный. Метрах в двадцати от меня стоял милицейский автобус. Милиционеры сажали в него Мосла и его гостей. На их руках были наручники. Минут через десять автобус, взревев мотором, помчался в сторону милиции.

То, что Мосла арестовали, меня не удивило. Он никогда нигде не работал, а деньги у него были всегда. На голубях, которых мы ловили и воровали, столько не заработаешь.

Дверь голубятни была настежь распахнута. «Пойду, закрою», — решил я. «Да, влип Мосол крепко. Вон, аж в наручниках повезли. Интересно, за что?», — размышлял я, заходя в голубятню.

— Пришел, — раздался голос из полумрака.

Меня от неожиданности опять прямо потрянуло. На лестнице, ведущей в леток, сидел участковый.

— Закрывай свою богодельню, и поехали.

— Куда?

— Ко мне. Поговорить с тобой хочу.

— А что, здесь нельзя поговорить?

— Знаешь, у меня до войны тоже голубятня была. И почище вашей. Но у меня была голубятня, а не воровская малина. Поехали!!! — рявкнул он.

В другой раз я бы с удовольствием покрасовался перед пацанами, садясь к участковому в мотоцикл. Даже руки бы для понта сцепил за спиной. Но сейчас я испугался. Трясущимися руками еле-еле закрыл тугой замок и понуро побрел к мотоциклу. Участковый привез меня не в милицию, а в опорный пункт. Был у него такой кабинет в шахтерском общежитии. Он открыл дверь. Пропустил меня вперед.

— Присаживайся, «гвардеец», — махнул рукой, указывая на обшарпанный диванчик. Я пристроился на самом его краешке. Сам он сел за стол. Устало снял фуражку. Вытер платком вспотевший лоб. Закурил беломорину.

— Курить-то не начал еще?

— Нет.

— Молодец. Ты знаешь, чего я больше всего сейчас хочу?

— Не знаю. А чего?

— На твоих проводах в армию погулять.

Я обомлел. Чудит мусор.

— Да мне еще почти два года до армии.

— Вот-вот. И я о том же, — он затыкнулся беломориной и помолчал.

— Сейчас в десятый ходишь?

— Да.

— Бросай к чертям ты эту школу. Хочешь, я тебя в училище устрою? На сварщика выучишься?

Я обалдел. Своими вопросами он начисто обескуражил меня.

— Да мать с ума сойдет. Она спит и видит...

— Сойде-ет! Непременно сойдет. А то и руки на себя наложит. Когда тебя как Мосла в «воронке» в наручниках повезут неожиданно, — заорал он и влепил мне горящей беломориной прямо в лоб. Я сжался в комок на своем диване. Участковый достал из новой пачки папиросу, закурил. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. «Отмудохал бы что ли», — подумал я.

— Хотя, знаешь, в училище тебе тоже делать нечего. Пойдешь на производство. С твоими родителями я поговорю. Ну, чего сидишь? Иди.

— Куда?

— Домой. И запомни, я не только на твоих проводах в армию погуляю, но и на свадьбе твоей еще спляшу.

На свадьбе моей он не гулял. Умер перед самым моим дембелем. Царство тебе Небесное, дядь Коля-милиционер!

МАЛОЛЕТКА

В кабинет отдела кадров, где я расписывался в новенькой только что заведенной на меня трудовой книжке, забежал молодой мужчина, в чистой спецовке.

— Ты что ли Русич? — спросил он меня.

— Я.

— Пошли.

— Куда?

— В мехцех.

Когда вышли из кабинета, мужчина представился. Звали его Алексей Васильевич. Он был заведующим механического цеха шахты № 33. Здание, куда мы пришли, показалось мне мрачноватым, Приземистое, сложенное из серых бетонных блоков, с огромными, настежь распахнутыми воротами. Из глубины шахтного двора к нему были подведены рельсы.

— Сейчас обед, пойдем, я тебя с мужиками познакомлю,— сказал мой провожатый и толкнул первую за воротами дверь. Я увидел большую светлую комнату. По ее периметру стояли скамейки. Посередине находился длинный стол, на дальнем конце которого четверо рабочих играли в домино. Ближе к нам несколько человек обедали. Из их блестящих металлических термосов вкусно пахло борщом.

— Та-ак! Внимание, мужики! В нашем полку прибыло,— громко сказал Алексей Васильевич и как-то по-свойски подмигнул мне.

— Вот это грендер! — удивленно пробасил плечистый старикан с окладистой бородой и такими же пышными усами.

— Ты из чьих будешь-то?

Лица половины из здесь присутствующих показались мне знакомыми. Но старика я не знал. И он сразу мне понравился. «Надо же, как на Илью Муромца похож!» — про себя удивился я.

— Да это Ивана Русича сын. А мать его у нас на породовыборке работает,— очень знакомым голосом проговорил мужичок в промасленной телогрейке.

Я тут же узнал в нем нашего соседа.

— Дядя Саша?!

Мы жили дверь в дверь.

— Это наша столовая. Ну, пойдем дальше,— потянул меня за рукав мой начальник. Он показал мне токарку, цех гидравлики, электроцех, кузницу. Везде подробно рассказывал о станках и механизмах, которыми мехцех был буквально напигован. Мне все это очень нравилось. Настроение было отличное. «Интересно, за какой станок он меня поставит?» — с каким-то сладким томлением думал я. Обойдя все помещения мехцеха, мы пошли к выходу.

— Ну, а теперь о главном,— сказал мой начальник.— Твоя задача заключается в том, чтобы территория мехцеха блестела, как котовы яйца.

И сунул мне в руки невесть откуда взявшуюся огромную метлу.

— Да, и еще. Работаем мы с 9 утра и до 5 вечера. Но ты, как малолетка, можешь уходить на час раньше. На работу не опаздывать,— откуда-то издалека донеслось до меня.

Домой брел как в тумане. Матушка была на работе во вторую смену. Батя уже неделю лежал в больнице. Ему должны были дать инвалидность. Поговорить и посоветоваться было не с кем. «Выходит, меня дворником взяли. Ничего себе! На шахту устроился. Да пацаны узнают, засмеют. Спасибо, матушка, удружила». Как же так. Я же своими глазами видел запись в трудовой «принят слесарем 6 разряда». Писали бы уж честно — слесарь с метлой. Весь вечер я мотался по квартире, с ужасом представляя свои трудовые будни. И, совсем обессиленный, лег спать. Но уснуть долго не мог. Слышал, как с работы пришла мать. Она два раза заходила ко мне в комнату. Но я притворился спящим, разговаривать ни с кем не хотелось.

Разбудила она меня в половине седьмого утра.

— Вставай, сынок! Первый твой рабочий день. Не дай Бог опоздаешь.

Меня изнутри будто жаром обдало. Но, увидев ее счастливое и вместе с тем какое-то виноватое лицо, сдержался. Умылся. Наскоро попил чаю и выбежал за дверь.

— Ты автобус не жди. Пешком быстрее дойдешь,— крикнула мне вслед матушка.

Шахта находилась в километре полтора от поселка. Все рабочие ходили пешком. На автобусе добирались одни конторские.

«Нет. Тут что-то не то,— продолжал я прокручивать в уме свое вчерашнее трудоустройство.— Начальник, наверное, не въехал. Дворником я и в ЖКО мог устроиться. И ходить никуда не нужно. Вообще рядом. Сейчас вот приду, и серьезно с ним побазарю. А нет, так чихал я на вашу шахту». Обстоятельно обдумывая план своих дальнейших действий, я незаметно подошел к зданию шахтоуправления. Широкоую

заасфальтированную площадку перед его входом старательно мел молодой, дебильного вида парень. Увидев меня, он широко улыбнулся и попросил закурить.

— Не курю,— буркнул я и, стараясь не глядеть на орудие его производства, быстро зашагал к своему первому в жизни рабочему месту.

Ворота мехцеха оказались закрыты. Их подпирали две «козы», доверху наполненные какими-то круглыми железными ящиками. Я посмотрел на часы, недавно подаренные мне отцом. Стрелки показывали половину восьмого. «Полтора часа ждать»,— уныло подумал я. Вся моя решительность улетучивалась по мере моего приближения к шахте. И вот сейчас, здесь, у ворот, она равнялась нулю. Справа, у входа в мехцех, на стене висел пожарный щит. Под ним стояла выкрашенная в красный цвет вагонетка, полная воды. Я присел на ее буфер. Стало так тоскливо, что мне хотелось выть. И чтобы как-то отвлечься, я стал рассматривать знакомую с детства территорию шахты. Еще пацанами мы каждый уголок здесь облазили. А на терриконе у нас даже свой штаб был. Из отцовских рассказов я знал предназначение всех шахтных сооружений. Вон та высоченная металлическая конструкция, с огромными колесами наверху — это копер. Если колеса крутятся, значит, по нему качают уголь, добытый шахтерами. Примыкавшая к нему длинная галерея — это погрузка. Внутри нее находится транспортерная лента. С ее помощью грузят уголь в железнодорожные вагоны. А если их нет, сыпят прямо в отвал. Там, на погрузке, работает моя матушка. Дальше, где раскорячился мостовой кран,— это лесной склад. Людей нигде не было видно. Но я точно знал, что и в этих циклопических сооружениях, и глубоко под землей идет напряженная работа.

Вдруг, где-то в глубине своего сознания я почувствовал себя крохотной частичкой всего этого. Меня аж подбросило с буфера. Настроение сразу поднялось. Даже показалось, что воробы на деревьях зачирикали громче и веселей. Захотелось что-то сделать. Не долго думая, я стал выкатывать из «коз» круглые, оказавшиеся неподъемными, ящики. «Хорошо, хоть, не квадратные»,— удовлетворенно думал я, скатывая очередную железяку. Падая, они оставляли на земле глубокие рытвины.

Разгрузив «козы», я откатил их подальше от ворот и с гордостью оглядел плоды своего труда. Тяжелые железяки в беспорядке лежали по обе стороны путей, загрожая вход в здание. Одна из них уперлась в шпалу и расперла собой воротину. С огромным усилием я откантировал ее в сторону. Ворота сами собой открылись. Первое, что бросилось мне в глаза это метла, которую вчера вручил мне заведующий цеха. Я с ненавистью схватил ее. Первым моим желанием было сломать, искромсать. Но не стал. Передумал. Подальше отнес от мехцеха и швырнул за забор. «Ну, теперь и с начальством можно погутарить»,— удовлетворенно подумал я. Вернувшись назад, увидел вчерашнего бородача. Отчаянно ругаясь, он вел за руль подпрыгивающий на шпалах велосипед.

— Ты посмотри! — как к давнему знакомому обратился он ко мне,— весь проход пускателями загромодили. Ну протолкнули бы подальше «козы»,— он махнул рукой в сторону мехцеха.— Там у электриков и тельфер есть. А теперь что? Кран вызывать? Ни пройти, ни проехать, ек-ковылек!

«Вот и поговорил с начальством»,— сокрушенно подумал я.

СЮРПРИЗ

Уже скоро год, как я работаю в механическом цехе шахты № 33. Работа мне нравится.

К токарному станку меня, конечно, не поставили. Но сверлильный вскоре доверили. Сверлю на нем флянцы для труб. Наверное, тысячу штук уже просверлил. И

все везут, везут. Работаю и со сварщиком. А как-то сам решил поварить. Так насверкался, что четыре дня спать не мог. Будто железных опилок в глаза насыпали. И чего моя матушка к глазам моим не прикладывала: и сырую картошку, и крепким чаем промывала. Даже хозяйственное мыло в глаза пускала — ничего не помогало. Я уже думал совсем ослепну, но, помаленьку, проморгался.

Обязанности свои уборщика тоже не забывал. Проблему эту решил просто. По всему цеху проходил противопожарный стан. Я подключал к нему длинный резиновый шланг. Мощной струей вымывал из помещения всю грязь и мусор. Бетонный пол тут же впитывал оставшуюся влагу. Мехцех блестел как «котовы яйца». К метле ни разу не притронулся.

Но больше всего мне нравилось работать в кузне. Я постоянно терся возле нее. Кузнецом оказался тот, похожий на Илью Муромца старикан. Звали его Виктор Алексеевич. Работа его меня завораживала. Достанет длинными щипцами из горна, раскаленную добела железяку, стукнет ею о наковальню, отряхивая окалину, тюк-тюк молоточком. Глядишь зубило. Тюк, тюк, тюк — зубок на шахтерский обушок. Гудение упругого пламени в кузнечном горне, бархатисто-вязкие удары молота о заготовку чередовались со звонкими ударами о мощную наковальню. Эти звуки рождали в моем сознании чарующую, небесную музыку. А сама фигура кузнеца с огромной всклокоченной бородой, в длинном кожаном фартуке, уносила меня в такую седую древность, что начинала кружиться голова и подкашивались ноги. И уже никакая сила не могла меня вытащить из кузни. Виктор Алексеевич сразу это подметил. Он часто брал меня к себе в помощь, за молотобойца. Я понимал его с полувзгляда. И как-то, незаметно для себя, быстро освоил все кузнечные приемы и навыки, чем разгрузил нашего кузнеца от половины заказов, которые несли нам в кузню. На сделанные мною зубила, монтировки, торцовые ключи никто никогда не обижался. А после одной крупной шахтной аварии (порвали 500 метров транспортерной ленты) мы до часу ночи ковали заклепки. И в моей трудовой книжке появилась вторая запись «переведен подручным кузнеца».

После ноябрьских праздников Виктор Алексеевич наладил второй кузнечный горн. Принес из дома настоящий кожаный фартук. И я, как заправский кузнец, работал самостоятельно. Закалка заготовок у меня не совсем получалась. Но в глубине души я чувствовал, что придет время и мой наставник посвятит меня во все тонкости этого мудреного действия.

Старый кузнец оказался большим любителем поговорить. Начинал он обычно с политики. Имел обо всем свое твердое устоявшееся мнение. Например, рассуждая об американской армии, он всегда заканчивал свою мысль одинаково: «И вообще, как солдат, американ говно. Он без чиколлада воевать не будет. Видел я их в Германии». Потом плавно переходил к политике нашего государства. И его так начинало швырять во времени и в пространстве, что я терял всякую ориентировку. Но больше всего он любил поговорить о старине. По его словам выходило, что он кузнец в четвертом поколении. Его прадед, дед и отец были прославленными кузнецами. Заметив, что я часто присаживаюсь на наковальню, он с тактичной хитрецей поведал мне такую историю.

«Повадился к моему прадеду барин в кузню ходить. А весна. Время в деревне горячее. Работы невпроворот. А он сядет на наковальню и давай байки травить. Пустой человек, ек-ковылек. Терпел Иван Сергеевич, терпел и как-то к приходу барина раскалил наковальню болванками чуть ли не до красна. Тот приходит и плюх на нее ее, кормилицу, да и пришкварился. Весь гудок себе сжег».

Меня как ветром сдуло. С этих пор я не только присесть на наковальню не смел, но и руками на нее не опирался. Наши токаря, зная эту слабину, частенько разводили кузнеца. Начинали всегда издалека: «Сейчас на Руси настоящих кузнецов-то не

осталось. Раз, два и обчелся». Виктор Алексеевич тут-же подхватывал: «И не говори, ек-ковылек. Вот у меня дед мастер был. По всей губернии слава шла. Еще мальчонкой был, а помню. К нам сам Буденный коня ковать приезжал. Я меха кузнечные деду помогал качать». «А я своему дедушке пушку на «Авроре» помогал растачивать», — на полном серьезе говорил один пожилой токарь. Мехцех взрывался от хохота. Не смеялся я один, свято веря им обоим.

В своем наставнике я души не чаял. Мне всегда хотелось сделать ему что-нибудь приятное. И не по работе, а ему лично, как человеку. Но дед был не избалованный. Даже в чем-то суровый. Подхалимства не терпел. Но такой случай все же представился.

Виктор Алексеевич жил в деревне. У него была целая куча внучат. Специально для них держал свою корову. Через день он в трофейной фляге приносил на шахту молоко. Фляга была из алюминия, литра на два. Он всегда щедро угощал из нее всех желающих. А меня прямо-таки силой заставлял выпивать кружку, другую. И, хотя я терпеть не мог молоко, отказаться не смел. Этой флягой он очень дорожил. А как-то принес ее смятой в блин. Два дня он все крутил ее. Даже со мной советовался, как бы ее выправить. Меня сразу осенило. Физику вспомнил. Все тела при нагревании расширяются. План у меня в голове созрел моментально: закажу токарям по размеру пробку, налью во флягу воды и на горн; вода нагреется, превратится в пар, а он, уж, батюшка, свое дело сделает. Вон какие составы паровозы таскают. Но Виктору Алексеевичу ничего не сказал. Решил сделать ему сюрприз. Хотя рассказать ему так и подмывало. Повертел мой Алексеич в огромных ладонях свой боевой трофей, вздохнул тяжело, и забросил флягу за ящик с инструментами.

Улучив момент, оставшись в кузне один, я достал флягу. Налил в нее воды. И, хотя, фляга была сильно покарежена, воды не пропустила. Полдела сделано. Сходил к токарям. Они выточили мне тугую, металлическую пробку. Я с трудом вогнал ее в горловину фляги. Для верности еще и хомутиком опоясал. Убавил пламя в горне и положил флягу в самый жар. Чтобы Виктор Алексеевич не узнал раньше времени о сюрпризе, накрыл ее небольшим листом железа.

Минут через десять вода закипит, превратится в пар. Пар сделает свое дело, и я вручу своему наставнику дорогой его сердцу трофей. Как-никак, а он почти всю войну с ним прошел. Меня распирало от гордости. Алексеич вернулся от нашего начальника с толстой пачкой нарядов. Надел очки и стал их просматривать. Мне ни сиделось, ни стоялось. «Что ты сияешь, как новый полтинник? — глядя на меня поверх очков, спросил он. — Наверное, какую-нибудь девку уговорил». В этот момент слышался какой-то комариный писк. Алексеич недоуменно оглядел кузницу. Писк доносился от моего горна. «Да что у тебя там пищит-то?» — он взял кочережку и откинул железный лист, который прикрывал флягу. В эту секунду раздался взрыв! Облако пара сразу ушло вверх, в вентиляцию. А приличный блин спекшегося и раскалившегося угля, угодил ему прямо в роскошную бороду. Алексееч заревел, как раненый медведь, и отпрянул в сторону, но, за что-то зацепившись, рухнул на пол. Неприятно запахло жженым волосом и тряпкой. Я окаменел. Истошно вопя, Алексеич вырывал из своей бороды толстые пряди волос. Спецовка на его груди загорелась. Я схватил пятидесятилитровую кадушку с водой (в ней мы калили заготовки) и вылил ее на голову моего обожаемого учителя. Прямо в распыленный от крика рот, чем окончательно добил старика. Мой наставник гулко закашлял и его глаза вылезли из орбит. Сбежался весь мехцех. Рабочие обступили старого кузнеца. Чтобы как-то унять утробный кашель, двое слесарей изо всех сил лупили его по спине. Но это мало помогало. Он кашлял еще сильнее, еще утробней. От ужаса у меня отнялись ноги и я мешком плюхнулся на пустую опрокинутую бочку.

«Хоть кто-нибудь объяснит мне, что здесь случилось?» — как будто сквозь вату в ушах услышал я голос начальника. Все повернулись и посмотрели на меня. Заве-

дующий протиснулся сквозь толпу и, истошно вопя: «Что случилось? Что случилось?» — тряс меня за плечи. Заикаясь от страха и ужаса содеянного, я как мог рассказал про флягу.

«Кха, кха, ек-ковылек, а я уж подумал, кха, кха, война началась», — заходясь в кашле, будто из бочки прогудел Виктор Алексеевич.

ПРЕМИЯ

К моей великой радости у Виктора Алексеевича все обошлось без ожогов и травм. Бороды, правда, своей знаменитой лишился. С одной стороны она здорово обгорела. А с другой он волосы сам вырвал, когда прилипший к ним уголь отдирали. Все-таки бочку с водой на него надо было вылить чуть пораньше. Опоздал, ек-ковылек. Так что жалкие остатки ее он сбрил. Но усы оставил. Конечно, теперь на Илью Муромца он не тянул. А вот на казачьего есаула, пожалуй. По нашей аварии было проведено расследование. Этим занимались инженер по технике безопасности и наш заведующий мехцеха. Я написал объяснительную записку на имя директора шахты. После этого сразу же последовали оргвыводы. Мне в устной форме было запрещено приближаться к кузнечному горну. А Виктору Алексеевичу приказом по шахте был перенесен отпуск с лета на зиму. Меня это страшно угнетало. Я даже спать плохо стал. Но, когда дежурный электрик отключил вентилятор от моего горна, я понял, кого наказали по настоящему. Подумаешь, какой-то отпуск перенесли. Тут работать вообще не дают. И, хотя Алексееч сильно переживал из-за переноса, долго на меня не дулся. Старик оказался не злопамятным. Буквально дня через три он, как будто ничего и не было, упоенно рассуждал со мной о войне, идущей где-то в далеком Вьетнаме. И ворошил милую своему сердцу старину.

Приближались майские праздники. У парадного входа в контору шахтный парторг установил новый стенд. Вернее, устанавливал его я и плотник из стройцеха. А парторг руководил. Стенд был еще пустой. Только заголовок «Лучшие по профессии». Вскоре появился фотограф. Он снимал на рабочих местах самых лучших специалистов своего дела. Побывал он и у нас в кузне. Сфотографировал за наковальней моего учителя. Но когда стенд оформили, фотографии моего наставника на нем не оказалось. Мне будто кто в душу плюнул. Я к старику. Но Виктор Алексеевич разговор не поддержал. Буркнул только: «Пусть там всякие хоменки висят». Этого «щирого хохла» Хаменко я знал. Он работал слесарем в котельной. У парторга и шахткома он был в большом авторитете. С самим директором шахты за руку здоровался. А кто с ним работал, говорили о нем плохо: «Лодырь и интриган, каких свет не видывал». И еще: «Когда Хаменко родился, все евреи Винницы заплакали». Любому начальнику умел пыль в глаза пустить. И равного в этом ему на шахте не было. Да я и сам видел. У нас в кузне уголь закончился. Я пришел за ним в котельную. Ребята что-то там делали с насосом. А Хаменко спал в душевой. Вдруг, главный механик заходит. Как заорет на слесарей: «Когда запустите?!» Хаменко шмыг из душевой за котел. Через секунду выходит. Руки по локоть в солидоле — перед собой держит. Харя умная, озабоченная. Артист. Ценные подарки, путевки бесплатные, премии на него как из рога изобилия сыпались. Начальство его очень ценило. К тому же считался непревзойденным специалистом в плане подготовки к зиме. В середине лета создавалась бригада. Хаменко был у них за старшего. Вскрывали коллектор, меняли прогнившие трубы, подваривали прохудившиеся. За неделю до указанного срока Хаменко докладывал директору о стопроцентной готовности к зиме. Но в самые холода то погрузку заморозят, то рабочую баню. Сколько раз нам холодной водой мыться приходилось. Директор рвет и мечет:

— Где Хаменко?

— В отгулах.

— Сейчас же отозвать!

— А его и отзывать не надо. Он как раз сегодня на шахту приехал, взносы партийные заплатить.

Глядишь, к концу рабочей смены вода горячая в бане пошла. Хаменко честь и хвала. Но сколько веревочке не виться, а конец се равно будет. Да и не дураки ведь кругом. Кто-то подсмотрел за ним. Оказывается, он какие-то хитрые заглушки между труб ставил. И в таких местах потаенных, что нормальному человеку и в голову не придет. Но ничего не изменилось. Он так же заседал в президиумах на собраниях, так же получал на День шахтера ценные подарки, летом в санатории ездил. А на соседней шахте один проходчик «Почетную грамоту» свою порвал и парторгу под ноги кинул. Вот такой же Хаменко, только ихний, тоже грамоту получил, но в отличие от проходчика еще и 35 рублей к ней. Потому-то и не захотел мой учитель среди вот таких хоменок на почетной доске висеть.

Пред самыми майскими торжествами меня вызвал к себе заведующий мехцеха.

— Русич, я тебе премию выписал. После обеда можешь получить в кассе. Да языком не трекай, люди позаслуженней тебя есть.

Как потратить вдруг ниоткуда взявшиеся деньги, я решил сразу. Половину отдам Виктору Алексеевичу. Ведь если бы не он, до сих пор на побегушках был. А второй, своей половиной, перед пацанами шикану.

Ровно в 13.00 я стоял возле кассы. Кассирша выдала мне три новенькие десятки. Хрустящие, без единой морщинки. Мне даже перегибать их стало жаль. Червончики нес в руках. На полпути к мехцеху меня встретил наш начальник.

— Ну что, получил?

— Получил.

— Давай сюда.

— Чего?

— Деньги давай.

Я недоуменно смотрел то на него, то на выданную мне первую в моей жизни премию. Из моих рук деньги он взял сам. Быстро сунул их в брючный карман. Потом вытащил из своей спецовки три грязных полуистлевших рубля.

— Это тебе на подходящий налог. Возьми. Ну, чего смотришь? Иди, иди! У вас там работы неупорот.

Д. Ш. Б.

Андрею Дьякову посвящается

Повестка мне из военкомата пришла. На отправку. Батя мой сам за нее у почтальонши расписался. Радостный. А матушка плачет. И что плакать? Ведь как с шанхайскими ребятами подеремся на танцах, весь вечер причитывает: «Когда ж тебя в армию заберут..? Когда ж тебя в армию..?» Так вот она, повесточка-то, что плакать? Не понимаю я этих женщин. Горе какое, слезы. Радость вообще в три ручья режут. Не зря про них говорят — слабый пол. А в армию я и сам рвался. Пятерых дружанов туда проводил. Уже от трех письма мне пришли. Служат. Я уже и волноваться стал, забыли что ли про меня в военкомате. Последние полгода каждую ночь о ней, родимой, думал. И где я в своих мечтах ни служил: и в десанте, и на флоте. А в детстве еще начитался про Карацупу, так одной границей только и бредил. Даже щенка себе завел. И тоже Ингусом назвал. Да сожрал его наш сосед, старый туберкулезный уголовник. Я его даже поджег. Вовремя потушили. Это надо же было до такого доду-

маться, ведь нас там в бараке восемь семей жили. А тут его вскоре и зарезали. Свои же дружки, у мословской голубятни.

На приписной комиссии так и сказал.— «Желаю служить на границе». А военком, дядька строгий, из подлбия зыркнул на меня и говорит: — «Ты, призывничок, теперь желания свои забывай. Служить будешь там, куда пошлют». Но пометочку какую-то в личном деле все-таки сделал. Хотя, в какие войска идти, мне по большому счету было без разницы. Только не в стройбат, упаси Бог!

На следующее утро проснулся ни свет, ни заря. Но матушка моя встала еще раньше. На кухонной плите уже жарилась картошка. Проснулся с каким-то радостным и одновременно тревожным чувством. Но тут же вспомнил — послезавтра в армию. Тревога сразу ушла. Я вскочил с постели и, ни с того ни с сего, стал делать зарядку. Странно, раньше я ее никогда не делал. Даже в поселковый парк сбегал, в фонтане искупался.

«Поешь перед работой, я тебе картошечки пожарила»,— глядя куда-то сторону, сказала мать, когда я вернулся из парка. Есть мне не хотелось. «Какая картошка, какая работа. Мне в армию послезавтра, Евдокиюшка моя»,— помахал я перед ее лицом повесткой. Она посмотрела на меня такими родными, такими до бесконечности добрыми глазами... Из которых вот-вот хлынет ливень. «Все! Все! Все! Все! Я на шахту побежал! Мне еще рассчитаться надо, деньги получить, с мужиками проститься».

Расчет я оформил быстро. А вот с деньгами вышла заминка. «Завтра на общем собрании получишь»,— сказала мне кассирша,— всей шахтой тебя провожать будут, Русич. К нам ведь в основном из армии приходят, а ты, вот, в армию».

Утром в общую нарядную шахты набилось много народа. Меня вызвали на сцену. В первых рядах сидели фронтовики. Их тогда на шахтах много работало. Первым выступил директор. Он поздравил меня с предстоящим уходом в ВС СССР. Пожелал успешного прохождения службы. И под конец выразил надежду, что после демобилизации я вернусь на свое родное предприятие. Да, так и сказал: «Выражаю надежду». Потом выступали фронтовики. Давали свои наказы. Последней поздравила меня комсорг. Наша. Поселковая. Я ее еще по школе помнил. Правда, она лет на семь старше меня была. Женщина красоты необыкновенной. По ней все парни в школе «сохли». Даже одно время и я. И до сих пор не замужем. Странно. Она вручила мне конверт с деньгами и электробритву «Харьков».

В последних рядах, среди женщин, я увидел свою матушку. Она опять плакала. Удивительное было время. Поэтому-то и служба у меня прошла на одном дыхании.

Служить я попал в Хабаровский край. Есть там такой городишко Сов. Гавань. В морскую пехоту. В отдельный десантно-штурмовой батальон. До чего же моя страна огромная! Полторы недели нас туда везли. И горы, и степи, и тайгу — все видел. Только по берегу Байкала целый день ехали. Величественное, изумительно-красивое, нет, язык не поворачивается его озером назвать.

В батальоне нас разместили отдельно. В карантине. И началось. Каждое утро марш-броски по 10 км. Подъем по тревоге через день. Поначалу мы все приуныли. Но потом, как-то незаметно втянулись. После присяги нас раскидали по ротам. Но легче не стало. Так же по утрам марш-броски с полной выкладкой. Каждое воскресенье спортивный праздник. Во взводах поочередно, то стрельба с любого положения, то рукопашный бой, то десантирование на берег в любую погоду.

Сейчас вот, читаю газеты, посмотрю телевизор — жуть берет. Что ж ты, сука беспалая, с моей страной и армией сделал? Из таких исполинов всю кровь выпустил. И последыша такого же оставил. Наверное, здорово преемничек в дерьме извальялся. Вон как верно малину воровскую стережет, как мой Карацупа — границу. Интересно, что его фамилия означает: путь, или путы.

Перед отбоем час личного времени положено по уставу. Да проспал я его у койки на табурете. А ведь письмо своей девчонке написать собирался. Тут команда: «Строится на вечернюю поверку!». После нее отбой. Засыпали мы мгновенно. Но я пересилил себя и, как сомнабула, поплелся в ленинскую комнату писать письмо. А она — дедов полна. Расслабляются. Они уже третий год дослуживали. «У тебя что, солобон, с головенкой плохо?» — прогудел огромный белокурый парень. Для меня его вопрос прозвучал как сплошное «О». Этот исполин родом был откуда-то из-под Вологды. Силищей обладал неимоверной. Двухпудовки игрушками для него были. В его лапищах они смотрелись гирьками, какими корейцы лук вешали на городском рынке. Я, вроде, тоже не маленький, но он был на две головы выше меня. «Во, попал!» — пронеслось у меня в сознании. — «Что же теперь со мной будет?» «Ну, пойдем, бойцов спать уложишь», — обнимая меня за плечи, продолжал гудеть старослужащий. «Стручки, подъем!», — рявкнул кто-то из «дедов». Ребята моего призыва тяжело посыпались со второго яруса кроватей. Дождавшись пока «деды» улягутся, я скомандовал своим годкам: «Равняйся! Смирно!» И мы все вместе: «Дембель стал на день короче, всем «дедам» спокойной ночи!» Затем строевым шагом подошел к электровыключателю и доложил: «Товарищ выключатель, морпехи такого-то года такого-то месяца призыва отдыхают». И выключил свет. Не скажу, что это приносило нам большое удовольствие, но к чудачеству наших дедов мы относились с юмором, прекрасно понимая, что наступит и наше время. И мы станем такими же «дедами». И чудотворить будем, наверняка, так же.

Своих «дедов» мы уважали. Да и как их было не уважать. При первом нашем десантировании мы, салаги, так воды нахлебались, что весь берег облевали. А они в атаку пошли. Сопка справа, сопка слева. Морпехи вперед. Во взводе разведки «старички» через одного с двадцати метров штык-нож чучелу меж глаз вгоняли, по самую рукоять. Были и такие, что под водой могли по две с половиной минуты находиться, и безо всякого воздуха. Ну и как после этого их не уважать. Да мы им в рот смотрели. От них к нам перешло чувство постоянного ожидания сверхсекретного приказа. Вот-вот он будет отдан, и нас задействуют в какой-то боевой операции. Особенно это чувство обострялось во время крупных учений. Говорили об этом мифическом приказе всегда в шуточной форме. Но под этой формой чувствовался мощный фундамент. Я еще по первому году служил. После очередной высадки на берег мы совершили марш-бросок в глубь территории «противника» на 25 км. Боевая задача была выполнена. В норматив уложились, командиры расставили посты. Была дана команда «принять пищу». Мы затарахтели штык-ножами, вскрывая банки с тушенкой. «И чего бегаем зря? — начал кто-то из недавно прибывшего к нам молодого пополнения. — Бодануться бы с американцами». «С кем там бодаться, они с вьетнамцами-то никак справиться не могут», — поддержал салажонка кто-то из его товарищей.

— Набрали одних кривосуев.

— А причем здесь кривосуи?

— Как причем? У них винтовки с кривыми стволами.

— Как это?

— Как-как. Из-за угла стрелять, не высовываясь.

— Хо-хо-хо, — лениво хохотнули старички.

— Китай причесать надо. Обнаглели узкоглазые, — на полном серьезе проговорил старослужащий Серега Лифанов — один из лучших снайперов батальона.

Родом он был из Уссурийского края. И хотя в его лице явно угадывались азиатские черты, китайцев он не жаловал.

— Чего ты там жрать будешь? Они уже всех воробьев своих поели. — Да я их самих жрать буду. А что, натру макушку чесноком, и вперед. Да, тулячок? — неожиданно обратился он ко мне.

Как наяву вдруг у меня пред глазами возникла картина: я в удушающем захвате отключаю китайца и тру его макушку головкой чеснока, одновременно выбираю глазами место, откуда начать. Вся моя требуха подошла к горлу. Меня затошнило. «Деды» грохнули так, что мощное эхо еще с полчаса носилось от сопки к сопке.

Приказ №1.

«Все. Амба. Отслужил. Неужели три года прошло..?» — ворочаясь на своей койке после отбоя, размышлял я. Воспоминания детства, юности, проводы в армию, события первых дней службы, перемешиваясь между собой, хлынули в мое сознание и заполнили его. Я старался на чем-то сосредоточиться, но мне это плохо удавалось.

«Почему меня в детстве Чичей звали?.. Командир вчера опять уговаривал на сверхсрочную остаться... А друзья мои уже год как на гражданке. Мать пишет, многие переженились. А у Камня, дружка моего, сын родился. Интересно, кто у него жена? Надька-то и года не прождала, замуж выскочила. Да что там, на гражданке, девчонок мало? Вот и командир мой говорит...», — всплывший опять в моей памяти каперанг, вернее произошедший с ним вчера разговор, придал моим мыслям какую-то стройность.

— Поверь мне, Русич, этот дембель только сейчас важная веха в твоей жизни. Придешь на гражданку, женишься. Специальности нет, в армию ведь со школьной скамьи пошел, а семью кормить надо. Здесь же ты на всем готовом. Да и девчонки на судоремонтном в Сов. Гавани рахат-лукум. Так что не спеши. Подумай. Время еще есть.

Нет. Командир, конечно, мужик стопудовый. Вояка. Но не нужны мне здешние девчонки, меня своя ждет. Три года уже. Завтра с годками простимся со Знаменем батальона, а там, может, и с первой партией домой поеду. Вдруг та, почти забытая последняя ночь перед моим уходом в армию, ночь прощания с моим Галчонком, встала перед моими глазами во всех подробностях. Да-а. Принагледел я тогда. Борзнул маленько. Она аж заплакала. Обняла меня: «Чича, милый, не надо. Я дождусь тебя. Обещаю. Честно дождусь», — мне и крыть нечем стало.

«А чего меня Чичей в детстве звали? Из-за фамилии...»

— Морпехи, подъем! Тревога! — как резаный заголосил дневальный-соложонок. — Выходи на плац строиться!

Мать честная! Начал службу ночной тревогой и заканчиваю марш-броском.

На плацу перед стоящим по стойке «смирно» батальоном дежурный по части доложил «бате» о стопроцентном построении личного состава. Командир зачитал нам приказ № 1. Потом отдал команду «вольно» и доложил обстановку. Где-то там, в Чили, какой-то генерал Пиночет свергнул лояльное нашему государству демократическое правительство. Ба-бах! Батальон в едином порыве сделал шаг вперед. 350 подкованных, от 45 до 47 размера морпеховских сапог приложились так, что плац качнуло, как десантную баржу. «Батя» обмяк.

— Верю, верю, сынки, что Русский флот не опозорите. Весь подобрался.

— Равня а-а-сь! Смирно! К торжественному маршу! С песней! На одного линейного дистанция. Управление прямо, остальные напра-а-аво! Шаго-о-ом! Арш!

— Наверх, вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает!!! — 350 луженых глоток рыкнули так, что в казарме зазвенели стекла. Нам было плевать на Чили, на Пиночета, на свергнутое им лояльное нашему государству демократическое правительство. Но если будет отдан приказ... Мы в куски порвем и Чили, и Пиночета, и, свергнутое им, лояльное нашему государству демократическое правительство. До кучи.

ЯШКА ШУБИН

Девчонка дождалась. Честно дождалась. Хорошая она у меня. И семья у них хорошая. Большая, дружная. Правда, старшие братья и сестры по всему Союзу разлетелись. Но на свадьбу нашу все съехались. К себе жить зовут. Кто на юг, кто на север. Сам я бы не против. Но понимаю, никуда она от своих стариков, пока они живы, не уедет. Последыш. А теща какая красивая! Хоть и за шестьдесят уже. Мы когда ездили в их родную деревню на свадьбу родственников приглашать, так вся деревня сбежалась — подружки тещины. Ну, как она там поживает? Как здоровье у Павушки нашей?

Надо же, Пава, Павушка. Это ее в молодости, по уличному так звали. А моя-то вылитая мать. Павушка.

Свадьба веселая была. Три дня гуляли. Четыре догуливали. Тетки мои из Рязани приехали. Все в паневах — это одежда такая женская, древнерусская. Яркая, но глаз не режет. Приятная. Из института почти весь курс ее гулял. Девчонки все красивые. Но моя лучше. Правда, в первый день обиделся я на нее. Она, когда с моими тетками под гармонь плясать пошла, то частушку спела:

*Мой миленок из Рязани
Целый дуб с двумя глазами.
Людям дивно, а я рада —
Сила есть, ума не надо.*

Но дулся не долго. А ночью совсем забыл.

Куда работать пойти, голову себе не забивал. Вот она, рядом, родимая. Я когда на шахту после службы первый раз заехал, сразу в кузню пошел. Виктора Алексеевича уже там не было. Умер. Полтора года как. Царство ему Небесное, местечко светленькое. Хороший человек был. А кузнец какой! Таких уже нет.

Работали в нашей кузне два мужичка средних лет. Совсем мне незнакомые. Я к горну подошел. Поворошил кочергой уголь. Как дал мне по ноздрям этот, ни с чем не сравнимый запах раскаленного до бела железа! Сразу все вспомнил. Как будто и не отходил никуда от наковальни. Зря тогда комбат сказал, что у меня специальности нет. Есть. Да еще какая.

На шахте меня не забыли. Даже сам директор. При нашей встрече так и сказал: «Теперь я за кузню спокоен». А комсорг наша так замуж и не вышла, и куда поселковые холостяки смотрят?!

Но не стал я кузнецом работать. Платили там мало. А у меня семья теперь. В саму шахту пошел. Под землю. Я еще до армии, когда здесь работал, в тайне от начальства туда спускался. Но дальше руддвора не ходил. Не хотел мужиков подводить, с которыми в клеть садился. Шум бы какой пошел, если бы узнали, на весь Мосбасс, малолеткой ведь был.

Взяли меня на участок РМУ, крепильщиком. Они монтировали и демонтировали лавные комплексы. Этот комплекс — вещь занятная. Проходчики нарезают монтажную камеру, в нее завозят секции крепи, это такая трехтонная машина. Плоское основание. На нем крепится домкрат и гидравлическая стойка, по сути, такой же домкрат. Нижним концом она упирается в основание, а верхним — в перекрытие, которое держит кровлю над головой. Домкрат цепляется за конвейер. И вот таких секций крепи штук сто смонтируют. Комбайн угольный поставят, когда он шнеками срежет ленту угля. Машинист комплекса опускает перекрытие и домкратом выдвигает секцию крепи на освободившееся место. Так и ползет этот комплекс, пока весь угольный пласт в лаве не выработает. Что ж за светлые головы это чудо придумали? Раньше ведь одним деревом крепили. Теперь моя задача в новых лавах монтировать, а в отработанных демонтировать.

Когда первый раз в бригаду пришел, они демонтажем занимались. Лебедкой выдернули секцию крепи. Я сразу в завал крепить полез. И вдруг..., как мир перевернулся. Тяжесть неимоверная, и будто кто-то душит меня. И я задыхаюсь. В груди вместо сердца кузнечный молот стучит. Вот-вот пробьет грудную клетку. И темнота. Сколько это продолжалось, не знаю. Ребята говорили, с полчаса. А я даже испугаться не успел. Вдруг, стало легче дышать. Яркий свет бьет в лицо. Бригадир напялил мне на голову свою каску и сунул в рот дымящуюся сигарету. При этом он что-то кричал, но слов я не понимал. Только он успел мне правую руку освободить, как сверху закапал песок. «Все. Крышка», — пронеслось в голове. Сознание стало ясное-ясное. Это ведь меня глыбами породы завалило, а за ней песок. Бугор намотал мне на руку канат от подвальной лебедки и выдернул ей меня, как морковку из грядки. В ту же секунду кровля вторично рухнула, но уже песком.

Сижу а на рештаках, босой, с папиросой в зубах. При каждой затяжке дым то красный, то зеленый. И меня это страшно забавляет. Горный мастер бегаёт вокруг и орёт: «Не говори инспектору, что я с вами был! Не говори...» Я вдруг как гаркну: «Е... у я твоего инспектора месте с этой шахтой!» Он аж на три метра отпрыгнул. Бригадир посмеялся и говорит: «Нет, дружок, раз с Яшкой Шубиным познакомился, бояться нечего. Теперь шахта твой дом родной».

Много позже я спросил у него:

— Про какого Яшку Шубина ты тогда толковал мне?

— Да от стариков еще, пацаном, эту историю слышал. Завалило в лаве как-то целую смену. Всех откопали, всех нашли, а Яшки нету. Куда он подевался, не понятно. Ты когда-нибудь гул в кровле слышал?

— Слышал и не раз — геологи говорят, известняки садятся.

— Не-ет. Это Яшка Шубин нам знак подает. Предупреждает.

ДОН КИХОТ

Квартиру нам дали. На втором этаже. Двухкомнатную. С балконом. С лоджией на кухне. Вся шахта этот дом строила. Кто в отпуска, кто в выходные. А когда квартиры распределили, мы из них вообще не вылезали. Каждому хотелось первому новоселье справить. Я в тот год, как пьяный, от счастья ходил. Надо же было так совпасть! И новоселье. И аттестат в вечерней школе получил.

Заставила меня моя Галина Ивановна все-таки в ШРМ учиться пойти. И что самое удивительное — закончил ее прилично. Когда аттестат жене принес, она посмотрела и говорит: «Я всегда подозревала, что мужик ты не глупый, но чтобы до такой степени...» Вот же язва, даже похвалить по-человечески не может. Все с вывертом, с закидоном каким-то. А почему? Да потому что беременна она была. Я еще тогда заметил, что женщины в это время очень необычными и красивыми становятся. Не только моя, вообще все. Я не о 90-60-90 говорю. Здесь другое. Цвет глаз ярче, насыщенней. Взгляд томный, загадочный. Как будто тайну какую знают (хотя тайна эта на полметра спереди торчит). Во всех движениях плавность, изящество. Но, и чудотворить начинают так, что мало не покажется. Вот, у дружка моего, Камня, когда жена вторым забеременела, то ей дегтю захотелось. И зачем он ей понадобился? А муж, бедный не знает, что это за деготь такой. Все магазины обегал. Даже в район ездил. Спасибо, шахтная кладовщица с базы привезла ему. Я на всякий случай специально к ним приходил, на деготь этот посмотреть. Солидол он и есть солидол. Сдается мне, что когда моя Галина Ивановна первый раз о вечерней школе заговорила: беременная была. А что, по срокам все сходится. Как бы и сейчас она не в интересном положении. Недели две назад втемяшилось ей в голову книгу «Дон Кихот» со мной вместе

почитать. Я и в поселковую библиотеку ходил, нету: на руках у кого-то. Шахтную всю облазил: тютки. А ей вынь, да положи. Мне и самому интересно стало. Название уж больно понравилось. С «Тихим Доном» перекликается. Шолохова я всего в детстве перечитал. Жаль, написал мало. Читать бы его и читать всю жизнь. Да и сам Дон-батюшка, он у нас, за поселком, начало берет.

Точно. Беременная. И не говорит ведь. Наверное, боится, что дочка опять будет. Глупенькая, я ведь тогда для понта шумел: «Без сына не приходи!» В душе-то мне без разницы, кто у нас родится. Лишь бы все нормально прошло. Так что рожай! Я тебя, когда время придет, так же, на руках в роддом отнесу. Все равно «скорая» к нашему дому не подъедет: одни рытвины да колдобины кругом.

А книгу я эту нашел. У соседки нашей. Она в магазине работает, заведующей. У нее такая библиотека, закачаешься. И квартира трехкомнатная. Умудрилась как-то от нашей шахты получить. Шуму тогда много было. Особенно горный мастер один, с проходческого участка возмущался. Ему, как и мне, двухкомнатную квартиру дали. А у него детей четверо. Он даже в горком ездил за справедливостью. Не знаю, чего ему там сказали, но он как-то сразу притих после этого. Вообще, соседка — женщина не плохая. Взаимы всегда дает, когда у нас деньги до получки кончаются. Дефицитом разным снабжает: колбасой, шпротами, даже лекарства импортные доставала, когда наша дочка болела. А вот жизни личной никакой. За два года, что мы в нашем доме прожили, у нее три сожителя сменились. Ну, с двумя я так, здрасьте, до свидания. А с третьим мы, вроде бы, подружались. Мужик нормальный. Не срослось у них что-то. И детей у нее нет. Хотя далеко за тридцать уже. Она и с нами поближе сойтись хочет, но не идет моя Галина Ивановна на сближение. Я хоть и дуб с двумя глазами, но понимаю — завидует мой Галчонок ей. По-женски завидует. Как одевается. Обстановке в квартире. У нее все в цветки мебель, и обои, даже корешки книжные. Не журишь, солнышко мое! Летом на юг поедem! В самый бархатный сезон! Я, ты и дочка. Что я, не шахтер что ли?!

Когда книгу у соседки взял, решил первым ее прочитать. Открыл, а там между страниц деньги лежат, сотенными бумажками. Целых десять штук насчитал. Я, к стыду своему, сто рублей одной бумажкой ни разу еще не видел. Что мне там на шахте платят? 60 рублей аванс и 70 получка. Ну, премию подкинут, когда в плане идем. А здесь вот она, целая тысяча! Разложил я деньги между страницами, как было. И назад соседке понес. «Смотрите,— говорю,— что в «Дон Кихоте» нашел». Она спокойно так: «А я уже и искать их перестала. Решила, что в последний отпуск потратила». Взяла книгу и сразу деньги пересчитывать. Не по себе мне как-то стало. Не стал ждать, когда она свою заначку проверит. Ушел. А книгу эту я найду. Уж очень мне интересно, что это за Дон Кихот такой.

МЕДВЕДЬКА

Борису Муратову посвящается

По духу и убеждению я русский националист. И я до умопомрачения люблю свой русский народ, свою историю, свою Родину. Но мне кажется, будь ты хоть трижды эфиоп, но, если нормальный человек, то и тебе эти патриотические чувства должны быть не чужды.

Как-то зимой у нас вырабатывалась лава. Проходка запаздывала. Свободной камеры для монтажа комплекса не было. Посылают меня к проходчикам на подмогу. Прихожу к ним на участок. Пожилой, небольшого роста мужичок спрашивает:

— Валирка, к нам?

— К вам.

— Ну, все в сборе, поехали!

И мы безо всяких перекуров пошли в раздевалку переодеваться. «Во, попал,— думаю,— одни татары. Ладно, авось на месяц всего перевели».

У них в звене был свой электровоз. Расселись мы на нем, как на броннике, и с ветерком в момент долетели до забоя. Проходка шла на отпал, то есть с помощью взрывчатки. «Ну, ты покури пока, а мы инструмент достанем»,— сказал мне бригадир и полез под транспортерную ленту. Татары лапотали между собой без падежей и родов. Я прислушался, говорили о своих родственниках. Мне даже смешно стало, как они необычно строили и выворачивали предложения. И выходило так, что все они между собой родня. Да, попал. Четыре татарина и я, как в песне. Только там пятым был армян, а я русский.

Бригадир вылез из-под ленты со связкой лопат и длиннущим буром. «Чего-то бур длинноват, ведь по паспорту положен метровый. Три рамы на метр»,— подумал я. Бугор отдал нам лопаты и молча пошел в глубь забоя. Не доходя метров двадцать до тупика, все татары сняли телогрейки. Я не снял. Дурак, что ли? Сейчас горный мастер включит вентилятор насквозь просифонит.

Звеньевой ловко отбурил забой и, отплеываясь от угольной пыли, сказал:

— Валирка, сходи, позвони на аммонитный склад! Скажи запальщику: 17 шпуров!

А телефон на откатке. Нашли молодого.

Когда отпалили и из забоя вышел желтый, ядовитый дым, я ахнул: Фудзияма. Огромнейшая гора угля. Вдобавок, две последние рамы крепления вышибло отпалом. «Да тут отход на семь рам да плюс еще две старые поломало. Это две козы леса»,— уныло подсчитывал я. Татары разобрали лопаты и, не спеша, стали кидать уголь в вагон. Стараясь не глядеть на громадную кучу, взял лопату и я. Ручка ее была сделана из вишни. От частого употребления она была отполирована до зеркального блеска. Ей не то, что работать, просто в руках держать приятно было. «Быстрее бы до подшвы добраться»,— подумал я.

— Валирка, Фяниль лис привез. Сходи, помогай,— сказал бригадир. «Лес» был только что опущен с «гор», мороженный, неподъемный.

Да и напарник мой не внушал доверия. Карапет кривоногий. Минут за сорок мы перетаскали к забою две «козы» обледенелого «леса». Товарищ мой даже не крикнул, взваливая себе на плечо комель.

И тут же, не отдыхая, взялся за лопату. Я начал злиться. Но молчал: кругом татары.

— Порожняк давай! — то и дело орал бригадир.

Сперва я снял телогрейку. Потом спецовку со свитером и остался в одной тельняшке. «Хер им поддамся», — думал я, кидая большие куски угля в вагонетку. «Когда ж эта гора кончится? Да вы у меня вперед костями ляжете! Триста лет измывались, монголы. Как будто Куликова Поля не было. Правильно вас Ермак через пенек крестил», — лихорадочно мелькало у меня в мыслях. С меня лило и от меня парило, как от паровоза. А татары хоть раз бы кто пот со лба смахнул.

Откидав уголь и, не отдохнув, мы стали крепить отход. Меня пошатывало, но я закусил удила. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Пощады никто не желает!» — наверное, в сотый раз я начинал петь про себя эту героическую песнь.

С поезда до клетки я шел как во сне. На одном самолюбии. Татары понимали это. У своих локтей я чувствовал их крепкие надежные руки. В татарский ритм я вошел. И работал не хуже их. Они меня даже Медведькой прозвали. Когда шахта выработалась — они на пенсию, а я на Шпицберген.

ЮЖАНИН

От чего люди безумствуют? От горя? У одного нашего рабочего вся семья газом отравилась, пока он на работе был. У другого родители, еще не старые, вместе с внуками на машине разбились. Да мало ли у кого как карта ляжет. Такие в основном либо спиваются, либо заново переоценивают прожитую жизнь и становятся святыми.

Безумствуют от благополучия.

Пришел к нам в смену молодой красивый мужик. Говорил он мягким южным говорком. Золотистый загар (у нас на Средне-Русской возвышенности так не загорись) покрывал его накаченное, как у культуриста, тело. Пошевелить он мог любой мышцей, доведенной до совершенства. Аполлон Бельведерский, да и только. И одевался он совсем не так, как мы. Джинсы, джинсовая рубашка, кроссовки — все заграничное. Осенью и весной длинный, до пят, плащ из натуральной кожи. Такой прикид на новомосковской барахолке стоил годовой зарплаты горнорабочего 5-го разряда. Вдобавок, на безымянном пальце левой руки носил, не снимая, массивную золотую печатку. С монограммой. С таким перстнем только в пульпе ковыряться, когда лавный домкрат из своего гнезда выскочит.

Поначалу мы отнеслись к нему с подозрением и непониманием. Блатной какой-нибудь. Проторговался на базе и у нас в шахте и от ментов спрятался. Но он оказался мужиком «стопудовым». Компанейский, нежадный, доброжелательный. Охотно принимал участие во всех наших шахтерских пирушках. Скинемся по трояку после смены, сидим в рабочей столовой. Кто-нибудь из наших прямо в лоб:

— Слушай, Володь? Кто ты такой? Как к нам попал? Не похож ты на шахтера.

А он засмеется и говорит: «Я человек с юга. Южанин». Поначалу он особо не распространялся.

Работал он неплохо. Но как-то бездумно. Пошлешь его в лаве отход закрепить — крепит тонкомером, все стойки навыйлет. То есть вкривь и вкось. Начинаешь говорить: «Вова, ну Эльбрус наверняка видел? Вот, представь железную гирию с эту гору. И стоит эта гирия на твоём тонкомере. Как даванет! Все здесь останемся. «Да ладно! До Покрова стоять будет», — говорил он от кого-то услышанную идиотскую фразу.

В очередной отпуск мы пошли с ним в один день. 12 июня. Сдали спецовку в прачечную, спрятали сапоги. К обеду получили отпускные. Стоим на автобусной остановке. Вдруг он мне говорит:

— Приезжай завтра ко мне. Выпьем, поговорим. Моей супруге тридцать лет исполняется.

— Да неудобно как-то.

— Никого не будет. Прошу тебя, приезжай.

Я, конечно, не поехал. Но утром он позвонил и сказал, что ждет меня на остановке «Детский мир» и положил трубку. Своей я ничего не сказал, взял пятьдесят рублей и поехал в Новомосковск. Южанин ждал меня там, где и обещал. Я, было, заикнулся про подарок, но он сказал, что никакого подарка не нужно и потащил меня на городской рынок. На базаре мы набрали зелени, фруктов. Потом он подошел к грузинам (или армянам, их не разберешь), поговорил с ними на их языке. Из глубины торговой палатки они вынесли огромный чайник с сухим вином. Мы купили литров пять и пошли к выходу. Пришли к нему домой. Жил он недалеко от рынка. Жены не было. Он быстро и ловко накрыл на стол. Разлил вино.

— А где хозяйка-то? — спросил я.

— На Кавказ с друзьями уехала.

— Так за что пить будем?

— За День рождения.

— Ну, дай ей Бог здоровья!

— Не ей.
— ...А кому?
— Моей первой жене.
И тут его прорвало.

Родился он в Сочи, в семье крупных партийных работников. У них был свой двухэтажный особняк с садом. С детства увлекся спортом: гребля, теннис, парусники. Серьезно, на уровне мастера занимался тяжелой атлетикой. В общем, много-станочник.

Еще в школе по уши влюбился в одноклассницу. Папаша «отмазал» от армии. Они поженились. Вскоре родились две девочки-двойняшки.

Работал спасателем в Адлере. Были у них свои, личные мороженщицы на пляжах, свои автоматы с пивом и вином. На круглые суммы «обували» приезжих лохов в карты. На юг люди приезжают с деньгами и тратят их, не задумываясь. Ну, какая мать откажется купить своему ребенку кулек с черешней, пусть и по завышенной цене? А у него в саду ветки от этой черешни ломились. Свой особнячок сдавали какому-то московскому вору, сами жили у тещи.

В общем, не бедствовали.
— Как же ты с такого рая к нам попал?
— Любовь...

И сказал он это так, что до меня сразу дошло, надо менять тему.

В тот день я задержался на «горах» и от ствола до лавы шел пешком. На запасном штреке встретил своего давнего друга Ленку Соклакова.

— Ты чего, на вторую смену остался?

— Да не, твоих ждал. Там в нише кумполок образовался. Я его заделал. Да мало ли что. Ты еще раз скажи Южанину. А то у него все до Покрова.

— Разберемся, — сказал я.

В лаве осматрел опасное место. Ничего опасного там не было. Таких кумполов за смену штук десять бывает. Южанин стоял в нише с совсем зеленым парнишкой, стажером. На всякий случай я сказал ему: «Вов, ты здесь ничего не трогай! Подъеду с комбайном, секции крепи, тогда вместе и двинем». Включил конвейер и поехал на скребках к сборному штреку. Вдруг лава встала, как вкопанная. Я чуть со скребков не упал. Когда обернулся назад, увидел: запасной штрек был запечатан песком, даже вентиляция прекратилась; напарник Южанина, полусасыпанный, лежал на лавных решетках с блестящими от ужаса глазами; Володьки не было.

— Где Южанин? Как он стоял? Куда упал головой? — орал я.

Малый тупо показывал глазами на грудь забоя.

Голову мы откопали быстро, за минуту-полторы. Но было уже поздно. Распаленный рот Южанина был плотно забит песком. К вылезшим из орбит глазам тоже прилип песок.

— Какого хера вы туда полезли?! Я же сказал — не трогать.

— Он сам... Он сам... Он сам... — повторял белый, как полотно, стажер.

ТРЕХНОГИЙ ПОМОЩНИК

(шахтерская эротика)

Работал у нас в шахте на участке осушения один мужичок. Чуть-чуть больше тридцати, небольшого роста, лобастый. С круглыми и какими-то раз и навсегда напуганными глазами. По имени его никто не называл. Нет, имя у него, конечно было. Просто вся шахта звала его Пахомыч.

Неторопливый, скромный, даже деликатный. Но, себе на уме. Брался за любую

работу. Получит наряд, уточнит получше место и, не спеша, идет в раздевалку переодеваться. На поезде никогда не ездил, но работу начинал всегда вовремя. Правда, как бы далеко от ствола не находился, ровно в пять часов садился в первую клеть.

От нашего городишки шахта находилась в километре полтора. На работу мы ходили всегда пешком. Монтажники с монтажниками, добытчики с добытчиками, проходчики строго бригадами. Пахомыч работал дренажистом и ходил всегда один. С работы он всегда нес на плече по три горбыля. В любую погоду. Никто не помнил случая, чтобы со смены он шел пустым.

В этот раз кабинет осушения, как никогда, был полон народа. Горный мастер пришел от диспетчера с толстой книгой нарядов и сразу стал распределять дренажистов по работам. Кабинет понемногу пустел. И, наконец, остались в нем только Пахомыч и незнакомый ему щупленький паренек.

— Пахомыч, вот, парнишка к нам устроился. Поводи его по шахте, ознакомь,— обратился к нему горный мастер.— Ты дренаж на вентиляционном доделал? — продолжил горняк.

— Нет,— испуганно проговорил Пахомыч

— Ну, вот с ним и доделаешь. И накройте его потом трапом! — мастер захлопнул книгу приказов и пошел к двери.

— Давай, давай, мужики! На поезд опоздаете,— уже на ходу быстро проговорил он.

Пахомыч любил работать один. И всегда старался ни к кому не приставать. Но в шахте так не положено. Мало ли чего может случиться — производство повышенной опасности.

— Как зовут? — спросил паренька Пахомыч.

— Сергей.

— Ну пошли, Сергей.

Помощник ему понравился. В работе был шустрым, не ленился, понимал его с полуслова. Ловко обращался с пилой и топором. «Деревенский, что ли?» — спросил Пахомыч, когда они закончили работу. «Ага»,— ответил парень.

В чистой и грязной раздевалках мы ходили всегда в трусах. В душевой, понятное дело, снимали.

Когда Пахомыч привел своего парнишку в баню, все ахнули. Первое впечатление было такое, что Сергей шел на трех ногах. Между обычных, правой и левой, болталась еще одна, чуток недоразвитая. И началось. В шахте юмор тяжелый и липкий, как сырая порода. Сергея единодушно прозвали «трехногим». Доставалось и Пахомычу. Он по началу обижался. А потом привык, и даже стал гордиться своим напарником. Гордиться и уважать. Не смотри, что молодой. В первую клеть всегда пропускал его впереди себя.

В баню к нам зачастила медсестра с тонометром. Встанет в дверях душевой и орет: «Кому-у давление померить? Кому-у давление...» Когда так еще было? С женской бани стали приходить банщицы. Кто за мылом, кто за хлоркой. А кто просто поболтать с нашей тетей Мотей, совершенно глухой старой шахтеркой. Такого раньше тоже не было.

Сергей жил в общежитии. Но, стараясь угодить своему наставнику, тоже стал брать доски на лесном складе. Но уже не по три, а по пять штук. Так что склад в сарае у Пахомыча стал расти как на дрожжах.

Была у Пахомыча жена. Маленькая, с острым носиком, с темными пигментными пятнами по всему лицу и с щегольскими, как у карточного шулера, усиками. Женщина была вздорная. Ругалась со всеми в магазине, в автобусе, на базаре. С ней даже участковый не связывался. Когда к нему приходили с жалобами на нее, он как-то виновато говорил: «Ну, могу только посочувствовать, что у Вас такая соседка». Заво-

дилась она с пол-оборота. И в этот выходной она пришла из сарая и давай орать на Пахомыча:

— Завалил весь сарай досками! Ни пройти, ни проехать!

— Ладно, ладно. Я с Трехногим завтра перевезу их на дачу,— миролюбиво бурчал Пахомыч.

— С кем?

— С Трехногим, ну, с помощником своим,— она недоуменно смотрела на него.

— Ну, у меня, видишь, две ноги, а у него между ног, такая же, третья висит,— с явной гордостью объяснил Пахомыч.

— Тьфу, дурак, такого не бывает,— на полтона ниже сказала супруга. В рабочей столовой у нас торговали пивом. И мы после бани с удовольствием забегали пропустить кружку, другую «Жигулевского». Было у буфетчицы и еще кое-что и она наливала это под запись. Пахомыч выпить был не дурак. Частенько после работы пропускал по 150 грамм, наперед зная, что дома будет скандал. Напарник тоже оказался не дурак, так что стали они еще больше «не разлей вода».

Дома Пахомыч все чаще стал рассказывать жене про все шутки, связанные с «третьей ногой» Сереги. В очередной раз, придя домой поддатым, Пахомыч приготовился выслушивать шквал упреков и проклятий. Но жена с удивительным добродушием сказала: «Ну что за манера за сараями пить? Пригласил бы домой своего напарника. Я бы вам картошечки пожарила. Да и сама бы с вами чайку попила. И не вздумай с ним в общаге пить. Еще заразу какую приволокешь оттуда!» — безо всякого перехода завизжала она своим тонким противным голосом.

Серегу уговаривать не пришлось. На следующий же день была получка. Они купили батон колбасы, селедку и бутылку водки. Сидя за столом, жена Пахомыча расспрашивала Серегу о доме. Он вырос без матери, даже и не помнил ее. Отец забулдыга. Воспитала его бабушка. Слушая рассказ гостя, женщина три раза фальшиво всхлипнула, прикрыв глаза ладонями.

Казалось, недавно еще бутылка была полной, а хозяин уже разливает остатки. «Пахомыч, сходи, возьми еще одну. Ну что вам мужикам бутылка?» — сказала хозяйка. Пахомыча уговаривать было не надо. Тем более, завтра законный выходной. Он встал, не спеша оделся, взял деньги и так же, не спеша, вышел на улицу. Магазины были уже закрыты.

Пришлось идти на другой конец города, в ресторан. Но навывнос водку там не продавали. И Пахомыч сел за столик. Подошла официантка:

— Чего желаете?

— Два по двести пятьдесят.

— Закуску какую?

— Напарник сейчас подойдет, он сам себе закажет, а мне зеленый горошек,— вывернулся Пахомыч.

Официантка принесла два «стеганых» стакана водки и тарелку с салатом. Когда она отошла, Пахомыч аккуратно перелил водку в пустую бутылку. Не спеша съел салат и пошел к выходу. «Была тебе любимая, была тебе любимая-а-а», — с пьяной грустью пели ресторанные лабухи. «Сейчас допьем, Трехногого в общагу не пушу. Баба на диване постелет», — спускаясь по лестнице думал Пахомыч.

Подходя к дому, он услышал, что из его открытой форточки доносится песня «Увезу тебя я в тундру». «Коля Бельды, однако. Это куда же он ее повезет?» — с ехидцей усмехнулся Пахомыч.

Дверь оказалось запертой изнутри. Он позвонил. Тишина. Еще раз позвонил. Результат тот же. Минут пять он соображал. В голову ничего не приходило. И вдруг: «Может, газом отравились? Она чай, вроде, пить собиралась. Заболтались, чайник закипел, залил конфорку...» Страшная картина встала перед глазами. Пахомыч даже

протрезвел. Но, как обычно, не спеша сходил в сарай, взял маленький ломик. Потом аккуратно отжал дверь и вошел в квартиру.

Картина вовсе не была страшной. Скорее, необычной для степенного и во всем аккуратного Пахомыча. В комнатах горел свет. Играл магнитофон. На столе стояла наполовину пустая большая бутылка «Золотого кольца». В зале повсюду была раскидана женская и мужская одежда. На супружеском ложе безмятежно спали жена и его помощник. Оба голые. Третья нога Сереги была в виде браслета два раза обернута вокруг тонкого запястья супруги Пахомыча. Конец ее терялся где-то в складках кипельно-белой накрахмаленной простыни.

ФРОНТОВИК

Начальником внутришахтного транспорта был у нас один хохол по фамилии Данчук. Маленький, щупленький, обувь 36-го размера. В «Детском мире» отоваривался. Усики щеточкой. Шляпу носил, как у крокодила Гены, из детского мультлика. Про него даже стишки по шахте ходили:

*Здесь нет сомнения ни капли-
У его бабки кто-то был.
В анфас он будто Чарли Чаплин,
А в профиль Гена-крокодил.*

Но голосом обладал громоподобным. Как рывкнет в своем кабинете, у нас через стенку графин с водой вибрировал. Должности любил до неприличия. И в шахтном комитете заседал, и в партийном бюро шахты, и выступать любил где, нигде: и на утренниках в детских садах, у пионеров в школе. Все о подвигах своих военных рассказывал. А раз как-то выпросил ордена и медали у рабочих-фронтовиков. Развесил их, аж до яиц, и исчез на две недели. Слух пошел, в Белоруссию поехал. На слет бывших партизан. На всех собраниях, посвященных какому-нибудь военному юбилею, всегда первым выступал. Поздравит фронтовиков и на свои героические дела переходит. Только всегда по-разному у него выходило. 23 февраля скажет, что войну у Ковпака в отряде начал. А 9 мая от Москвы до Берлина дошел, на Рейхстаге расписался. Мужики, кто на войне был, посмеивались. А мы, молодежь, верили. Ну, как о святом врать можно?

На шахте ведь как, если мы своего начальника участка уважали, то и на Новый Год на работу выходили, когда попросит. Потому, как настоящим мужиком был. Не подлый, слово свое держал, зарабатывать давал. А Данчука его рабочие боялись и ненавидели. Правда, был у них один машинист электровоза, тот все ему в глаза говорил. Так между ними настоящая война шла. Дошло до того, что Данчук ему с участка людей не дал могилку вырыть, когда у машиниста мать умерла. Наши ребята, с лавы ходили копать. Надо же, как характерами не сошлись. А ведь, вроде как, земляки были. Хотя, ничего здесь удивительного нет. Мне, вот, Ельцин не земляк никакой. А я бы его, со всем их курултаем на колы посадил. Прямо на Красной площади. Взял бы грех на душу. Пускай бы корчились под песню Бори Моисеева: «Голубая луна, голубая...» И ничего здесь не поделаешь. Антипатия потому что.

Как-то пришла на шахту разнорядка с обкома. На орден Ленина. Парторг тоже хохол был. Собрал коммунистов и предложил кандидатуру (коню понятно) Данчука. Те одобрили. Мигом собрали все характеристики. Только с военкоматом заковыка вышла. Не мог военный комиссар части отыскать, где Данчук геройствовал. Но обком давил. До 9 мая оставалось совсем ничего. И была поставлена резолюция: «На фронте был, а в боях не участвовал». С тем и отослали пакет в Москву. А через неделю Данчук исчез. Слухи ходили разные, но толком никто ничего не знал.

Появился он через месяц. Был маленький, стал крохотным. Даже знаменитый его бас профундо в какой-то козлетон превратился. Бывает же такое.

Вскоре все разъяснилось. Оказывается, наш партизан-танкист и заслуженный снайпер-минер во время войны полицаем был. Немцев к партизанам водил да списки молодежи для угона в Германию составлял. В общем, тот еще гусь оказался. С начальников его сняли. Должностей всех лишили. Сел он на электровоз машинистом. Как-то глядим, объявление в общей нарядной висит. Товарищеский суд. Всех приглашают.

Бывшие фронтовики пришли все в орденах. Сели в передних рядах. Долго не начинали. Кого-то ждали. И те приехали. Две старушки-хохлушки. И два парня спортивного вида с короткими стрижками. Судья расспрашивал женщин. Те отвечали на своей мове. Переводил парторг (хохол ведь). Русский человек отходчивый, зла не помнит. Правда, один монтажник взбеленился. Вот он настоящим героем был. В 17 лет ушел на фронт добровольцем. Дошел до Берлина. Демобилизовался в 1947 году из Китая. У него две младшие сестренки в германском плену сгинули. Он прямо кидался на сцену. Разорвал бы полиция, но не дали.

Данчук доработал до 50 лет и ушел на пенсию. Тут ее как раз и повысили. Была 120 рублей, стала 180; 80 рублей аванс, 100 рублей получка. По тем временам за глаза.

МУЗЕИ ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Светлана Полищук

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ



Есть в Богородицке, что в Тульской области, огромный, старый, тенистый парк... Среди дорогих нам памятников истории и культуры народа, которыми богата средняя полоса России, этому парку принадлежит свое, особое место. Он был создан двести лет назад жившим тут замечательным человеком-ученым, энциклопедистом, писателем, просветителем, мастером ландшафтной архитектуры — Андреем Тимофеевичем Болотовым и носит его имя. Немало сил отдал Андрей Тимофеевич Богородицкому парку, ставшему поистине «чудом здешних мест». Современники восхищались его красотой, дивились умению и изобретательности Болотова, стремились подражать ему. Недаром писатель и переводчик Василий Алексеевич Левшин, говоря о парке в Богородицке*, восхищенно восклицал: *«Заслуживал он отвлечь путешественника с прямой его дороги, чтобы осмотреть красоты сего места, достойные любопытства»*. Самобытное, высокоталантливое творение Болотова — одна из самых ярких страниц в летописи русского садового искусства. Богородчане своими силами спасли от гибели и возродили прекрасный дворцово-парковый ансамбль, сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны. И хотя полное воссоздание прекрасного памятника русской культуры еще не завершено, хочется верить, что это благородное дело будет успешно доведено до конца (см. фото на 2-й и 3-й стр. обложки журнала).

Сотни старинных парков разбросаны по европейской России, особенно по ее центральным областям. Они привлекают нас величавой красотой вековых деревьев, манящей глубиной тенистых аллей, изящной архитектурой павильонов, беседок, мостиков. Шедеврами садового искусства по праву считаются многие парки Ленинграда и его пригородов, Москвы и Подмосковья. Из них не один с «мировым именем». Еще больше парков менее известных или совсем почти неизвестных, часто забытых, затерянных вдали от туристских маршрутов. И среди них немало подлинно художественных произведений, порой еще не раскрытых. Ими мы также должны дорожить как памятниками ландшафтной архитектуры прошлого и чудесными угол-

* В очерке использованы материалы книги: О. Н. Любченко. Есть в Богородицке парк.— Тула: Приокское книжное изд-во, 1984. См. фото на 2-ой и 3-ей страницах обложки журнала.

ками природы. Большей частью заросшие, запущенные, они ждут своих исследователей и реставраторов, способных возродить их былое великолепие.

Старое садовое искусство и поныне не утратило значения живого родника, питающего творчество мастеров ландшафта. Решая, конечно, иные задачи, которые диктуются требованиями сегодняшнего дня, они помнят о художественном наследии прошлого, снова и снова обращаются к нему.

Очень многое значат для нас старые парки!.. Немало из них хранит память о тех, кто составляет гордость нашей культуры: Яснополянский под Тулой, Спасское-Лутовиново на Орловщине, Полотняный Завод в Калужской области, Красный Рог и Овстуг на Брянщине.

Еще и тем близок нам парк, что в нашем сознании он слился с пушкинскими, тургеневскими, бунинскими героями. Когда вступаешь под его тенистые своды, они встают перед нашим мысленным взором. Кажется, вот здесь, в этой аллее, происходило объяснение Онегина и Татьяны, там, на берегу пруда, шла Наталья Ласунская, когда ее встретил Рудин, а под тем дубом сидел, предаваясь мечтам, герой тургеневского «Фауста». И самому парку сколько прекрасных строк посвятили русские писатели! Он стал одним из наиболее поэтических образов в нашей литературе.

У русского садово-паркового искусства своя интересная, богатая история, к сожалению, все еще ненаписанная. Как и всякое другое искусство, оно тоже по-своему реагировало на запросы времени. Едва ли не каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток. Оно переживало периоды расцвета и упадка. В создании нашего старого парка участвовали многие выдающиеся люди России: крупнейшие архитекторы В. И. Баженов, М. Ф. Казаков и другие, знаменитый натуралист П. С. Паллас, литератор Н. П. Осипов, зодчий и ландшафтный архитектор Н. А. Львов. А. Т. Болотов был в числе тех, кто стремился придать садово-парковому искусству в России национальные черты. Он строил парки, исходя из особенностей русской природы, климата, используя отечественные породы деревьев и кустарников. Он выступил с призывом к созданию русского паркового стиля. В своих теоретических работах А. Т. Болотов ставил задачу дать образцы такого парка, который отвечал бы потребностям и возможностям владельцев средних русских усадеб. На протяжении целого ряда лет он с истинно просветительским энтузиазмом пропагандировал садовую культуру. Его статьи могли бы составить целую энциклопедию по вопросам паркового строительства — с такой полнотой он их осветил. Многие мысли, высказанные им при этом, по сей день не утратили своей актуальности.

Русскому парку посвящены и сотни страниц его объемистых воспоминаний, которые, по выражению их издателя М. Семеновского, «составляют одно из драгоценнейших достояний нашей исторической литературы». Он единственный, пожалуй, из наших писателей, кто так широко и ярко отразил эту интересную сферу русской культурной жизни последних десятилетий XVIII века, подробнейшим образом рассказав о том, как создавались парки, с какой серьезностью относились в тогдашнем русском обществе к садовому искусству.

Долгое время имя А. Т. Болотова было почти забытым. В последние годы стало появляться все больше публикаций о его жизни, творчестве, научной работе. Многие для увековечивания памяти А. Т. Болотова делается общественностью Богородицка, города, где он жил и трудился двадцать лет. Собираются материалы, дополняющие его биографию, приводится в порядок созданный им парк.

В деле изучения трудов Болотова сделаны, однако, только первые шаги. В частности, все еще наперечет работы, показывающие его значение как практика и теоретика садового искусства.

Парк в Богородицке расположился на высоком берегу Большого пруда, напротив города. Можно долго бродить по его тенистым аллеям и солнечным полянам.

Перейдя плотину над прудом, которая соединяет город с бывшей усадьбой, вы забираете влево по аллее, неторопливо поднимающейся в гору. И вот между деревьями уже белеют стены дворца, а вскоре и весь он возникает перед вами. Задержитесь на том месте, откуда дворец предстает в зеленом обрамлении: между рядами кустарника снизу и нависающими ветвями деревьев. На высоком цоколе, с полукруглым выступом посреди фасада и гранеными выступами пониже, до середины высоты здания, на боковых стенах, увенчанный круглым бельведером,— он поражает стройностью и благородством своих форм. На дворец вы еще не раз обернетесь, оставив его позади, и с каждой новой точки он красив по-своему.

А слева от него — солнечная поляна. Она слегка наклонена к вам и потому как бы вся на ладони, с ее ярко-зеленым ковром, хорошо оттеняемым лесными кулигами по опушкам.

Вы углубляетесь по тенистым дорожкам, где среди молодой поросли здесь и там выступают мощные стволы деревьев, видно, посаженных еще Болотовым, и вскоре выходите к Эхонической долине. Перед вами длинный овраг с цепочкой разделенных перемычками каскадных прудов. Эта часть парка выглядит самой глухой, но, пожалуй, и самой поэтичной. Тут прохлада и сумрак. Берега заполонил буйно тянущийся кверху подлесок. Пруды почти пусты. Лишь местами поблескивает вода, оставшаяся после недавней попытки восстановить каскад и теперь зятанутая на краях тиной и ряской. Пройдите вдоль прудов вверх, а потом вниз, до живописного залива Большого пруда, к которому спускается каскад. И сейчас тут встретится еще немало привлекательных уголков: вот мысок, выступивший до середины прудика, дальше маленький остров с деревом.

Пройдите по перемычке долину и направьтесь вдоль Большого пруда, мимо высоких лип на берегу, все вперед и вперед — к Церериной роще. Она раскинулась на просторном холме, шумя листвой молодых березок и кленов. Это уже не та роща, над которой столько работал Андрей Тимофеевич, — та, старая, погибла, и остались только несколько кряжистых дубов с краю.

Теперь на ее месте высажена новая. Она воспроизводит планировку прежней. Широкие аллеи сбегаят вниз, а на вершине холма, там, откуда они расходятся, установлен обелиск.

Отсюда вы сможете окинуть взглядом открывающийся вид — как когда-то любил Андрей Тимофеевич — на пруд, город, парк. Только панорама сегодняшнего промышленного города с кварталами современных зданий, теснящими домики индивидуального сектора, конечно, уже совсем непохожа на Богородицкие слободы, которые Болотов перевел с противоположной стороны Большого пруда. От них остались разве что лучевая планировка в городском центре. Иным стал и вид на парк. Выросшие деревья закрыли болотовские перспективы: и дворец, и почти всю Въездную башню, кроме верхушки со шпилем.

В парке немало дорог и тропинок, прогулка по которым доставит вам удовольствие. Среди них бывшая подъездная аллея, которая ведет к дворцу от восточной границы парка. Давно не езженная, она почти совсем заросла травой и между двумя плотными стенами посадок напоминает скорее лесную просеку. Пройдитесь по ней к замыкающей перспективу Въездной башне, в проеме ворот которой виднеется двор усадьбы. Справа и слева от дороги ряды недавно посаженных деревьев. Со временем они вырастут и заменят отжившие свой век и уже почти все исчезнувшие старые березы, когда-то окаймлявшие дорогу.

Посетите и ту часть парка, которая возникла уже после Андрея Тимофеевича, где аллеи великолепных лиственниц вытянулись просторными коридорами. Тут много воздуха, пушистая светлая хвоя образует ажурный свод над головой.

Под конец надо по узкой винтовой лестнице внутри дворца взобраться на смот-

ровую площадку, устроенную на бельведере, и окинуть взглядом парк. С крыши дворца он кажется особенно огромным. Вершины деревьев видишь отсюда сомкнувшимися в сплошной зеленый массив, который уходит чуть не до самого горизонта. И, наверное, вы испытаете чувство благодарности к человеку, создавшему здесь, на голлом месте, это зеленое великолепие.

Хорош Богородицкий парк, но напрасно вы стали бы искать в нем пейзажные картины, описанные Андреем Тимофеевичем. Они исчезли. Разрослись и стали неузнаваемыми его рощицы и лесочки, не осталось следа от водоводов и прудов перед дворцом. Нет подгорной части парка с прибрежной тропинкой. Эта часть оказалась под водой Большого пруда. От нее остался только как слабое напоминание о Нижнем пруде — миниатюрный водоем, узенькой полоской земли отделенный от Большого пруда. Нет каменного каскада, «руины», пещер, о местонахождении которых можно судить только по песчаному матерiku, круглым мысом возвышающемуся над прудом. Не найти ни одной из садовых построек.

У парка сложная судьба. После отъезда Болотова он надолго остался без настоящего присмотра. Ни владельцы, которые на первых порах не жили в Богородицке, ни новые управляющие не заботились о сохранении, поддержании всего того, что с таким искусством создал Андрей Тимофеевич. Разрушавшиеся постройки, «затеи», водоводы, мелевшие пруды никто не восстанавливал.

Но во второй половине прошлого века парк вновь пережил возрождение. Его тогдашний владелец А. П. Бобринский немало поработал над ним. Парк значительно расширился. К северо-востоку от дворца выросли прекрасные липовые и лиственничные аллеи (кстати, лиственница была впервые привезена в эти места), которым была придана прямоугольная планировка, а между ними сделаны открытые солнечные площадки. Новый район парка неплохо дополнил болотовскую часть.

В ту пору в богородицкой усадьбе бывал Л. Н. Толстой, знавший Бобринских. Считается, что писатель сделал ее прототипом имения Вронского в «Анне Карениной».

Кстати, о Бобринских. Эта фамилия стала одной из известнейших в России. Из их семьи вышли крупные сахарозаводчики, министры, думские депутаты правого толка. Они же дали и одного декабриста (или во всяком случае человека, близкого к ним) — сына первого Бобринского, Василия Алексеевича. В истории декабристского движения В. А. Бобринский оставил свой след, выступив с предложением создать тайную типографию, которую он сам брался организовать.

...Война нанесла тяжелейшие раны Богородицку и усадьбе. От дворца осталась полуразрушенная коробка. Поредел и стал быстро приходить в запустение парк, погибла Церерина роща. Казалось, навсегда исчезнет с лица земли великолепный ансамбль, краса и гордость этого края.

Но богородчане оказались настоящими патриотами. Общественность города забила тревогу, требуя принятия мер к спасению дворца и парка. Началась кампания за восстановление ансамбля. Ее возглавила группа энтузиастов. Позднее горисполком создал совет по реставрации дворцово-паркового комплекса во главе с заместителем председателя Н. В. Ломакиным. Нельзя не назвать имена людей, которые приняли наибольшее участие в огромной работе: В. С. Подрезова, П. А. Кобякова, П. С. Околызина и других. Перед энтузиастами стояли нелегкие задачи. Они должны были убедить в возможности восстановления дворца (который уже намечался к сносу), добиться поддержки со стороны соответствующих московских и областных организаций, разъяснить большое историческое, культурное значение Богородицкого ансамбля жителям города.

И вот получены необходимые заключения и визы. Выделены денежные средства. В частности, значительные суммы предоставило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

На помощь пришли специалисты из Москвы: архитектор-искусствовед Л. В. Тыман, старейший ландшафтный архитектор М. П. Коржев, архитектор Е. М. Караваева, а также ленинградский историк — сам богородчанин — Н. А. Малеванов и некоторые другие. Они приложили немало усилий к розыску архивных материалов, без которых нельзя было начинать восстановление ансамбля, воссоздание во всех деталях истории усадьбы. Были найдены многие старые чертежи, планы, рисунки дворца и парка. Исследована территория, установлено место каждой болотовской постройки и затеи. Л. В. Тыманом был составлен проект реставрации дворца, а М. П. Коржев — проект восстановления парка. В проектировании приняли участие студенты Московского лесотехнического института. Специалисты оказали содействие в организации восстановительных работ. Характерно, что большая часть этого огромного труда была выполнена, по существу, безвозмездно, на общественных началах.

И вот поднят из руин старовский дворец. Заново отстроена разрушенная в свое время до основания Въездная башня-колокольня, без которой ансамбль усадьбы не обрел бы вновь своего лица.

Приводится в порядок парк, усилена его охрана. Его обнесли металлической оградой, сделали фигурные, стилизованные «под XVIII век» ворота. На них укреплен мемориальный камень. Он сообщает, что это памятник садово-паркового искусства, который создан первым русским ученым-агрономом Андреем Тимофеевичем Болотовым и охраняется государством. Парк восстанавливают в его прежних границах. Некоторые участки его были заняты раньше сельскохозяйственными и другими организациями. Сейчас эти территории возвращают парку. Сделаны первые шаги на пути его реставрации. Вновь открылась перспектива расчищенной подъездной аллеи. Поднялась Церерина роща, посаженная силами общественности. Богородчане дают пример действительно сознательного, культурного отношения к памятнику садового искусства (пример, который да послужит укором иным арендаторам старых усадеб!).

Очень много сделали богородчане. Однако полное воссоздание болотовского парка, с его сложнейшей водной системой, со всеми многообразными сооружениями, затеями, еще впереди. И без его восстановления, которое потребует, конечно, огромного труда, совместных усилий специалистов разного профиля, реставрацию ансамбля нельзя считать завершенной. Хочется верить, что благородное дело, начатое богородчанами, будет успешно доведено до конца...

Богородицкий дворец-музей является неотъемлемой составной частью Богородицкого музейно-паркового ансамбля.

Богородицк, основанный в 1663 году на левобережье Уперты, через столетие вошел в состав собственной Ее Императорского Величества волости. В границах бывшей крепости по воле Екатерины II возникла усадьба, которую унаследовал сын императрицы и Г. Г. Орлова граф Алексей Григорьевич Бобринский.

По проектам петербургского архитектора И. Е. Старова, с именем которого связано создание Таврического дворца и Троицкого собора Александро-Невской лавры, в 1773 году заложили и немалой величины дом каменный» и два Г-образных флигеля «со множеством комнат», а в следующем — Казанскую церковь.

Построенная еще в середине XVIII века «высокая и красивая башня» замкнула перспективу вытянутой почти на полверсты «насажденной березками» главной подъездной дороги. Она же стала парадными воротами во двор и звонницей усадебного храма.

К 1785 году завершилась отделка дворца, и его «пышные и высокие каменные палаты» сделали под стать «прекрасно построенному дому с большими окошками, дверьми».

К этому же времени по проекту управляющего имением А. Т. Болотова по берегу Уперты возник английский по стилю и российский по духу парк, в котором «все казалось улыбающимся и приводящим в приятное изумление и восторг». В историю

отечественной науки и культуры Болотов вошел не только как паркостроитель, но и как писатель и первый русский ученый-агроном.

В 1875 году к дому сделали пятигранные пристройки, а внутри, по отзыву соседей, «вновь отделанный дворец был устроен на славу». Благодаря самому именитому из них Богородицкое, став прообразом усадьбы Вронского Воздвиженское, попало в самый читаемый роман русской литературы. Кроме Л. Н. Толстого, в разные годы гостями имения были последний крымский хан Шагин-Гирей и деятель Великой французской революции Ш. Ж. Ромм, великий князь Александр Николаевич (впоследствии император Александр II) и великая княгиня Елена Павловна, литераторы Н. И. Новиков, В. А. Жуковский, М. Е. Салтыков-Щедрин и М. М. Пришвин, а будущий первый глава Временного правительства князь Г. Е. Львов в 1901 году венчался в местной церкви. Ровно век спустя в ней совершил торжественное богослужение Патриарх Московский и всея Руси Алексей II.

Усадьба, где «протекли счастливые минуты гармонии мечты и бытия» четырех поколений рода графов Бобринских, к 1921 году перешла «в ведение природы»: «дворец без надлежащего ремонта нельзя использовать... Судьба имущества неизвестна... Ценные деревья парка порубались. Пруды загрязнены, высыпанные камушками дорожки, мостки изуродованы и поломаны».

В 1929 году исчезли флигели и въездная башня, а в ночь на 12 декабря 1941 года отступающие фашистские войска превратили дворец в «графские развалины»... 1 июля 1967 года стало началом восстановительных работ. В 1971—1975 годах на старом фундаменте возвели въездную башню, облик которой сохранили только рисунки А. Т. Болотова да старые фотографии.

16 октября 1988 года в возрожденном дворце открылся музей. Его экспозиции знакомят с творчеством создателей ансамбля, владельцами «чудесного имения Богородицкого», а в анфиладе второго этажа воссоздано убранство разных по назначению дворцовых залов рубежа XVIII — XIX столетий. Некогда мебель для парадных покоев приобреталась в Москве, и музей благодаря московским закупкам стал обладателем превосходной коллекции предметов прикладного искусства, которую дополняют комнатная скульптура, изысканные драпировки и редкостные растения.

В былые времена в гостиной за «зелеными» столами «стоял стон и шум превеликий от игроков карточных», в овальном парадном «польский, менуэты, контрдансы были танцованы». Овальный зал первого этажа стал не только лучшим концертным залом Богородицка — под его сводами проходит торжественная регистрация новобрачных. Из этих центральных залов в пять окон открываются виды на пять главных улиц Богородицка, с 1778 года раскинувшегося амфитеатром за гладью старинного пруда. Воистину, город как на ладони, и эта особенность его планировки вошла во все издания по русской архитектуре.

В погожие дни по винтовой лестнице можно подняться на смотровую площадку. Тогда с 18-метровой высоты взору откроется и Богородицк, и панорама усадьбы: «убранный цветником двор», скрывающиеся в глубине парка липовые и лиственничные аллеи, а «среди густого тенистого сада» выглядывает купол Казанского храма.

Словом, «если ехать вам случится» по федеральной автодороге «Дон», сверните у указателя «Богородицк» — и вскоре увидите «прекрасный с колоннами дом, выступающий из разноцветной зелени старых деревьев сада», где все как в старом добром романе, читать который не наскучит с любой страницы.

Возрождаемый сейчас богородицкий ансамбль — с грандиозным парком, с хорошим музеем, яркой экспозицией, рассказывающей об истории создания усадьбы и ее творцах И. Е. Старове и А. Т. Болотове — подобно другим заповедным уголкам нашей Родины, стал местом паломничества тысяч людей, которые едут сюда, чтобы увидеть прекрасный памятник русской культуры.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Михаил Майоров

**В ТЫЛУ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА:
АЛЕКСИНСКИЕ СКИТАНИЯ
ОФИЦЕРСКОЙ ЖЕНЫ**



Майоров Михаил Владимирович (1967, Тула). Филолог, литератор, некрополевед. Автор книг «Генеалогия для всех» (1996), «Русская родословная мозаика» (2002), «Литературное родословие» (2005), «Улицы XVII—XXI веков» (2005), «Тульская губерния проездом...» (2005), «Немцы Тульского края» (2007), составитель научных сборников; издатель произведений забытых писателей: С. Г. Успенского, Н. А. Чижова, М. Г. Назимовой, А. Г. Зеленецкого, С. А. Зыбина. Организатор и участник конференций, мемориальных акций, ТВ-программ. В течение 2007 года подготовил к изданию 7 краеведческих книг, которые были успешно распроданы, раздарены и столь же устойчиво по сей день не замечаемы в губернских средствах массовой информации.

Время от времени из бесконечной череды сменяющих друг друга событий и фактов в какой-то момент выдвигается хроника, сквозь столетия возрождающая повседневную жизнь навсегда ушедших поколений. Подобная хроника — и повод для изучения такого интересного пласта, как повседневность, и главный помощник исследователя более важных исторических процессов. С недавней поры (примерно с середины 1990-х) увлечение хронотопами набрало силу. Появились книжные серии, специально посвященные бытовым хроникам. Но жанр этот пока только находится в стадии развития. Биографы и историографы обращаются преимущественно к известным личностям, и редко когда можно найти литературу о бытовой «текучке» вдали от большого света. Одно из лучших произведений о русской повседневности в необычный жизненный период — «Записки» Анны Ильинишны Золотухиной (1814).

Как выразился бы ее друг А. Болóтов, с высоты «претекших времен» Анну Золотухину следует поставить в светлый ряд лучших русских женщин. И как спутница жизни блестящего офицера, и как мать, и как мемуаристка она проявила себя удивительно цельной личностью. По своей скитальческой судьбе она оказалась духовной наследницей княгини Наталии Борисовны Долгоруковой и княгини Аграфены Михайловны Волконской с той лишь разницей, что те в восемнадцатом веке разделили с мужьями горечь далеких ссылок, а Золотухина добровольно отправилась на театр боевых действий. В этом смысле уместнее провести параллель с Татьяной Федоровной Прончищевой, которая в 1736-м последовала за супругом в Великую Северную экспедицию, пережив его там несколькими месяцами. Золотухина, напротив, ушла из

жизни раньше мужа, в разгар военных действий Русской армии, освобождавшей Европу. В 1812-м в поисках супруга она проследовала по Калужской губернии — родным местам Т. Ф. Прончищевой (рожденной Кондыревой, калужской дворянкой) и кратко описала их в «Записках».

По времени создания ее Записки неотделимы от уникальной литературно-мемуарной прослойки — подлинных свидетельств, рожденных в дни боев и на bivуаках. Внутри этого «поколения» мемуаров особо вычерчиваются записи тех, кто погиб или умер до окончания войны или почти сразу после нее: А. В. Чичерин, С. Н. Марин, Я. П. Кульнев. Но и эта череда знаменует не самое деление: ее тоже можно подразделить на мемуары мужские и дамские. В нашем распоряжении сегодня — единственный в своем роде образец русских дамских мемуаров, относящихся к Отечественной войне и написанных в тылу.

Жизнь Анны Ильиничны Золотухиной — сплошное «белое пятно» для биографа. О себе она не пишет ничего, если не считать перечисления детских имен и глухого упоминания о родственных связях с Елагиными. Но даже и о Елагиных за неимением имен ничего толком не удастся выяснить. От Ефремовского уезда призывались подпоручик Иван Елагин 1-й и юнкер Петр Елагин 2-й. Если вспомнить, что Андрей Болотов нередко навещался в этот уезд к родственникам — Елагиным, то не исключено, что именно эта семья и была связующим звеном между Болотовыми и Золотухиными.

Суммирование отрывочных сведений, звучащих как в устах самой Золотухиной, так и в статье в РБС, сводится к тому, что можно уверенно сказать: она родилась в середине семидесятых годов восемнадцатого века. Следовательно, прожила около сорока лет. Когда точно и отчего она скончалась, оставив девять (!) сирот, мы вряд ли узнаем, но преждевременный уход из жизни в момент составления «Записок» явно не был связан с боевыми действиями. Иначе публикаторы — М. И. Семевский и П. И. Бартнев — непременно бы такой факт прокомментировали. Вероятнее всего, ее загнал в могилу какой-нибудь простудный недуг, вызванный долгим изнурительным путешествием на линию наступления.

В «Русском биографическом словаре», самом массовом и авторитетном дореволюционном своде сведений об известных персонах, Золотухиной посвящена отдельная статья за подписью А. И., напоминающей инициалы самой мемуаристки: *«Золотухина Анна Ильинична, урожденная Сергеева, дочь капитана артиллерии, составительница записок о событиях 1812 г., родилась в Михайловском уезде Рязанской губернии и в 1799 вышла замуж за премьер-майора Матвея Ивановича Золотухина, который был на несколько лет моложе ее и свой чин, по воле императрицы Екатерины II, получил в самый день рождения. С открытием Отечественной войны Золотухин поступил в Тульское ополчение, и Анна Ильинична, горячо любившая своего мужа, решила следовать за ним в походе. На стоянке в деревне близ Полоцка, имея много свободного времени, она занялась описанием всего того, что случилось с ней с тех пор, как муж ее определился на защиту отечества. Свои «Записки» она предназначала для детей своих, на память которых с необычайной искренностью начертила картину тех душевных переживаний и материальных лишений, которые выносили жители русских городов и деревень в эпоху народной войны. Касаясь лишь поверхностно крупных исторических событий 1812 г., «Записки» интересны как бесхитростная хроника русской женщины, самоотверженно любившей свою семью и родину. Скончалась Золотухина в 1814 году. Спустя много лет после ее смерти «Записки» ее напечатаны были в «Русской Старине» (1889, № 11, стр. 259-288); 1890, № 1, стр. 1—20».*

Действие «Записок» охватывает не двенадцать дней, как сказано в нашем заголовке. Это число относится к дням скитаний мемуаристки по России и Белоруссии.

Незатейливый рассказ открывается 18-м июля 1812, когда в Туле собралось дворянство для определения добровольцев в ополчение. Но поскольку офицерские жены не могли участвовать в подобных мероприятиях, Анна Ильинишна не стала распространяться о подробностях общественных событий и с самого начала перенесла повествование на самую себя. Между прочим, насколько военные подробности интересны историкам-документалистам, настолько история скитаний Золотухиной может увлечь беллетристов и сценаристов.

Сколько-нибудь заметные персоны на страницах «Записок», как уже сказано, не фигурируют. Влиятельные лица — светлейший князь П. М. Волконский (у автора — Волконской), князья Шаховской и Щербатов — остаются «за кадром», но их незримое присутствие и роль в биографии семьи Золотухиных ощущаются довольно четко. Поскольку мемуаристка состояла в троюродном родстве со «светлейшим Петроханом» (презрительная кличка кн. Волконского при дворе), продвижение ее кавалькады вслед за войском до границ значительно облегчалось. Едва какая-нибудь помещица узнавала, кто это пожаловал переночевать, немедленно обычная спесь сменялась самоваром, чаем и милостивыми расспросами. И хотя Анне Ильинишне пришлось преодолеть массу трудностей и препятствий, в конце концов она своего добилась. По мере чтения «Записок» желание узнать, чем же обернулось любовное «нетерпение, час от часу» возрастающее на каждой последующей странице, у читателя усиливается пропорционально авторским эмоциям.

Скуднейшие сведения о Матвее Ивановиче Золотухине мы черпаем из статистического свода В. И. Чернопятова «Дворянское сословие Тульской губернии. Том V (XIV): Ополчение 1812 г.» (М., 1910) и «Родословец», том III (М., 1908). Чтоб возвести себя к предку с приятно звучащим именем, Золотухины «облагородили» свою фамилию и вписали в роспись мифическое лицо со странным именем *Жемчужин*. Отец героя «Записок», коллежский советник Иван Афанасиевич Золотухин, состоял в браке с девицей Анной Матвеевной, указанной без фамилии. Некоторые обстоятельства, изложенные в «Записках», наводят на мысль о том, что эта Анна Матвеевна была ни много ни мало родной сестрой Е. М. Бобрищевой-Пушкиной (рожденной княжны Барашевой, бабушки братьев-декабристов). Если это когда-нибудь подтвердится, тем самым будет доказано происхождение Матвея Золотухина от княжеского рода Барашевых.

М. И. Золотухин родился в 1777, всего себя посвятил военной службе, в Тульском ополчении занимал майорскую должность в составе 4-го пешего полка. Последнее упоминание о присутствии его в войске относится к 24 апреля 1813, когда он был уволен «за болезнь в Полоцке». А через год, 18 апреля 1814, он был «исключен из списков за неявку». Мы даже не знаем, пережил ли он свою жену.

Видимо, он пользовался почетом и уважением в среде сослуживцев, так как его жена многих офицеров и помещиков называет друзьями мужа.

Круг действующих лиц в «Записках» ограничен так же, как и временные рамки. Но из тех, о ком Золотухина рассуждает с благоговением, одна персона выделяется особо. Это, конечно, Андрей Тимофеевич Болотов.

Указание на приятельство Болотова и Золотухина сделано, судя по манере, рукой М. И. Семева. Но оно, кажется, неверно, так как Золотухин был более чем на сорок лет моложе Болотова и никак не мог приходиться ему *старинным приятелем*. В «Записках» Болотова есть отзыв об отце Матвея Ивановича, «старинном знакомом и приятеле межевщике Золотухине», служившем в 1785 в Козлове Тамбовской губернии (глава о событиях в 1785, поездка автора в Козлов).

Некоего Золотухина упомянул в «Настольном календаре 1787 года» другой Болотов — Павел Андреевич, тот самый «единственный сын составителя известных Записок», о котором Семева сообщает в примечании. У П. А. Болотова находим:

«Между тем был тут <...> один молодой господин Залатухин, и мы с ним несколько познакомились...» (*Козлов С. А. Русская провинция Павла Болотова... — СПб: Историческая иллюстрация, 2006. — С. 168*).

Помимо того, Болотов неоднократно упоминает и другое семейство, активно фигурирующее на страницах записей Анны Ильинишны. Это Викулины, братья Петр и Михаил Максимовичи. В начале февраля 1785 у Петра родилась дочь Мария, а на Фоминой неделе Михаил Максимович женился в Богородицке на девице Нечаевой, жившей «с отцом своим в Епифанском уезде». Болотов засвидетельствовал факт большой личной дружбы семейств: «И как жених в особенности привержен был дружбой к нашему дому, то приглашены были и мы на сию свадьбу...». В списках ополченцев, не явившихся по разным причинам к началу сборов, числится капитан Андрей Викулин — двоюродный племянник вышеназванных братьев. Весной 1813-го его вместе с другими не явившимися уволили окончательно. Можно предположить, что Викулин не принимал участия в боях по личной причине: осенью 1812-го в звании майора погиб его брат Алексей. В тексте «Записок» действует не сам Андрей Викулин, а его жена — подруга Золотухиной, разделившая с ней страдания и тоску по родным.

Необходимость первого отдельного издания «Записок» А. И. Золотухиной продиктована главным образом довольно прискорбным обстоятельством, ставшим для нашего краеведения традиционным. Имя тульской мемуаристки не только отсутствует в справочных изданиях и не звучит на лекциях по историческому и литературному краеведению, но оно просто неизвестно в этом чиновно-высокомерном регионе никому — ни историкам, ни музейным работникам, ни многочисленным романтикам Тульского края. А если и известно, то это ничего не меняет. Даже в литературе об Андрее Болотове невозможно встретить фамилию Золотухиной, которая благоговела перед тульским энциклопедистом и постоянно с ним общалась. Краткие упоминания его в «Записках» Золотухиной не мешают пополнить представление о личности Болотова, тем более что речь идет о бытовой стороне его жизни.

Но это и понятно: ни о каких иных сторонах жизни мемуаристка и не написала бы. И вместе с тем все, о чем бы она ни сообщала в «Записках», связано с военными действиями и поведением окружающих в такое мрачное время, как война. Ведут они себя совершенно по-разному. Социум, в котором вращается Золотухина, исподволь разделился на великодушных друзей ее любимого мужа и лиц, вызывающих у Анны Ильинишны не самые лучшие чувства. В первой группе прежде всего, конечно, супруг — Матвей Иванович и сестры по несчастью: алексинские помещицы Викулина, Анфорова, Баскакова. С симпатией вспоминает Золотухина тех, кто покровительствовал мужу, — князя Шаховского и нескольких офицеров.

Как это постоянно случается в жизни, для сопутствия Анне Ильинишне в поисках мужа Господь назначил не лучшую подругу и отнюдь не самого лучшего знакомого. Золотухина ехала с Николаем Аксаковым (родственником всех известных Аксаковых), о котором ей в конце «Записок» пришлось отозваться не вполне благосклонно за его не самое «симпатичное» поведение с сослуживцами.

Из участников Тульского ополчения, запечатленных в «Записках», почти все были алексинскими помещиками. Их фамилии занесены в шестую часть родословной книги Тульского дворянства и в списки Тульского ополчения. В тексте встречаются сохранившиеся до сих пор названия имений: Ламоново, Кошкино, Страхово, города Алексин, Таруса и Козельск, которые проезжает и в которых останавливается возок Золотухиной.

Контактируя с самыми разными людьми в этих местах, Анна Ильинишна сумела поставить себя так, как впоследствии сделала это в Сибири княгиня Е.И.Трубецкая. И та, и другая путем неимоверных усилий достигают желаемого, и обеим это стоит

здоровья. А такая существенная деталь, как близкое общение с семейством тульского губернатора Богданова, наводит на мысли не столько об отзывчивости этих господ, сколько о том, какого уважения к себе смогла добиться энергичная жена тульского ополченца.

Но не все складывалось гладко в отношениях между соседями и затем внутри кибитки, в которой Золотухина проделала долгий путь к любимому и, как вскоре вышло, к своему скорому концу. Донося до грядущих поколений истину о том, кто чего стоил, сама мемуаристка никого не осуждает: слишком далеко были в те моменты ее помыслы, чтобы размениваться на склоки с окружающими. Претерпев множество неприятностей (косые взоры, отговоры, распри, отказы в лошадях), она движется в единственно избранном направлении вперед и поступки попутчиков оставляет на суд потомков. В рассказе есть места, которые наверняка привлекли внимание Льва Толстого, когда он изучал 1812 год, подходя к нему с «земных» позиций. Например, случай с Аксаковым, который на просьбу изможденной женщины разузнать, куда ушел полк, «счел для себя унижительным идти самому и послал урядника». В тот же день «блестящий русский офицер» Аксаков отличился вторично. Пропитавшись внутренним презрением к этому фанфарону, Золотухина редко напоминает читателю его фамилию и именует его своим «товарищем» по пути. Правота Анны Ильинишны не вызовет сомнений после прочтения одного из финальных эпизодов. *«Я просила Бунцлера, чтобы он сходил и узнал, что это за офицер, не нашего ли полка? Вернувшись от него, он сказал, что этот офицер также из ополчения, Миллер, послал его в главную квартиру с бумагами, в которых он представлял, что в Витебск идти невозможно, также и в Борисову, так как эта губерния совершенно разорена. Я уговорила своего товарища, чтобы он послал звать его чаю напиться. Офицер тотчас пришел. Аксаков принял его так гордо, что на все его учтивые поклоны не привстал с лавки, не предложил ему сесть. Я его поила чаем, и он пил стоя».*

В этой сцене участвуют два офицера немецкого происхождения и один русский. Во многих мемуарах, написанных чистокровными (с их точки зрения) русскими авторами, систематически прослеживается нескрываемая ксенофобия. И чем порядочнее и честнее иноземцы ведут себя на русской службе или на научном поприще, тем сильнее ненависть к ним, объяснимая разве лишь завистью к служебным и личным успехам. В нашей книге «Немцы Тульского края: страницы биографий» (Тула, 2007) мы упомянули нескольких участников Отечественной войны немецкого происхождения. Но «Записки» Золотухиной высвечивают из темноты прошлого имена рядовых военнослужащих немцев, о которых лишь вскользь упоминается в труде В. И. Чернопятова «Ополчение 1812 г.». Не говоря уж об известном генерале И. И. Миллере (его персоналия включена в энциклопедию «Немцы России», том «К–О». — М., 2004), это его однофамилец Кондратий Миллер и братья Бунцлеры. Этих последних было трое, все служили урядниками («на офицерской вакансии»), все были холосты, к концу лета 1813-го заслужили награды за героизм, в том числе в битве за Данциг.

В поисках мужа Золотухиной помогает не столько бог, которому «угодно было» осиротить ее детей, а личные качества. Обладая открытой душой («нараспашку»), она объезжает всех знакомых дам, плачет с ними, изливает горести, в дороге кидается ко всем навстречу с расспросами, и ее не могут смутить ни поджатые губы незнакомой помещицы, ни обессиленный возница, ни преклонение попутчика перед поляками, вызвавшее у Золотухиной прилив ни много, ни мало самой настоящей политической ревности.

С ее легкой руки перед нами проносится парад забытых героев Отечественной войны и их жен. Сколько их встретила Золотухина, пока, влекомая силой любви, летела навстречу своему герою?.. Не менее ценны и свидетельства военной повседневности в тылу, составившие основу мемуарных записей, сделанных по свежим следам.

Повествование кое-где прерывисто, не все эпизоды имеют последовательную связь, далеко не все имена сопровождаются фамилиями и наоборот. Но нельзя относить эти моменты к недостаткам записок, ибо создавались они в состоянии повышенного тонуса, может, уже в безнадежном недуге, поэтому дотошные военные историки должны только благодарить Золотухину за ее «литературное» мужество.

Для представления о характере «Записок» приведем фрагмент, характеризующий общую обстановку, в которой приходилось действовать Анне Ильинишне.

«Из Серпухова все выехали, жили по деревням и лесам. Из Тарусы также все переехали на нашу сторону, поэтому и купить негде было. На другой день Матя поехал к полковнику, и он сам приехал к нам. Тут опять увидела я, как велико было ко мне милосердие Божие: в самую ту ночь, когда я родила, один офицер Аксакова баталиона, великий шалун Соколов, был на Оке у Алексина в карауле. Ночью плыла барка с сухарями, он ее окликал, но на барке, видимо, все заснули и ничего ему не отвечали. Ему приди в голову, что это французы, закричал: «Французы в Алексине, давайте народу!» Это разнеслось от пикета к пикету, все кричат, бегут, дошло до полковника, он встал и на лошадь, туда же поскакал и перехватил весь свой караул, вот отчего до нас не дошел этот шум и тревога. Аксакова разбудили, жена его очень встревожилась. Из ближних деревень даже мужики сбежались с вилами и рогатинами, все кричат и бегут в Алексин. Поравнявшись с баркой, полковник посылает к ней человека вплавь, чтобы остановить ее, и тогда уже узнают, что тут вместо французов — сухари. Всех успокоили, а весь наш баталион не знал этой тревоги, и я не была в самое опасное для меня время встревожена, а спала спокойно. На третий день моих родов мы получили письмо от матушки и сестры, оне были также в страшной тревоге. Враги наши из Москвы пошли на Рязань, все тамошние соседи наши уезжали оттуда. Сестра писала мне, чтобы я поскорее приезжала, чтобы ехать в Елец. К ним уже приехали брат Афанасий Иванович с семейством и сестра Татьяна Ивановна с дочерьми. Сестра писала даже, что оне назначили уже день отъезда. Если бы я даже поехала к ним из Алексина, то, вероятно, застала бы их уже в дороге...»

Поступок офицерской жены, изложенный на страницах «Записок», вне всякого сомнения — подвиг. Он был не первым в истории и неоднократно повторялся, но стал одним из немногих случаев, которые нашли литературное отражение в автобиографическом жанре. Отдельное издание этого документа, которое продолжает нашу книжную серию «Писатели Тульского края XVIII — начала XX веков», поможет лучше изучить забытые страницы истории Алексинского уезда и его нравов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

От ведущего рубрики: поэт-государственник (произведение, которое не изучают в школе). Казалось бы, что в школе — за нынешнюю не ручаюсь, но в советской самоочевидно — творчество Пушкина изучали основательно во все времена и эпохи, за исключением коротких лет управления образованием А. В. Луначарского с его РАПП'ом (то есть во времена Троцкого), когда Пушкина «сбросили с корабля истории». Стихи, поэмы, проза, художественная публицистика — все это нам давали в школе в достаточной степени полноты; даже шутейно-антиклерикальную «Гавриладию» любознательные старшеклассники читали. Не в школьной хрестоматии, конечно. Понятно, определенная тенденциозность наблюдалась, точнее — соблюдалась. Помятуя партийно-педагогические методики преподавания литературы, учителя-словесники как-то невнятно объясняли смысл патриотических стихов Александра Сергеевича:

*Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?*

Упор все более делался на интернационализм, а по Пушкину выходило, как назло, что врагами России, русской государственной идеи в XIX веке являлись нации и народности, ныне (речь идет, понятно, о советском периоде истории) образующие государства социал-демократии и братскую семью советских народов...

Не дай, Бог, осуждать ранее и сейчас наших добрых учителей за их следование партийно-педагогическим методикам. Сами эти методики были выверены и соотнесены с гибкой политикой руководства СССР, требовавшей сочетания в воспитании советских людей традиций государственности и идеи интернационализма. Правда, последняя трактовалась по троцкистскому образу, ибо в своей многотрудной деятельности великий И. В. Сталин так и не успел, точнее — ему не дали успеть, привести эту идею в соподчинение и соответствие базовой, стержневой идеи доминирующей государственности. И, хотя не это явилось основной причиной разрушения русско-советской империи, но очень и очень способствовало трагедии страны, превращению ее в краткий срок в колонию мирового империализма и сатанизма... но вернемся к А. С. Пушкину.

Единственным произведением Пушкина, если не замалчиваемым, то уж во всяком случае «умалчиваемым» и ранее, и ныне, и присно, является «Путешествие из Москвы в Петербург» с приложением очерка «Александр Радищев», написанное им незадолго до гибели (в апреле 1836 г.). Написанный как художественно-публицистическая антитеза радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву», очерк Пушкина представляет отображение гражданской позиции поэта. Но почему эта не-

большая по размеру прозаическая вещь, повествующая о поездке некоего путешественника, живущего безвыездно в Москве, не бывавшего в Петербурге лет пятнадцать и решившего-таки навестить северную столицу, стоит как бы особняком в официальном пушкиноведении? Более того, при не столь частой публикации «Путешествия», например, в книге «Избранное» А. Пушкина в серии «Библиотека русской художественной публицистики» (М., «Советская Россия», 1980), в «идеологическом» предисловии обязательно развивается мотив, что-де «социальные и нравственные идеи в «Путешествии из Москвы в Петербург» значительны и во многих случаях близки радищевским»; «...эта мистификация понадобилась для того, чтобы ввести нелестные для Радищева замечания, без которых нельзя было рассчитывать на публикацию очерка, и в то же время дать понять читателю, что подлинный автор так не думает» и пр.

Что здесь правда, а что есть идеологическое лукавство и литературный эвфемизм? Попробуем ответить.

В соответствии все с той же гибкой политикой идеологии в СССР, отображение последней в литературе, равно как в искусстве и культуре вообще, выражалось в некоторой, достаточно строго выдерживаемой «табели о рангах». Опять же, подчеркнем это, при некоторой искусственности, прямолинейности и исторической неправомерности такой подход был объективно полезен и гармонизировал с государственной сверхзадачей.

Согласно этой табели, фигура А. Н. Радищева трактовалась как прогрессивная, предтеча декабристов, которые разбудили... далее хорошо известно. А его «Путешествие из Петербурга в Москву» однозначно признавалось произведением великим, литературно высококачественным, идейно опередившим свое время на многие десятилетия вперед. Понятно, что все эти оценки были ориентированы на либерализм и революционный демократизм, как прогрессирующую доминанту в историческом развитии России, начиная едва ли не со времен Золотой Орды... Поэтому пушкинское «Путешествие» в обратную по отношению к радищевскому (и по направлению пути следования, и по оценкам российского бытия) сторону никак не вписывалось в уложения табеля. Более того, щекотливость ситуации усугублялась и положением самого Пушкина в этой табели: как величайшего русского поэта, известного вольнодумца, почти декабриста и пр. Поэтому диалектический подход — отрицание отрицания — здесь явно не подходил. Соломоново же решение — сделать вид, что «Путешествие» Пушкина, конечно, произведение прогрессивное, но популяризировать его ни к чему — устраивало всех. На том *point sur les «i»* и была поставлена.

В чем же публицистическая, идеологическая разница между двумя «Путешествиями»? (Полагаем, что основной контингент наших читателей учился в советской школе и содержание книги А. Н. Радищева помнит, если не текстуально, то по нравственно-этической и политической направленности). Дабы не превращать эссе в литературоведческий трактат, ограничимся несколькими, наиболее сопоставительными тезисами (А. Н. Радищев) и антитезисами (А. С. Пушкин).

С самого начала очерка Пушкин отмечает, что некогда нашумевшая книга «потеряла свою заманчивость», прошумела скоро и была забыта; говоря современным языком, уподобилась диссидентскому бестселлеру...

Сопоставляя две российские столицы, Пушкин отмечает те значительные изменения, что произошли с ними со времен радищевских. Помятуя о том, что Радищев как прочитал в юные годы рассудочную философию Гельвеция, так и остался на всю жизнь ее поклонником-неофитом, Пушкин пишет в данном контексте: *«Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые*

имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения!» (Здесь явная указка на декабристов).

Радищев заканчивает свою книгу словом о Ломоносове. Пушкин отмечает, что слово это по намерениям не совсем похвально: *«Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе русского Пиндара (Здесь и далее выд. А. С. Пушкиным — А. Я.). Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзостью»*. Радищев все внимание (а это 30 страниц текста!) сосредоточил на Ломоносове-поэте, риторе и грамматике, то есть на тех сферах деятельности русского гения, где, говоря словами Пушкина, *«его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается...»* и т.п. А Пушкин, проводя в тексте очерка пространные выписки из рапорта Ломоносова графу Шувалову за 1751—56 гг., доказывает, что Ломоносов есть прежде всего естественник, подвижник науки и государственник в области отечественного просвещения. Этого-то «не заметил» Радищев.

Особенно резко возражает поэт Радищеву в части пресловутого и ныне питающего отечественных и зарубежных ненавистников России вопроса о «рабском начале» русского характера, о «невыносимых» условиях жизни и труда русского простолюдина — вечно живая тема диссидентствующих! Пушкин сравнивает положение русского крестьянина и ремесленника с землепашцами французскими и рабочими английских мануфактур далеко не в пользу последних. А что касается «рабского начала», то: *«Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступки и речи? О его сметливости и смелости и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны... В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища... Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности»*. И так далее.

Серьезные возражения Пушкин обосновывает и в главах «Слепой», «Рекрутство», «О цензуре», «Этикет» и «Шлюзы». Заканчивая очерк кратким описанием жизни Радищева, поэт резюмирует свое мнение: *«Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви»* (выд. нами — А. Я.).

Такими проникновенными и гениальными в своей краткости словами заканчивает Пушкин свой очерк. Сказать, что Радищев — западник, а Пушкин более тяготеет к отстаиванию самобытности пути России в сонме европейских народов и государств, значит мало чего сказать. Символично, что «путешествия» их антипараллельны; Радищев едет в истинную, историческую русскую столицу из столицы-призрака, олицетворяющей западническое начало в новейшей жизни государства. Это не подходит под само определение путешествия; путешествуют — это когда из дома на время уезжают в чужие края... А вот Пушкин истинно путешествует: из «домашней» столицы во временную.

И так во всем у них разнится. Радищева с полным правом можно уподобить иному диссидентствующему наших времен, который (как Радищев в Германии со чтением случайного Гельвеция) побывал в «европах», упал в обморок при виде 3000 сор-

тов колбасы — теперь мы знаем, что она синтетическая, — а вернувшись в «эту страну», начал хулить ее с надеждой получить выездную визу... Радищев, представленный своим «Путешествием», есть духовный предтеча и прообраз масонов-западников-декабристов.

Конечно, молодой Пушкин — на то и молодость, чтобы следовать порыву сердца, но не ума! — мог произнести приписываемые ему слова ответа на вопрос Николая I о его возможном участии в мятеже. Но мудрый царь уже тогда видел в поэте государственника и не ошибся в нем, как и вообще редко ошибался в людях и делах (лишь подлость Европы не оценил).

И напрасно наше каноническое литературоведение винит Николая Павловича в гибели поэта, годовщину которого мы отмечаем каждый год. Пушкина, поэта-государственника, для которого не было истины без любви, погубили те, для которых Россия была очередной страной пребывания (где лучше, там и родина!). Не существенно, что погиб поэт от руки этнического чужестранца — *«не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!»* Не он, так другой, из своих, числом всегда многих, прилепившихся к трону... Главное — *кто и за что* наводил казнящую неправую руку. Казнили подло, не открытым судом, но спровоцированной дуэлью величайшего русского поэта, который своей музой служил государству, служил и царю, но не как персонифицированной личности, а именно как воплощению государственной, национальной идеи.

Вот и получается, что небольшой очерк, который не изучают в школе, относимый литературоведами-пушкинистами к второстепенным упражнениям поэта в публицистическом жанре, не так-то и прост. Это серьезная полемика, как ни в каких других, намного более известных произведениях Пушкина, открывающая в нем человека государственного мышления и души патриота.

Александр Сергеевич Пушкин **ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ***

Шоссе

Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карст) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы.

Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге. Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагоприятно. Проклятая коляска требовала поминутно починки! Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моей изнеженностью, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал.

Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились. Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дожде обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей,

* Печатается по изданию: Пушкин А. Избранное. — М.: «Советская Россия», 1980. — С. 73—99 (Серия «Библиотека русской художественной публицистики»).

не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам. Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленного, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророем два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно.

Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу, частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться.

Не могу не заметить, что со времени восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно.

Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастись книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть божий дар, и та, которую не решитесь вы я раскрыть, возвращаясь из Английского клуба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется нам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более; в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется, в вашу память и воображение; перечестъ ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное; Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целию просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что «Клариса» очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство.

Вот на что хороши путешествия.

Итак, собравшись в дорогу, зашел я к старому моему приятелю, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. Приятель мой хотел было мне дать нравственно-сатирический роман, утверждая, что скучнее ничего, быть не может, а что книга очень любопытна в отношении участи ее в публике; но я его благодарил, зная уже по опыту непреодолимость нравственно-сатирических романов. «Постой,— сказал мне, — есть у меня для тебя книжка». С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. «Прошу беречь ее, — сказал он таинственным голосом. — Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность». Я раскрыл ее и почел заглавие: «Путешествие из Петербурга в Москву». С. П. Б. 1790 году.

С эпиграфом:

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй.

Тилемахида. Кн. XVIII, ст. 514.

Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потеврявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика.

Я искренно благодарил и взял с собою «Путешествие». Содержание его всем известно. Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга и Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной Грязи, пока переменяли лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы и Петербург.

Москва

Москва! Москва!..— восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уже Всесвятское... Он прощается с утомленным читателем; он просит своего спутника подождать его у околицы; на возвратном пути он приметя опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания... Теперь ему некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, пого- ний! Москва! Москва!..

Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихри и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится...

*Fuit Troja, fuimus Trojani**. Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое из всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды (так оригинально описанные князем Долгоруким) вошли в пословицу. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись, как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудаков выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами код золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запятки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники — все исчезло: остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую пословицу: «*vieilles comme les rues*»**: московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, все еще *цветущих розами*! Ныне в присмирившей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона — и то слава богу! На всех воротах прибито объявление, что

* Была некогда Троя, были мы троянцы (лат.)

** Стары, как улицы (франц.).

дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает, Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плоские и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в вале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет. Во флигеле живет немец-управитель и хлопочет о проволочном заводе. Обеды даются уже не хлебосолами старинного покроя, в день хозяйских именин или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалившегося от двора, но обществом игроков, задумавших обобрать на верное юношу, вышедшего из-под опеки, или саратовского откупщика. Московские балы... Увы! Посмотрите на эти домашние прически, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом... Кавалеры набраны кое-где — и что за кавалеры! «Горе от ума» есть уже картина обветшавшая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который *всякому, ты таеши, рад* — и князю Петру Ильичу, и французизму из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая

*Балы дает нельзя богаче
От Рождества и до поста,
А летом праздники на даче.*

Хлестова — в могиле; Репетилов — в деревне. Бедная Москва!..

Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II снова утвердила за Петербургом его недавние права.

Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее *частию* от раздробления именин, исчезающих с ужасной быстротою, *частию* от других причин, о которых успеем еще потолковать.

Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова.

Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смысленные литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский.

Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке, как о политической экономии, то ость наобум и как-нибудь, иногда впадет и, остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно.

Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем

не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!

Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости.

Ломоносов

В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым!. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *росского Пиндара*. Достоин замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славой Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой безумной дерзости. Он более тридцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, риторичности и грамматику, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки:

Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский недостоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеилие для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что *не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопее, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей*.

Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, и не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславенская, полулатинская, сделалась было необходимою: к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокаторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об *этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!*.. Зато с каким жаром говорит он о науках, о просвещении! Смотрите письма его к Шувалову, к Воронцову и пр.

Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове, как следующий рапорт, поданный им Шувалову, о своих упражнениях с 1751 года по 1757:

По ордеру вашего сиятельства велено всем академическим профессорам и адъюнктам, чтобы рапортовали вашему сиятельству о своих трудах и упражнениях в науках с 1751 года поныне. В силу оного рапортую, что с того времени до нынешнего числа по моей профессии и в других науках и учинил погодно.

В 1751 году

В химии. 1) Произведены многие опыты химические, по большей части огнем, для исследования природы цветов, что значит того ж году журнал лаборатории на 12 листах и другие записки. 2) Говорил сочиненную свою речь о пользе химии на российской языке. 3) Вымыслил некоторые новые инструменты для физической химии.

В физике. 1) Делал опыты в большие морозы для изыскания: какую пропорцию воздух сжимается и расширяется по всем градусам термометра. 2) Летом деланы опыты зажигательным стеклом с термометром, коль высоко втекает ртуть в разных расстояниях от зажигательной точки. 3) Сделаны опыты, как разделять олово от свинца одним плавлением, без всяких посторонних материй простою механикою, что изрядный успех имеет и весьма дешево становится.

В истории. Читал книги для собрания материй к сочинению российской истории: Нестора, законы Ярославли, Большой летописец, Татищева первый том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Арнолда и другие, из которых брал нужные эксцерпты или выписки и примечания, всех числом 653 статьи, на 15 листах.

В словесных науках. 1) Сочинил трагедию, «Демофонт» называемую. 2) Сочинял стихи на иллюминации. 3) Собранные прежде сего материи к сочинению грамматики зачал приводить в порядок. Давал приватные лекции студентам в российском стихотворстве; а особливо Поповскому, который ныне профессором. 4) Диктовал студентам сочиненное мною начало третьей, книги красноречия — о стихотворстве вообще.

В 1752 году

В химии. 1) Деланы многие химические опыты для теории цветов, о чем явствует в журнале сего года на 25 листах. 2) Показывал студентам химические опыты тем курсом, как сам учился у Генкеля. 3) Для ясного понятия и краткого познания всей химии диктовал студентам и толковал сочиненные мною в физической химии пролегомены на латинском языке, которые содержатся на 13 листах в 150 параграфах, со многими фигурами на шести полулистах. 4) Изыскал способы и практикою доказал, как составлять мусию. 5) По канцелярскому указу обучал составлению разноцветных стекол присланного из канцелярии строений ученика Дружинина для здешних стеклянных заводов.

В физике. 1) Чинил электрические воздушные наблюдения с немалую опасностью. 2) Зимую повторял опыты о разном протяжении воздуха по градусам термометра.

В истории. Для собрания материалов к российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла дьякона, Зонара, Феофана Исповедника, Леона Грамматика и иных эксцерптов нужных на 5 листах в 161 статье.

В словесных науках. 1) Сочинил оду на восшествие на престол ее императорского величества. 2) Письмо о пользе стекла. 3) Изобретал иллюминации и сочинял к ним стихи: на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября. 4) Оратории второй части красноречия сочинил 10 листов.

В 1753 году

В химии. 1) Продолжались опыты для исследования природы цветов, что показывает журнал того же году на 56 листах. 2) По окончании лекций делал новые химико-физические опыты, дабы привести химию сколько можно к философскому познанию и сделать частью основательной физики: из оных многочисленных опытов, где мера, вес и их пропорция показаны, сочинены многие цифирные таблицы, на 24 полулистовых страницах, где каждая строка целый опыт содержит.

В физике. 1) С покойным профессором Рихманом делал химико-физические опыты в лаборатории для исследования градуса теплоты, который на себя вода принимает от погашенных в ней минералов, прежде раскаленных. 2) Чинил наблюдения электрической силы на воздухе с великою опасностью. 3) Говорил в публичном собрании речь о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, с истолкованием многих других свойств природы. 4) Делал опыты, коими оказалось, что цветы, а особливо красный, на морозе ярче, нежели в теплоте.

В истории. 1) Записки из упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами. 2) Читал Российские академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских.

В словесных науках. 1) Для российской грамматики привел глаголы в порядок. 2) Пять проектов со стихами на иллюминации и фейерверки: на 1 января, на 25 апреля, на 5 сентября, на 25 ноября и на 18 декабря.

В 1754 году

В химии. 1) Сделаны разные опыты химические, которые содержатся в журнале сего года на 46 листах. 2) Повторением поверены физико-химические таблицы, прошлого гола сочиненные.

В физике. 1) Изобретены некоторые способы к сысканию долготы и ширины на море при мрачном небе. В практике исследовать сего без адмиралтейства невозможно. 2) Деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может. Притом были разные химические растворы морожены для сравнения. 3) Деланы опыты при пильной мельнице в деревне, как текущая по наклонению вода течение свое ускоряет и какою силою бьет. 4) Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла поднять с собою маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая хотя с лишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена.

В истории. Сочинен опыт истории славянского народа до Рурика: Дедикация, вступление; глава 1, о старобытных жителях в России; глава 2, о величестве и поколениях славянского народа; глава 3, о древности славянского народа, всего 8 листов.

В словесных науках. 1) Сочинил оду на рождение государя великого князя Павла Петровича. 2) Изобрел фейерверк, который был представлен на новый 1754 год, и стихи сделал. Также делал проекты на иллюминацию и фейерверки: к 25 апреля, к 5 сентября, к 25 ноября.

В 1755 году

В химии. Деланы разные физико-химические опыты, что явствует в журнале того ж года на 14 листах.

В физике. 1) Сочинил диссертацию о должности журналистов, в которой опровергнуты все критики, учиненные в Германии против моих диссертаций, в комментариях напечатанных, а особливо против новых теорий о теплоте и стуже, о химических растворах и упругости воздуха. Оная диссертация переведена господином Формеем на французский язык и в журнале, называемом: «Немецкая библиотека» (Bibliothèque germanique), на оном языке напечатана. 2) Сочинил письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном.

В истории. Сделал опыт описанием владения первых великих князей российских Рурика, Олега, Игоря.

В словесных науках. 1) Сочинил и говорил в публичном собрании слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому. 2) Сочинив большую часть грамматики, привел к концу, которая в нынешнем году печатью к концу приходит. 3) Сочинил письмо о сходстве и переменах языков.

В 1756 году

В химии. 1) Между разными химическими опытами, которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать; прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере. 2) Учинены опыты химические со вспоможением воздушного насоса, где в сосудах химических, из которых был воздух вытянут, показывали на огне минералы такие феномены, какие химикам еще не известны. 3) Ныне лаборатор Клементьев под моим смотрением изыскивает по моему указанию, как бы сделать для фейерверков верховые зеленые звездки.

В физике. 1) Изобретен мною новый оптический инструмент, который я назвал никтоптическою трубою (tubus nyctopticus); оный должен служить к тому, чтобы ночью видеть можно было. Первый опыт показывает на сумерках ясно те вещи, которые простым глазом не видны, и весьма надеяться можно, что старанием искусных мастеров может простереться до такого совершенства, какого ныне достигли телескопы и микроскопы от малого начала. 2) Сделал четыре новоизобретенные мною пендулы, из которых один медный, длиною в сажень, однако служит чрез механические стрелки против такого, который бы был вышиною с четвертью на версту. Употребляется к тому, чтобы узнать, всегда ли с земли центр, притягивающий к себе тяжкие тела, стоит неподвижно или променяет место. 3) Говорил в публичном собрании сочиненную мною речь о цветах.

В истории. Собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для наблюдения сходств в деяниях российских.

В словесных науках. 1) Сочиняю героическую поэму, именуемую: «Петр Великий». 2) Сделал проект со стихами для фейерверка к 18 декабря сего года.

Сверх сего в разные годы зачаты делать диссертации: 1) О лучшем и ученом мореплавании. 2) О твердом термометре. 3) О трясении земли. 4) О первоначальных частицах, тела составляющих. 5) О градусах теплоты и стужи, как их определить основательно, со мнением о умеренности растворения воздуха на планетах. К совершению привести отчасти препятствуют другие дела, отчасти протяжным печатанием комментариев охота отнимается.

Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивал Александра Петровича в совершенстве. Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал как ни в чем не бывало наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все его трепетали; во дворце, где он дирил за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. Не многим известна стихотворная перепалка его с Дмитрием Сеченовым по случаю «Гимна бороде», не напечатанного ни в одном собрании его сочинений. Она может дать понятие о заносчивости поэта, как и о нетерпимости проповедника. Со всем тем Ломоносов был добродушен. Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана! В отношении к самому себе он был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: «О каком Ломоносове говорите вы? не о Михаиле ли Васильевиче? То-то был пустой человек! бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Тредьяковский, Василий Кирилович,— вот этот был почтенный и порядочный человек». Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного. В «Тилемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:

Корабль Одиссеев,
Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся.

Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков, верно, не стоят Тредьяковского,— *habent sua fata libelli**.

Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною хвалою; он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в какой-то придворной идиллии воспевае графа К. Разумовского под именем Полидора; он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: *Его сиятельство граф М. Л. Воронцов, по своей высокой ко мне милости, изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству*.— Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало, Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостью и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину

* Книги имеют свою судьбу (лат.).

он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, *предстателю мус, высокому своему патрону*, который вздумал было над ним пошутить. «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господ моего бога дураком быть не хочу»^{*}.

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» — «Нет,— возразил гордо Ломоносов,— разве Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идилий!

Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется в обычаях английской литературы. Почтенный Кребб, умерший в прошлом году, поднес все свои прекрасные поэмы *to his Grace the Duke etc*^{**}. В своих смиренных посвящениях он почтительно упоминает о милостях и высоком покровительстве, коих он удостоился *etc*. В России вы не встретите ничего подобного. У нас, как заметила M-me de Staël, словесностию занимались большею частию дворяне (*En Russie quelques gentilshommes sont occupés de littérature*). Это дало особенную физиономию нашей литературе; у нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде, получить от него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными камнями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели, мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? Позвольте в том усумниться.

Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному и общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебный объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писак, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете.

К тому ж с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат; Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны — несмотря на то, что в своих книжках они, проповедуют независимость и что они свои сочинения посвящают не доброду и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им.

Браки

Радищев в главе «Черная Грязь» говорит о браках поневоле и горько порицает самовластие господ и потворство *градодержателей* (городничих?). Вообще несчастье жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный. Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? «По страсти,— отвечала старуха,— я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь». — Таковые страсти обыкновенны. Неволья браков давнее зло. Недавно правительство обратило внимание на лета вступающих в супружество: это уже шаг к улучшению. Осмелюсь заметить одно: возраст, назна-

^{*} См. его письмо к графу Шувалову. (Примеч. Пушкина).

^{**} Его светлости герцогу и т.д. (англ.).

ченный законным сроком для вступления в брак, мог бы для женского пола быть уменьшен. Пятнадцатилетняя девка и в нашем климате уже на *выдании*, а крестьянские семейства нуждаются в работниках.

Русская изба

В *Пешках* (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофею. Он пользуется сим случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным красноречием. Но замечательно описание русской избы:

Четыре стены, до половины покрытые так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода.

Наружный вид русской избы мало переменялся со времен Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные к его «Путешествию». Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта елка, это печальное тавро северной природы — ничто, кажется, не изменилось. Однако произошли улучшения по крайней мере на больших дорогах: труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того, что англичане называют *comfort*. Очевидно, что Радищев начертил карикатуру; но он упоминает о бане и о квасе как о необходимости русского быта. Это уже признак довольства. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: *и начала сажать хлебы в печь*.

Фонвизин, лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю. Вспомним описаний Лабриера*; слово господжи Севилье еще сильнее тем, что она говорит без негодования и горечи, а просто рассказывает, что видит и к чему привыкла. Судьба французского крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его преемника...

Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что всё это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но

* «По полям рассеяны какие-то дикие животные, самцы и самки, черные, с лицами землистого цвета, сожженные солнцем, склонившиеся к земле, которую они роют и ковыряют с непреодолимым упорством; у них как будто членораздельная речь, а когда они выпрямляются на ногах, то мы видим человеческое лицо; и действительно, это — люди. На ночь они удаляются в свои логовища, где питаются черным хлебом, водой и кореньями; они избавляют других людей от труда сеять, обрабатывать и собирать для пропитания, и заслуживают того, чтобы не терпеть недостатка в хлебе, который сами сеют». Характеры (франц.).

посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев). Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньги... Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны.

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступки и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют *un badaud**; никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего *собственного жилища*. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою* избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день... Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения... Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...

Слепой

Слепой старик поет *стих об Алексее, божием человеке*. Крестьяне плачут; Радищев *рыдает вслед за ямским собранием... О природа! koliko ты властительна!* Крестьяне дают старику милостыню. Радищев *дрожащею рукою* дает ему рубль. Старик отказывается от него, потому что Радищев дворянин. Он рассказывает, что в молодости лишился он глаз на войне в наказание за свою жестокость. Между тем баба подносит ему пирог. Старик принимает его с восторгом. *Вот истинная благостыня*, восклицает он. Радищев, наконец, дарит ему шейный платок и извещает нас, что старик умер несколько дней после и похоронен с этим платком на шее. — Имя Вертера, встречаемое в начале главы, поясняет загадку. Вместо всего этого пустословия лучше было бы, если Радищев, кстати о старом и всем известном «Стихе», поговорил нам о наших народных легендах, которые до сих пор еще не напечатаны и которые заключают в себе столь много истинной поэзии. Н. М. Языков и П. В. Киреевский собрали их несколько etc., etc.

Рекрутство

Городня. — Въезжая в сию деревню, — пишет Радищев, — не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез мно-

* Ротозей (франц.).

гих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлись отправляемые на отдачу рекруты.

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила: «Любезное мое дитяtko, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травой, мохом наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери — сырой земле? Кто придет воспомнить меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той».

Подле старухи стояла девка, уже взрослая. Она также вопила: «Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни нужного женою. Хотя бы бесчеловечные наши старосты, хоть дали бы нам обвенчаться; хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение».

Парень им говорил: «Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жребей. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось-либо я с полком к вам приду. Авось-либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку», — рекрута сего отдавали из экономического селения.

Совсем другого рода слова внял слух мой в близ стоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих, взвещающего.

«Услышал господь молитву мою, — вещал он. — Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!»

Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он отвечал: «Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река, и, стоя между двух гибелей, неизбежно бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой, избрал бы броситься в реку в надежде, что, переплыв на другой берег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под батожем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчушу, жаждушу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим именем, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратий, дворян».

Самая необходимая и тягчайшая из повинностей народных есть рекрутский набор. Образ набора везде различествует и везде влечет за собою великие неудобства. Английский *пресс* подвергается ежегодно горьким выходкам оппозиции и со всем тем существует во всей своей силе. Прусское *Landwehr*^{*}, система сильная и искусно приношенная к государству, еще не оправданная опытом, возбуждает уже ропот в терпеливых пруссаках. Наполеоновская конскрипция производилась при громких рыданиях и проклятиях всей Франции.

Чудовище, склоняясь на колыбель детей.
Считало годы их кровавыми перстами.
Сыны в дому отцов минутными гостями
Являлись etc.

* Ополчение (нем.).

Рекрутство наше тяжело; лицемерить нечего. Довольно упомянуть о законах противу крестьян, изувечивающихся во избежание солдатства. Сколько труда стоило Петру Великому, чтобы приучить народ к рекрутству! Но может ли государство обойтись без постоянного войска? Полумеры ни к чему доброму не ведут. Конскрипция по кратковременности службы, в течение 15 лет, делает из всего народа одних солдат. В случае народных мятежей мещане бьются, как солдаты; солдаты плачут и толкуют, как мещане. Обе стороны одна с другой тесно связаны. Русский солдат, на 24 года отторженный от среды своих сограждан, делается чужд всему, кроме своему долгу. Он коз возвращается на родину уже в старости. Самое его возвращение уже есть порука за его добрую нравственность; ибо отставка дается только за беспорочную службу. Он жаждет одного спокойствия. На родине находит он только нескольких знакомых стариков. Новое поколение его не знает и с ним не братается.

Очередь, к которой придерживаются некоторые помещики филантропы, не должна существовать, пока существуют наши дворянские права. Лучше употребить сии права в пользу наших крестьян и, удаляя от среды их вредных негодяев, людей, заслуживших тяжкое наказание и проч., делать из них полезных членов обществу. Безрассудно жертвовать полезным крестьянином, трудолюбивым, добрым отцом семейства, а щадить вора и пьяницу обнищавшего — из уважения к какому-то правилу, самовольно нами признанному. И что значит эта жалкая пародия законности!

Радищев сильно нападает на продажу рекрут и другие злоупотребления. Продажа рекрут была в то время уже запрещена, но производилась еще под рукою. *Простодум* в комедии Княжнина говорит, что

Три тысячи скопил он дома лет в десяток
Не хлебом, не скотом, не выводом теляток,
Но кстати в рекруты торгуючи людьми.

Но запрещение сие имело свою невыгодную сторону: богатый крестьянин лишился возможности избавиться рекрутства, а судьба бедняков, коими торговал безжалостный помещик, вряд ли чрез то улучшилась.

Русское стихосложение

Тверь. — Стихотворство у нас, говорил товарищ мой трактирного обеда, в разных смыслах как оно приемлется, далеко ещё отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень.

Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, сипл с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По неучастию, случилось, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи.

Хотя оба сии стихотворца преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов предложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Димитрия» написал хореем, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами, опричь ямбов, в более бы славы в осьмилетием своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпосе стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия надет ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омар между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, эксаметрах, и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.

Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Телемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глу-

бокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтон, Шекспир или Вольтер. Тогда и Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы, в «Телемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.

Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо краесловию. Слышав долгое время единоголасное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и непристойно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении так, как и во всех вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но все модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Вольтер, Шекспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или анапест, всяк знает, если земного кто разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры, в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет моя может что-либо сделать, то я бы сказал; что российское стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод «Генриады» не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы.

Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения «Телемахиды» замечательны. Он первый у нас писал древними лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его «Осьмнадцатое столетие», «Сафические строфы», басню или, вернее, элегию «Журавли» — все это имеет достоинство. В главе, из которой выписал я приведенный отрывок, помещена его известная ода. В ней много сильных стихов.

Обращаюсь к русскому стихосложению. Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. *Пламень* неминуемо тащит за собою *камень*. Из-за *чувства* выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь* и *кровь*, *трудный* и *чудный*, *верный* и *лицемерный*, и проч.

Много говорили о настоящем русском стихе. А.Х.Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт избежит его и сделает народным.

Медное (Рабство)

Медное. — «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой, люли, люли, люли, люли...» Хоровод молодых баб и девок — пляшут — подойдем поближе, говорил и сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. — Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О мой друг! Где бы ты ни был, внемли и суди.

Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. — Публикуется: «Сего... дня пополудни в 10 часов, по определению уездного суда или городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №... и при нем шесть душ мужского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».

Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радицевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле...

О цензуре

Расположась обедать в славном трактире Пожарского, я прочел статью под заглавием «Торжок». В ней дело идет о свободе книгопечатанья; любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит из всех пределов.

Один из французских публицистов остроумным софизмом захотел доказать безрассудность цензуры. Если, говорит он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительства не замедлили бы установить цензуру и на язык: издали бы известные правила, и два человека, чтоб поговорить между собою о погоде, должны были бы получить предварительное на то позволение.

Конечно: если бы *слово* не было общей принадлежностью всего человеческого рода, а только миллионной части оно, — то правительства необходимо должны были бы ограничить законами права мощного сословия людей говорящих. Но *грамота* не есть естественная способность, дарованная богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек *безграмотный* не есть урод и не находится вне вечных законов природы. И между грамотеями не все равно обладают *возможностью* и самою *способностью* писать книги или журнальные статьи. Печатный лист обходится около 35 рублей; бумага также чего-нибудь да стоит. Следственно, печать доступна не всякому. (Не говорю уже о таланте etc.). Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный из всего народонаселения. Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно.

Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: *в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом.*

«Мы в том и не спорим, — говорят противники цензуры. — Но книги, как и граждане, ответственны за себя. Есть законы для тех и для других. К чему же предварительная цензура? Пускай книга сначала выйдет из типографии, и тогда, если найдете ее преступною, вы можете ее ловить, хватать и казнить, а сочинителя или издателя присудить к заключению и к положенному штрафу».

Но мысль уже стала гражданином, уже ответственна за себя, как скоро она родилась и выразилась. Разве *речь* и *рукопись* не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона.

Действие человека мгновенно и одно (*isole*); действие книги множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона; но предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое.

Этикет

Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу.

Истина неоспоримая, коею Радищев заключает начертание о уничтожении придворных чинов, исполненное мыслей, большею частию ложных, хотя и пошлых.

Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся *покорнейшими слугами*, и, кажется, никто из этого еще не заключал, чтобы мы просились в камердинеры.

Придворные обычаи, соблюдаемые некогда при дворе наших царей, уничтожены у нас Петром Великим при всеобщем перевороте. Екатерина II занялась и сим уложением и установила новый этикет. Он имел перед этикетом, наблюдаемым в других державах, то преимущество, что был основан на правилах здравого смысла и вежливости общепонятной, а не на забытых преданиях и обыкновенных, давно изменившихся. Покойный государь любил простоту и непринужденность. Он ослабил снова этикет, который, во всяком случае, не худо возобновить. Конечно, государи не имеют нужды в обрядах, часто для них утомительных; но этикет есть также закон; к тому же он при дворе необходим, ибо всякому, имеющему честь приближаться к царским особам, необходимо знать свою обязанность и границы службы. Где нет этикета, там придворные в поминутном опасении сделать что-нибудь неприличное. Нехорошо послышать невежью; неприятно казаться и подслужливым выскочкою.

Шлюзы

В Вышнем Волочке Радищев любит шлюзами, благословляет память того, кто, уподобясь природе в ее благодеяниях, сделал реку *рукодельного* и все концы единой области привел в сообщение. С наслаждением смотрит он на канал, наполненный нагруженными барками; он видит тут истинное земли изобилие, избытки земледельца и во всем его блеске мощного пробудителя человеческих деяний, *корыстолюбие*. Но вскоре мысли его принимают обыкновенное свое направление. Мрачными красками рисует состояние русского земледельца и рассказывает следующее:

Некто, не найдя в службе, как то по просторечию называют, счастья или не желая оно в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к сохе, но вознамерился наидействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своим орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудью, устремляющимся на бою грудью, а в единственности, ничего не значащим. Для достижения своей цели он отнял у них малый удел пашни и сенокосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедemonян пировали вместе на господском дворе, употребляя для соблюдения желудка в мясоед пустые штты, а в постные дни хлеб с квасом. Истинные розговнии бывали разве на святой неделе.

Таковым урядникам производилась также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволения держать их господин у них не отымал, по способу к тому. Кто был поза-

житочнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда брал себе, платя за них цену по своей воле.

При таком заведении не удивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех был худой урожай, у него родился хлеб сам-четверт; пока у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам-десять и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и, поступая с ними равно как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стелящихся на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледelec.

Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него и помешали мне изучить один из самых замечательных характеров, которые удалось мне встретить. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целью, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными слабым и беспечным споем предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности, он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась выдавалась ему от господина, – словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещика. Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возратить им их собственность, даровать им права! Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара.

ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ: ВЛАСТЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС И КУЛЬТУРА

Наталья Шубникова-Гусева

«СУЩЕСТВО МОЕ ВОЗМУЩЕНО ДО ГЛУБИНЫ...»^{*}

Неизвестное письмо С. А. Есенина Л. Д. Троцкому

Вскоре издательство «Росток» (СПб) выпустит книгу Натальи Шубниковой-Гусевой «Сергей Есенин и Галина Бениславская», которая знакомит с неизвестными страницами биографии Есенина и Галины Артуровны Бениславской, гражданской жены, друга, секретаря и доверенного лица поэта. Женщина-загадка, страстная и романтическая, скрытная и молчаливая, она пять лет любила Есенина и сыграла важную роль в его жизни и творчестве.

В основе книги — неизвестный ранее архив есенинских материалов (более 400 единиц), которые Бениславская перед смертью завещала своей ближайшей подруге Ане Назаровой. Многочисленные письма, воспоминания и документы Есенина и близких ему лиц и знакомых, публикуемые здесь впервые, глубоко личные и достоверные, интересны самому широкому кругу читателей.

Издание подготовлено к 110-летию со дня рождения Галины Бениславской.

Один из наиболее ценных материалов книги — неизвестное письмо Есенина Л. Д. Троцкому, которое впервые предлагается вниманию читателей «Литературной газеты».

Письмо Есенина Л. Д. Троцкому написано в разгар так называемого «Дела четырех поэтов» — С. А. Есенина, П. В. Орешина, А. А. Ганина, С. А. Клычкова, заведенного 21 ноября 1923 года (ордер № 6274), переданного в секретный отдел ГПУ (дело № 2037) и затем рассмотренного товарищеским судом Союза писателей. Подлинник черновика этого письма, не отправленного адресату, находится в частном архиве и частично опубликован Н. Юсовым и В. Мешалкиным в журнале «Современное есениноведение» (2007, № 7). В архиве А. Г. Назаровой сохранилась копия, сделанная с черновика, вероятно, рукой С.С.Виноградской. Ниже приводим полностью текст письма по этой копии. Зачеркнутые слова заключены в скобки.

С. А. Есенин — Л. Д. Троцкому

Дорогой Лев Давидович!

Мне очень больно за всю историю, которую подняли из мелкого литературного <зачеркнуто нрзб.> карьеризма т. Сосновский и Демьян Бедный.

Никаких оправданий у меня нет у самого. Лично я знаю, что этим только хотят подвести / попутчи<ков> / других «попутчиков».

О подсиживании знают давно и потому никто не застрахован от какого-нибудь мушиного промаха. Чтоб из него потом сделали слона.

Существо мое возмущено до глубины той клеветой которую воздвигли на моих товарищей и на меня /С Демьяном мы так не разговаривали/.

^{*} Перепечатка из «Литературной газеты» № 3—4 (6156), 2008 — без сокращений и с разрешения редакции газеты.

Форма Сосновского /без/ /кружит голову/ и приемы их борьбы отвратительны. Из всей этой истории нам больно только то, что ударили по той струне, для того, чтоб перервать ее <и> которая служила Вашим вниманием к нам.

Никаких антисемитских речей я и мои товарищи не вели.

Все было иначе. Во время ссоры Орешина с Ганиным я заметил нахально подсевшего к нам типа, выставившего свое ухо и бросил /громко/ фразу: «Дай ему в ухо пивом /в ухо/».

Тип обиделся и назвал меня мужицким хамом, а я обозвал его жидовской мордой.

Не знаю, кому нужно было и зачем было делать из этого скандал общественного характера.

Мир для меня делится исключительно только на глупых и умных подлых и честных. В быту — перебранки прозвища существуют, /но/ также как /и/ у школьников, и многие знают, что так ругается иногда сам Демьян.

Простите за то, что /нрзб./ /дост<авил>/ если беспокоили всей этой историей Ваши нервы, которые дороги нам как защита и благосостояние.

Любящий Вас

С.Есенин

Письмо Есенина Троцкому показывает, как был возмущен поэт той обстановкой, которую создали журналисты, в частности Сосновский, вокруг него и его товарищей. Главным было не личное оскорбление, а то, что бытовой инцидент получил политический характер и в лице четырех русских поэтов оскорблял всех литераторов-попутчиков.

Письмо Есенина Троцкому не датировано. Чтобы определить, когда оно было написано, кратко напомним обстоятельства этого дела, многие материалы которого до сих пор хранятся в частном архиве. 20 ноября 1923 года, во вторник вечером, под председательством В. Брюсова состоялось торжественное заседание, посвященное пятилетию Всероссийского союза поэтов, после которого состоялась вечеринка. Есенин вместе с С. А. Клычковым, П. В. Орешиним и А. А. Ганиным проводят этот вечер в пивной Малинникова (угол Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара, 28). Здесь в результате возникшего инцидента их задерживают органы милиции и ГПУ. Тогда же Есенин подписывает протоколы допроса в 47-м отделении милиции Москвы и ОГПУ и заполняет анкету для арестованных и задержанных в ОГПУ.

Согласно Протоколу допроса С. А. Есенина в 47-м отделении: «...Сидел в пивной с приятелями, говорили о русской литературе. Я увидел типа <М. В. Родкин>, который прислушивался к нашему разговору. Я сказал приятелю, чтобы он ему плеснул в ухо пивом, после этого тип встал и пошел, позвал милицию. Это вызвало в нас недоумение и иронию. Я сказал: «Вот таких мы понимаем» — и начал спорить, во время разговоров про литературу упоминали частично тт. Троцкого и Каменева и говорили относительно их только с хорошей стороны, то, что они-то нас и поддерживают. О евреях в разговорах поминали только, что они в русской литературе не хозяева и понимают в таковой в тысячу раз хуже, чем в черной бирже, где большой процент евреев обитает как специалистов. Копа милиционер по предложению неизвестного гражданина предложил нам идти, мы, расплатившись, последовали за милиционером в отделение милиции. Идя в отделение милиции, неизвестный гр-н назвал нас «мужицье», «русские хамы», и вот тогда была нарушена интернациональная черта национальности словами этого гражданина: мы, некоторые из товарищей, называли его жидовской мордой. Больше ничего показать не имею. Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан, в чем подписуюсь.

С. Есенин. 1923. 21/XI.

В составленном в тот же день Протоколе допроса С. А. Есенина в ОГПУ содержатся дополнительные сведения, очевидно, являющиеся ответом на показания милиционера И. Ф. Абрамовича о том, что в резервной комнате Есенин и другие литераторы «запели в искаженной форме с ударением на «р», подражая еврейскому акценту, рев^{олюционную} песню «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...»: «В комнате, где мы были помещены, на вопрос, из каких я происхожу, заданный деж^{урным} милиционером, я под испанскую серенаду пропел, что «вышли мы все из народа», причем слова не коверкал и не придавал им еврейского акцента».

22 ноября четырех поэтов освобождают, и одновременно в двух московских газетах, ответственным редактором которых был Б. В. Волин, публикуются статьи об этом инциденте. «Рабочая газета» печатает статью упоминаемого в письме Есенина журналиста Л. С. Сосновского «Испорченный праздник» с обвинениями С. А. Есенина, С. А. Клычкова, П. В. Орешина и А. А. Ганина в антисемитизме. «Лично меня,— замечает Сосновский,— саморазоблачение наших поэтических «попутчиков» очень мало поразило. Я думаю, что если поскрести еще кое-кого из «попутчиков», то под советской шкурой обнаружится далеко не советское естество». Газета «Рабочая Москва» в тот же день публикует заметку под названием «Что у трезвого «попутчика» на уме...» без подписи, где инцидент с Есениным также представлен как типичный случай с литератором из так называемых попутчиков.

В двух названных публикациях излагается разговор Есенина с Демьяном Бедным, вероятно, искаженный до неузнаваемости. Из статьи Л. Сосновского: «Вечером 20 ноября около 10 часов звонят по телефону к Демьяну Бедному. Говорит известный поэт Есенин. Думали, зовет на праздник. Оказывается, совсем напротив. Есенин звонит из отделения советской милиции. Говорит подчеркнуто развязно и фамильярно.

— Послушай... Скажи тут, чтобы нас освободили...

— Кого вас?

— Меня, Орешина, Клычкова и Ганина.

— Почему вы в милицию попали?

— Да, понимаешь, сидели в пивной... Ну, заговорили о жидах, понимаешь... Везде жида... И в литературе жида... Ну, тут привязался к нам какой-то жидок... Арестовали...

— М-да... Очень не-хо-ро-шо...

— Понятно, нехорошо: один жид четырех русских в милицию привел.

Демьян Бедный попросил к телефону дежурного по милиции т. Ардарова, а затем того гражданина, что пригласил поэтов в милицию, и сказал им:

— Я этим прохвостам не заступник. Поступайте по закону!

Оказалось, что в какой-то пивной, готовясь к юбилейному заседанию советских поэтов, Есенин, Орешин, Клычков и Ганин вели милый разговор о жидовской власти, о засилии жидов, называя достаточно известные имена. Сидевший за соседним столом гражданин <М. В. Родкин> возмутился и потребовал составления протокола. Одному милиционеру не удалось свести поэтический квартет в милицию. Потребовался второй милиционер...»

«С Демьяном мы так не разговаривали»,— пишет Есенин в письме Троцкому и затем зачеркивает. И действительно, судя по показаниям заинтересованного в этом деле М. В. Родкина для ОГПУ, именно Родкин объяснил Демьяну Бедному, в чем дело, и тот ответил, «что «таких прохвостов» он защищать не станет».

В печати появилось множество заметок о «Деле четырех поэтов». Для Сосновского и Волина дело четырех поэтов стало поводом для оскорбления не только Есенина и его товарищей, но и других русских писателей-классиков, в том числе Н. В. Успенского («валялся под заборами и скандалил по московским притонам»),

Н. А. Некрасова («был далеко не безупречен в своей личной жизни») и «кабацких традиций литературной богемы, унаследованных от А. И. Куприна и ему подобных».

Но из содержания письма Есенина Троцкому вытекает, что поводом к его написанию явились названные выше статьи от 22 ноября 1923 года, так как в тексте письма приводятся факты и оценки, упоминаемые авторами этих публикаций. Возмущенный содержанием и тоном этих статей, Есенин пишет письмо Троцкому, надеясь на защиту. Непосредственность и эмоциональность тона, а также последовавшие за этим события, которые совершились до 30 ноября — написание коллективного заявления в Центральное бюро работников печати, подписанное Есениным, Клычковым, Орешиним и Ганиным, о разборе инцидента, последовавшего в ответ на заявление постановления Центрального бюро о передаче вопроса специальному товарищескому суду (см. «Рабочая Москва», 1923, 30 нояб.), и Открытого письма П. Орешина, С. Клычкова, А. Ганина и С. Есенина, датированного между 23 и 29 ноября 1923 года (см. «Правда», 1923, 30 нояб.), — позволяет датировать письмо Есенина Троцкому: ноябрь, между 22 и 29-м, 1923 года. Письмо осталось неотправленным. Скорее всего, поэт решил, что жаловаться и ждать помощи напрасно.

Известные высказывания Есенина о Троцком говорят о противоречивом отношении к нему поэта. В очерке «Железный Миргород», где содержится внутренняя полемика с Троцким, он писал: «Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?..» В письме Есенина А. Дункан от 29 августа 1923 года читаем следующее: «Был у Троцкого. Он отнесся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство». Речь идет о визите Есенина в Кремль к Троцкому за разрешением на издание альманаха крестьянских писателей «Россияне» в начале второй декады августа 1923 года. Есенин упоминает Троцкого в автобиографии (1923), а также в «Песни о великом походе» (1924) и «Руси бесприютной» (1924).

В. Ф. Наседкин, ставший мужем сестры поэта Е. А. Есениной, вспоминал: «Идеальным, законченным типом человека Есенин считал Троцкого». Подобное свидетельство есть в воспоминаниях С. Борисова: «С большим уважением, доходившим до почитания, относился к Троцкому».

Однако справедливости ради полезно сравнить с этими свидетельствами другие. Например, Р. Гуль в книге «Я унес Россию: Апология эмиграции» вспоминал слова Есенина: «Не поеду в Москву... не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн... Он правит Россией, а не должен ей править...»

Оставив надежду на поддержку «стоящих у кормила», Есенин и его товарищи обращаются к общественности. В индивидуальных заявлениях, адресованных в «Правду» и не появившихся в печати, поэты отвергли все обвинения Сосновского в свой адрес. «Считаю нравственной своей обязанностью, — писал Орешин, — заявить всему белому свету, что никогда я антисемитом не был и быть не могу». Откликом Есенина на происшедшие события можно рассматривать его незаконченную статью «Россияне», написанную в ноябре-декабре 1923 года, где поэт сравнивает Л. С. Сосновского с бездарным писателем, тайным агентом жандармского отделения Ф. В. Булгариным, которого А. С. Пушкин «побил» в известной эпиграмме и назвал его «Видок Фиглярин». Но главным пафосом статьи Есенина становится общая оценка современной литературной ситуации в России:

«Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем.

Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством.

Выработав себе точку зрения общего фронта, где всякий туман может казаться для близоруких глаз за опасное войско, эти типы развили и укрепили в литературе пришибевские нравы».

30 ноября газета «Правда» публикует открытое письмо четырех поэтов по поводу статей в «Рабочей газете» и в «Рабочей Москве», где имеется следующее заявление: «Всякие возражения и оправдания, впредь до разбора дела третьей судом, считаем бесполезными и преждевременными».

Товарищеский суд по делу поэтов Есенина, Орешина, Клычкова и Ганина состоялся 10 декабря в Доме печати в присутствии представителей литературной Москвы. Комиссия по разбору дела заседала в составе П. И. Новицкого (председатель), П. М. Керженцева (секретарь), А. Я. Аросева, Н. К. Иванова-Грамена, В. И. Нарбута, В. Ф. Плетнева, И. М. Касаткина. Суд констатировал провокацию со стороны Родкина и Сосновского и не подтвердил главного обвинения в антисемитизме. Подробный отчет о суде был опубликован в центральных газетах. Суд затянулся до трех часов ночи, и оглашение приговора было перенесено на вечер 13 декабря.

Организованная травля подорвала и без того тяжелое состояние здоровья Есенина. Настолько, что он не смог присутствовать на оглашении приговора товарищеского суда в Доме печати, так как в этот день лег на лечение в профилакторий профессиональных заболеваний имени Шумской (Полянка, 52). Ранее считалось, что Есенин лег в профилакторий спустя несколько дней после оглашения приговора, то есть 17 декабря. Эта дата указана в машинописи воспоминаний Бениславской и во всех хрониках жизни и творчества С.А.Есенина. Теперь очевидно, что Бениславскую подвела память или в машинописи допущена опечатка. Точная дата госпитализации Есенина устанавливается на основании сведений из неизвестного ранее письма Е. А. Есениной А. Г. Назаровой от 14 декабря 1923 года: «Сергея вчера или в четверг 13/ХП отправили в санаторию. Сегодня едем к нему опять».

Суд признал, что поведение поэтов носило характер антиобщественного дебоша. Есенину, Клычкову, Орешину и Ганину было вынесено общественное порицание. В приговоре сказано, что «Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных группировок».

Несмотря на то что приговор был принят товарищеским судом единогласно, организованная травля четырех поэтов, особенно Есенина, продолжалась. 18 декабря 1923 года «Рабочая Москва» опубликовала заметку Б. Волина, не согласного с решением суда, под заголовком «Прав ли суд?» с призывом «к рабкорам и пролетарским поэтам» «высказаться по данному вопросу». «Высказывания» подбирались соответствующие. 19, 20 и 22 декабря газета печатала «отклики» со следующими заглавиями: «Им нет места в нашей семье!», «Суд не прав!», «Под народный суд!», «Мы требуем пересмотра» — и др.

30 декабря 1923 года в «Правде» была опубликована заметка Мих. Кольцова «Не надо богемы»: «...Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши дни и в прошлые времена — уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной основано национальное литературное объединение «Россияне». Давайте будем грубы и нечутки, заявим, что все это одно и то же...»

Даже З. Н. Райх, бывшая жена Есенина, сделала заявление его другу А. М. Сахарову, что ее муж своей фамилией и своим поведением компрометирует ее детей. Есенин ответил резко: «Фамилия моя принадлежит не мне одному. Есть люди, которых Ваши заявления немного беспокоят и шокируют, поэтому я прошу Вас снять фамилию с Тани, если это ей так удобней, и никогда вообще не касаться моего имени в Ваших соображениях и суждениях» (скорее всего, письмо не было доставлено адресату).

Продолжения «Дело четырех поэтов» не получило. 9 мая 1927 года, уже после гибели Есенина и А. А. Ганина, расстрелянного 30 марта 1925 года по «Делу русских фашистов», уполномоченный 5-го отделения следственного отдела ОГПУ С. Г. Гендин, рассмотрев материалы «Дела № 2037», вынес заключение о прекращении дел. 11 мая 1927 года Коллегия ОГПУ утвердила это постановление.

Насколько несправедливы были предъявляемые Есенину обвинения, не раз писали современники, хорошо знавшие поэта. Спустя много лет, в 1953 году, бывший левый эсер, эмигрант В.М.Левин, писал С.К.Маковскому, готовившему к печати его воспоминания о Есенине в нью-йоркской газете «Новое русское слово»: «...у Есенина не было антисемитских настроений, у него была влюбленность в народ, из которого вышел Спаситель Мира. <...> На канве жизни Есенина расшита ткань трогательных взаимоотношений русского и еврейского народа».



Поэты: П.В. Орешин, С.А. Есенин, А.А. Ганин, С.А. Клычков

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Уважаемые читатели и авторы!

В редакцию поступают обращения с просьбой разъяснить сложившуюся практику распространения журнала «Приокские зори», где его можно приобрести, почтить и пр. Имеют свои вопросы и авторы публикаций в журнале. Несомненно, нас радует и ободряет все нарастающее внимание читающей публики. Постараемся ответить на основные вопросы.

Как значится на второй странице журнала, «Приокские зори» распространяются преимущественно в библиотечной сети. На сегодняшний день журнал регулярно поступает в Тульскую областную универсальную научную библиотеку (абонемент и читальный зал периодики), Детскую областную библиотеку, библиотеки Тульского госуниверситета (абонемент художественной литературы и читальный зал), Тульского госпедуниверситета им. Л. Н. Толстого, Тульского артиллерийского инженерного института, Дома учителя, гарнизонного Дома офицеров, Культпросветчища (ныне — колледж), Лицея на Пушкинской, Областного об-ва «Мемориал», всех музеев Тулы и Тульской области, в редакциях общегородских газет «Тула» и «Ярило», в ИПО «Лев Толстой» и в редакциях альманахов «НЛО» (г. Новомосковск) и «Прикосновение» (Тула).

По системе городского библиотечного коллектора журнал регулярно доставляется во все городские библиотеки:

— Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого — абонемент и краеведческий отдел (ул. Болдина, 149/10);

— Библиотека № 1 (ул. Новомосковская, 9);

— Библиотека № 3 (ул. Октябрьская, 201);

— Библиотека № 4 (ул. Metallургов, 34);

— Библиотека № 5 (ул. Metallургов, 2«а»);

— Библиотека № 8 (Косая Гора, ул. Гагарина, 7);

— Библиотека № 18 (Скуратовский мкр-н, 1);

— Библиотека № 20 (ул. М. Горького, 20);

— Центральная городская детская библиотека (Красноармейский пр., 36).

По системе областного библиотечного коллектора (ТОУНБ) журнал регулярно поступает во все районные библиотеки Тульской области: Алексинскую, Арсеньевскую, Белевскую, Богородицкую, Веневскую, Воловскую, Дубенскую, Донскую, Ефремовскую, Заокскую, Каменскую, Кимовскую, Киреевскую, Куркинскую, Ленинскую, Новомосковскую, Одоевскую, Плавскую, Суворовскую, Тепло-Огаревскую, Узловскую, Чернскую, Щекинскую, Ясногорскую и в Новогуровскую поселковую библиотеку.

Как видно, любой житель города и области может ознакомиться с содержанием выходящих и прошлых номеров журнала в наиболее удобном для него «территориальном» варианте.

С начала этого года аудитория читателей потенциально многократно возросла, поскольку «Приокские зори» в полном объеме публикуются в электронной форме на сайте www.medsu.tula.ru интернета. То есть журнал стал доступен всем жителям России и знающим русский язык за рубежом.

Журнал имеет и приоритетную рассылку. Его получают лидеры ведущих фракций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители Тульской областной Думы, редакции ведущих литературно-публицистических газет России: «Литературной газеты» и «Завтра». Доставляется журнал и в Правление Союза писателей России. В рамках обмена содержимым «редакционных портфелей» «Приокские зори» получают Независимое литературное агентство «Московский Парнас», выпускающее одноименный альманах с ежемесячной периодичностью, и редакция старейшего литературно-художественного журнала «Подъем» (Воронеж). Журнал получают центральные библиотеки Рязани, Петрозаводска, Курска, Сургута, Фрязино и ряда других городов.

Определенное число экземпляров (до двадцати) предназначается для организаций-учредителей журнала: Тульской писательской организации Союза писателей России и Тульского госуниверситета. Не остаются без внимания и члены редколлегии.

Библиотечная, а теперь и по сети Интернет, форма распространения журнала полагается нами оптимальной для настоящего (начального) периода становления журнала, имея в виду относительно малый тираж его, хотя за прошедший год он увеличился от 100 до 500 экз.

В планах редколлегии на следующий год значится доведение тиража до 1000 экз., его регистрация в «Росхранкультуре», присвоение международного классификационного номера ISSN и включение в подписной каталог «Роспечати». Усилия к этому прилагаются серьезные, а итог просматривается вполне оптимистичный.

И еще одно обращение к руководителям библиотек школ и культпросветучреждений: если вы хотите регулярно получать (безвозмездно) наш журнал — сообщите об этом письменно главному редактору (адрес на второй странице журнала) с указанием своего телефона и/или e-mail. Начиная с предыдущего номера журнал уже доставляется в десять школ.

Редколлегия журнала

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Редколлегия журнала «Приокские зори» поздравляет тульских писателей, издавших в 2007 и в начале 2008 года свои новые книги в серии «Библиотека журнала «Приокские зори», и желает им новых творческих успехов и дальнейшего, плодотворного сотрудничества с нашим журналом:

— Дронов Н. Н. *Ребята, давайте жить дружно! Сатира и юмор.*— Тула: Гриф и К, 2007.— 56 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Дронов Н. Н. *И смех, и слезы, и прозренья: сатира, юмор, публицистика.*— Тула: Гриф и К, 2007.— 120 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Дубинский М. С. *Наследники «Бога войны»: роман-хроника в 3-х частях. Часть I: Становление; раздел I: Дни неудач.*— Тула: Гриф и К, 2007.— 600 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Залесский Е. С. *Право слово: книга стихотворений.*— Тула: (б/у издательства), 2007.— 215 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Сиянов А. И. *Раздумья: сборник стихов.*— Тула: Гриф и К, 2007.— 240 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Струков К. В. *След, оставленный тобой: стихи, поэма.*— Тула: Изд-во Тульск. гос. ун-та, 2007.— 188 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Яшин А. А. 2007—Штиль: третья книга рассказов Николая Андреевича (Повести, рассказы, публицистика): Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное агентство «Московский Парнас».— М.: «Московский Парнас», 2007.— 302 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Яшин А. А. *Ешьте крабов: Публицистика 2007-го года, литературоведение: Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное агентство «Московский Парнас».*— М.: «Московский Парнас», 2007.— 256 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

— Проскурин И. М. *Неуютная страна / Бюрократический роман.*— Тула: Гриф и К, 2007.— 639 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

Выполняя свое обещание (см. «ПЗ», № 1, 2007.— С. 231), редколлегия журнала в последующих номерах «Приокских зорь», в течение 2008-го года опубликует на своих страницах рецензии на названные книги и отрывки из них. Также каждый автор опубликованных в «Библиотеке «Приокских зорь» книг получит бесплатную годовую подписку на наш журнал.

Мы признательны авторам, публикующим свои произведения в «Библиотеке» (а вот два члена редколлегии «ПЗ», состоявшие в ранге заместителей главного редактора, в своих книгах 2007—2008-го гг. издания этим манкировали...); это им только на пользу, это уже не «самиздат»! Мы же в свою очередь будем их популяризовать — см. выше.

Писателю Алексею Яшину — 60 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Алексей Афанасьевич!

Правление Союза писателей России искренне поздравляет Вас с 60-летием со дня рождения.

Призвание писателя — говорить с читателями честно, говорить людям правду — подчас суровую, но всегда мужественную, укрепляющую в человеческих сердцах веру в будущее, в свою силу, способную построить это будущее. И все это мы находим в Ваших художественных произведениях, снискавших любовь в многочисленной читательской публике. Ценим Вашу литературскую работу и уверены, что Вы еще не однажды порадуете нас и читателей новыми романами, повестями и рассказами. Пусть сбудутся Ваши замыслы и надежды.

Здоровья Вам и успехов во всем.

*Председатель правления
союза писателей России
Валерий Ганичев*

Уважаемый Алексей Афанасьевич!

В день Вашего 60-летия примите искренние и сердечные поздравления от литераторов Межрегионального союза писателей, который объединяет творческие силы областей Центрального федерального округа России.

Вас знают как замечательного прозаика и публициста, крупного ученого, настоящего русского патриота. В ваших произведениях отражена великая история нашего Отечества второй половины XX века, воссоздана панорамная картина его свершений и потерь. Желаем Вам и дальше самозабвенно служить на благо Родины. Новых Вам творческих свершений, счастья и любви.

*Председатель Межрегионального
Союза писателей
Валерий Маслов*

К юбилею Яшина А.А.

А.А. Яшин — поразительно разносторонняя личность, сумевшая реализоваться не только в литературе, но и в науке.

Он академик многих отечественных и зарубежных академий, заслуженный деятель науки, доктор технических и доктор биологических наук, профессор, главный редактор журнала «Приокские зори».

Его рассказы, повести, романы получили признание не только тульского, но и всероссийского читателя и, конечно, коллег-писателей, которые рады поздравить своего замечательного собрата с юбилеем, пожелать ему здоровья, счастья, благополучия, новых книг и научных достижений.

*В. Пахомов,
ответственный секретарь
Тульского отделения СП России,
секретарь правления СП России*

Уважаемый Алексей Афанасьевич!

Редколлегия газеты «Тульский литератор» и журнала «Приокские зори» от всей души поздравляют Вас, наш дорогой друг и коллега, со знаменательной вехой на жизненном пути — с шестидесятилетием со дня рождений. Прошедшие годы Вашей жизни были наполнены благородным научным трудом, большими творческими свершениями на литературной ниве. Ваши художественные произведения, горячо любимые многочисленными читателями, навсегда вошли в сокровищницу русской литературы. Их значение огромно, ибо они воспитывают в человеке честность, товарищество, любовь к Родине. Потому они и нашли признание в широкой читательской публике.

Дорогой Алексей Афанасьевич! В ваш большой личный праздник и радостный день мы искренне желаем Вам здоровья, оптимизма, новых успехов во всех Ваших делах и начинаниях. Напомним Вам строки одного поэта, которые непосредственно относятся и к Вам:

*Хоть тебе и шестьдесят
Нынче стукнуло, наш друг,
Ты задором так богат,
Молодых заменишь двух.
Так держать, товарищ писатель Яшин!*

***Редколлегии
«Тульского литератора» и
«Приокских зорь»***

Дорогой Алексей Афанасьевич!

Сердечно поздравляю с юбилеем — 60-летием со дня рождения. Ценю тебя как самобытного писателя, яркого публициста, крупного ученого. Уверен, что твой литературный талант, научные изыскания и общественная деятельность и впредь будут служить на благо Родины.

Желаю успехов, здоровья и всего самого доброго.

***Обнимаю —
Виктор Греков***

Слово о Яшине

Известному русскому писателю Алексею Афанасьевичу Яшину исполнилось 60 лет. Родился он 6 мая 1948 года в поселке Белокаменка Полярного, ныне Североморского, района Мурманской области. Уже сам список художественных произведений, написанных писателем, говорит сам за себя, что за все творческие годы Алексеем Яшиным сделан значительный вклад в сокровищницу русской литературы. В 1987 году выходит его первая книга «На островах. Рассказы и повесть», изданная Приокским книжным издательством. Затем писателем были написаны романы «В канцелярии» (1991 г.), «Конторский детектив» (1992 г.), в 1999 г. появилась его книга «Трамвайное кольцо. Современный городской рассказ», а в 2000 году вышла книга, относящаяся к жанру афористики и эссеистики, которую автор обозначил как «Непосредственное продолжение из житейских наблюдений: максимы и эссе о начальниках и женщинах». В книгу также включены две повести: «Сокровища смиренных» и «На Итаке». В 2001 году выходит книга Алексея Яшина «Художественная эвристика» о роли чувственного познания в творчестве, роман «В конце века» и «Рассказы о конце века». В романе «В конце века» автором сделана попытка реконструкции истинных мыслей и намерений «творцов мира», которые непременно приводят к очередным войнам.

В 2003 году «Тульский полиграфист» выпускает яшинскую книгу «Тяжело дышит синий норд. Северные рассказы». И в этом же году роман «Историк и его Истории», за который Яшину была присуждена литературная премия имени Л. Н. Толстого. В 2005 году Алексей Яшин пишет литературное эссе «Час волка» в шести частях. Эта книга для тех, кто не встал в очередь к ломбарду с вывеской «Скупка Родины оптом и в розницу». В 2006 году выходит яшинский патриотический роман «Подводная лодка «Капитан Старосельцев», затем роман «Живые шахматы», страницы которого ярко наполнены юмором и сатирой. В этом романе А. Яшин несомненно выступает как продолжатель традиций Салтыкова-Щедрина, Гоголя в русской прозе. И, наконец, в конце 2007 года выходит в свет третья книга рассказов Николая Андреевича «2007 – Штиль». Рассказы и повести этой книги во многом дополняют и развивают темы «Норда» и «Шахмат», но появились и новые акценты. Мне не раз приходилось писать о произведениях Алексея Афанасьевича Яшина. Я должен сказать, что литературное творчество, яшинский писательский стиль ослепительны и исключительны. Основным мотивом творчества Алексея Яшина является отеческое противостояние гуманизма и добра против социальной несправедливости.

С особой силой эти темы звучат в рассказе «Старый директор», в котором яркой рельефностью выявляются свойства прозы Алексея Яшина — изображение индивидуального характера, в первую очередь фиксируя его социально-психологическую сущность. В рассказе довольно-таки точно изображена наша нынешняя реальность в полной ее наготе.

Перечитывая написанное Алексеем Яшиным, сопоставляя, сравнивая его произведения с прозой других писателей, убеждаешься, что он творит по другим, установленным самим для себя законам, отступая от шаблонных установок и конструкций словесного построения. Творчество А. Яшина близко по своему содержанию к тем мыслям, которые однажды высказал великий мастер русской словесности И. А. Бунин, писавший: *«А зачем выдумывать? Зачем герой и героиня? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно похожим на тех, кто прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что истинно твое единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове».*

В книгах Алексея Яшина мы видим пронзающий годы напряженный художественный поиск в изображении как прошлого, так и настоящей действительности. Писательский поиск вдохновлен перспективой, а не уходом к ретроспекции. Думается, что через все книги Алексея Яшина можно провести одну прямую. В изображаемых образах заложен нравственный потенциал, точнее заряд, создающий напряженность повествования, взаимодействие включенных в книги персонажей. В этом привлекательность, на наш взгляд, произведений писателя.

Нельзя не отметить, что писатель А. А. Яшин ведет большую литературно-общественную работу. Он часто выступает в журналах и газетах как литературный критик. Его статьи и рецензии на художественные произведения литераторов пользуются большим интересом у читателей.

Особую роль Алексей Афанасьевич Яшин сыграл в издании в Туле солидного литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори». За прошедшее время журнал стал межрегиональным, получил всероссийскую известность. В нем печатаются произведения авторов не только Тульской области, а из Москвы, Орла, Воронежа, Рязани, Коломны, Новгорода и других городов. Журнал востребован литераторами и читателями, он выступает как общественная трибуна для литераторов, что, в свою очередь, повышает и само качество литературы, расширяет читательскую аудиторию, прививает ей художественный вкус. Во всем этом большая заслуга главного редактора журнала Алексея Яшина. И есть полная уверенность, пока есть Яшин — будет и журнал. А в наше время, когда многие чиновники стоят спиной к литературе, яшинский подвижнический труд очень важен и еще по праву не оценен властью предержащими. У поэта Николая Боева есть такие строки:

*...С иными крыльями эпоха,
С иной строкой, с иной судьбой.
Но всех приводит нас дорога
Туда, где шел последний бой.*

И мы верим, что писатель Алексей Яшин на избранном им литературном пути по-прежнему будет литературной строкой вести бой за правду, за справедливую жизнь, за то, чтобы наша синеокая Россия воспряла от тягостного времени, вновь «прекрасной и святой пред миром всем явилась».

Николай Минаков

ПРИОКСКИЕ ЗОРИ

*Межрегиональный литературно-художественный
и публицистический журнал*

Редакторы: К. В. Струков, Т. Я. Селищева, А. А. Яшин

Корректор: Т. Я. Селищева

Компьютерный набор: К. В. Струков, Л. П. Хохлова

Компьютерная верстка: С. В. Никитин

ЛР № 020300 от 12.02.1997 г.

Подписано в печать 19.05.2008

Формат 70×108/16. Печ. л. 17,00

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в издательстве Тульского государственного университета,
300600, г. Тула, ул. Болдина, 151

**МУЗЕИ ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(Фото О. Н. Любченко и В. Н. Дутовой)**



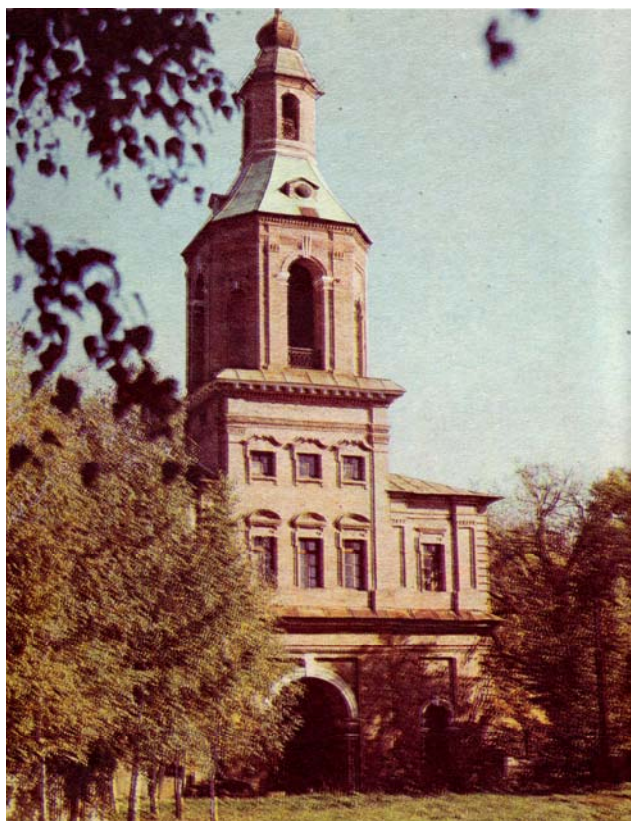
Вид на дворец со стороны парка



Липовая аллея



Казанский храм



Въездная башня



Дворец-музей